





Ангара

1

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

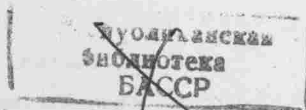
№ 1 (58)
ЯНВАРЬ
МАРТ
1963

Даты. Юбилеи

Критика и библиография

Сатира и юмор

Обложка художников *В. Пинигина и С. Старикова.*
Рисунки художников *В. Болдина и Б. Куприянова.*

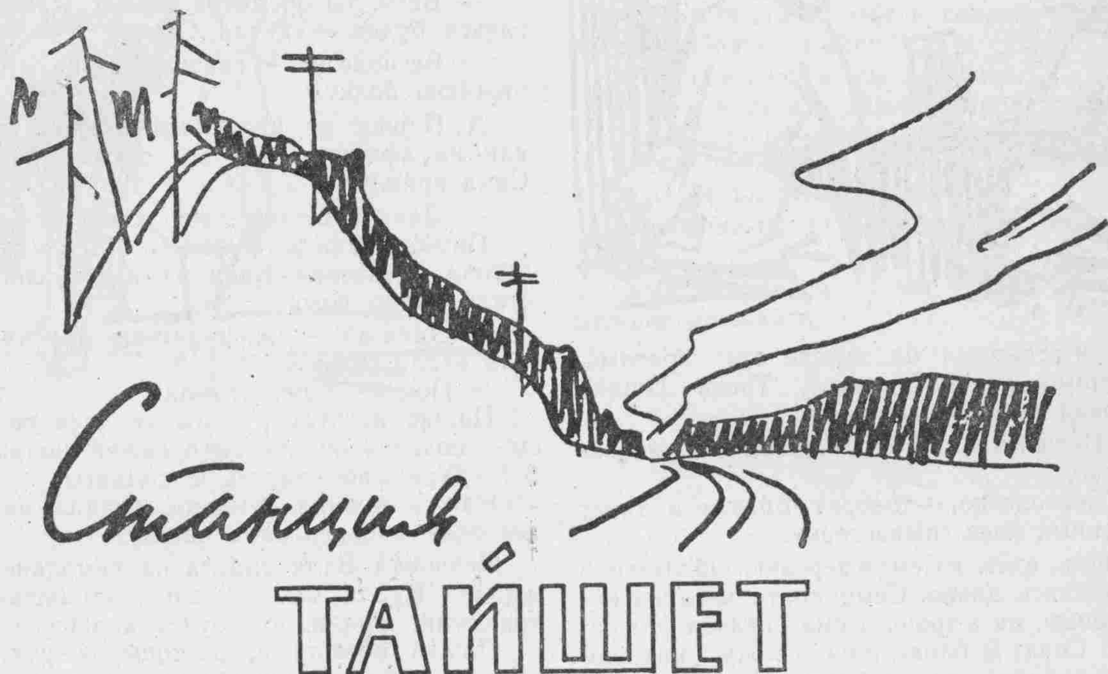


Адрес редакции:
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР.
Телефон 56—76

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1963

СТИХИ. РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

А. Санин



Станция Тайшет

Рассказ

Мы бежали от заката. По синим холмам он гнался за нами, в кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак. От его яростной нежности мы бежали в темную летнюю ночь.

В нашем купе дым и разговоры о женщинах. Ночь прильнула к нашему окну, и мы ждем чего-то от ее черной неизвестности.

Говорит Сема, задумчивый солдат:

— Они любят таких, какие валяются у них в ногах и гоняются за ними с ножами.

— Надо спать, — говорит Витька, медлительный, самоуверенный Геркулес. Он сидит у окна, он скрестил на груди руки, к стенке откинул голову. Под гимнастеркой каменеют тоскующие его бицепсы.

— Пашка пятый час травит, — говорит Сема. На средней полке он стучит своим костлявым телом.

— Надо спать, — говорит Витька, но не двигается.

— Я говорю, Пашка какой способный... Слышь, студент, сколько прошло?

В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембиль». Они возвращаются домой.

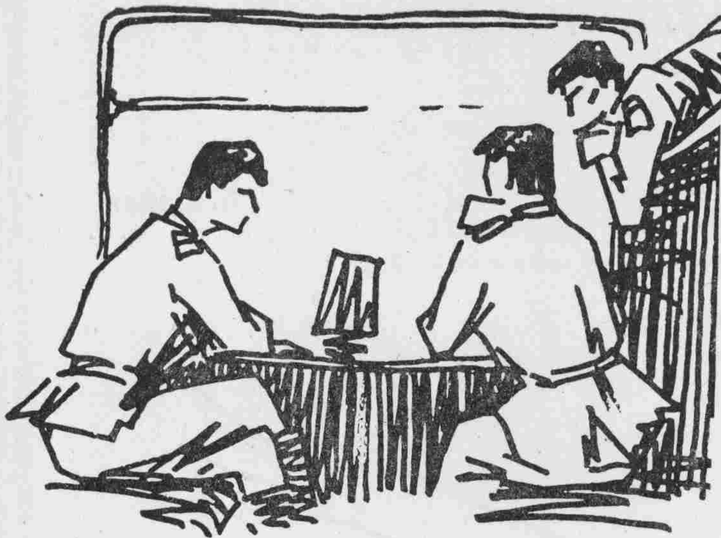
Я еду с ними шестые сутки. Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.

— Прошло четыре часа двадцать минут, — говорю я.

— Видал! — говорит Сема с восхищением. — Профессор Павел-то!

Они служили в одном взводе. Но Сема не знал, что Пашка может говорить четыре часа подряд.

Пашка Белокопытов стоит в тамбуре с девчонкой по имени Валя. Он стоит с ней пятый час. Она вошла в вагон, когда исчезло



солнце и вспыхнул на западе этот красный, нестерпимо красный закат. Тогда Пашка остановил ее в коридоре.

— Пятый час травит, — говорит Сема завистливо.

— Бесполезно, — говорит Витька и тянет с каменных плеч гимнастерку.

Пашка едет к Семе в деревню. Об этом они договорились давно. Семнадцать месяцев назад осенью, на марше. Сема сказал тогда: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наденем белые рубахи. Как в Сочи». Они обдумали все там, на марше. Витька шел тогда впереди, и он спросил: «У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?» «У меня их как раз три», — ответил Сема. «Не ври, — сказал тогда Витька, — ни черта у тебя нету! Ни одной!.. И не нойте здесь под ухом!» И сентябрьская дорога жирно зачавкала под сапогами, грязные, как дорога, облака тащились над самой головой. И серая Витькина спина качалась перед глазами. Сема хотел заматериться, но впереди неожиданно запевала закричал песню. И эту песню взвод поволок по грязной сентябрьской дороге.

Тогда они поссорились.

Теперь ночь липнет к нашему окну, и дикие зеленоглазые полустанки отскакивают с нашего пути.

Витька заедет к Семе. И наденет белую рубаху. Сема написал матери, чтоб запасла три белых рубахи.

— Белоснежные, — говорит Сема, — с запонками — по всей форме.

Неожиданно, как пожар, возникла на нашем пути станция Тайшет. Ночь отпрянула от окна и остановилась под тополями.

На перроне мы увидели Пашку. Девчонку он держал а руки, как на афише. У ног их валялись чмоданы. Пашка что-то говорил. Она слушла и вытягивала шею испуганно и беспоющно, как птенец, выпавший из гнезда. Потм Пашка перестал говорить и взял ее за плчи.

— Витя, ты юсмотри, сейчас Паша целоваться будет, — сказал Сема.

— Бесполезэ, — сказал Витька и лег на нижнюю полку.

А Пашка н целовался. Пашка застыл, как на афише. Тогда мы открыли окно и Сема крикнул:

— Давай! Ълуй — не успеешь!

Пашка махнл рукой и отвернулся от вагона. Девчони Вали из-за его спины не стало видно вс.е.

— Два-ай! — закричали из других окон. Там ехали солдаты.

— Помочь тее, что ли!

Пашка нагну.ся, и мы увидели ее волосы — подснежник на выгоревшей поляне.

— Ура-а-а! — заревели солдаты.

Пашка подня чемодан, усадил на него девчонку и бросился к вагону.

Девчонка Вал сидела на чемодане. Она ждала. Ждали мы. И ночь, застывшая под тополями, ждала, что будет дальше.

Пашка вбежа и, растопырив руки, заметался по купе. Он искал чемодан.

— Ты что, Пвел? — сказал Сема и положил на чемода руку.

— Все! Приехл я, ребята! — сказал Пашка и засмеялся и зырвал чемодан.

— Чокнулся, — сказал Витька.

— Приехал! — повторил Пашка, глупо улыбаясь.

— Где тебя кдать? — спросил Сема. — В Чите догонишь?

— Ждать-не ждать, — сказал Пашка с той же улыбкой, — простите, ребята, письмо напишу.

Поезд тронулся, Пашка взвизгнул и бросился целоваться.

— Письмо, — бормотал он, — напишу...

Он расцеловал Витьку, схватил Сему, тяжело и громко чмокнул его в нос, в щеку, в подбородок и выскочил в тамбур.

— Письмо напиши! — злобно крикнул Сема.

И станция Тайшет, последний форпост заката, млела и сгорала на западе.

— Вот так! — сказал Витька и сплюнул.

Ночь сомкнулась за ними. Из ее темноты на нас глянуло вдруг сто тысяч разлук и сто



тысяч встреч. И колеса стучали свою столетнюю песню.

Колеса стучали на великой сибирской магистрали, вынесшей на своем просмоленном горбу всю новейшую историю.

— Правильный его поступок? — сказал Сема, подступая ко мне и свирепо прищуриваясь. — Правильный?

Я не отвечаю, и мы ложимся.

Завтра в десять вечера я приеду. Завтра в десять вечера раскаленный добела закат остановится за моей спиной. Я засыпаю и, засыпая, издалека слышу голос:

— Пашка-то, а?.. Даже не выпили!.. Друг был...

Сема выругался. И мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.

В. Баранова

Журка

Рассказ

Они были маленькие, неуклюжие и смешные. Володя развязал рюкзак и взял журавлят на руки.

— Вот, — сказал он, — пополнение в отряд.

Я захлопал в ладоши, Гриша, как всегда, насмешливо фыркнул, а Таня посмотрела на Володю и спросила:

— Интересно, что ты дальше будешь делать с этими уродцами?

Володя протянул ей одного птенца, но Таня отступила назад:

— Нет, нет, — замахала она руками. — Играй в них с Юлькой.

Мы пошли с Володей в палатку, застегнули вход и боковое окно, а потом опустили журавлят на пол. Сначала они даже не шевельнулись, потом один — смешно так — побежал к моему рюкзаку и спрятался за него. Другой последовал примеру первого.

— Их же кормить нужно! — спохватился Володя, и мы стали рыться в ящике, где у нас лежали продукты.

На пол мы насыпали пшена, покрошили хлеба, а в крышку от фляги налили сгущенного молока с чаем. После этого Володя достал журавлят из-за рюкзака. Они даже не посмотрели на еду: сразу же спрятались опять за рюкзак.

— Наверное, боятся, — решили мы и вышли из палатки.

Через несколько минут туда заглянул Гриша и закричал:

— Ты посмотри, что твои мокрицы наделали!

Мокрица — это у Гриши самое ругательное слово.

Володя полез в палатку, а мы с Таней заглянули в окно, посмотреть, что же наделали журавлята.

Ничего особенного. Просто один наступил ногой на крышку и разлил молоко. А потом пробежал с мокрыми ногами по Гришиному спальнику.

— Смотри, — толкнула меня Таня и закрыла рукой рот, чтобы не рассмеяться. Володя встал на четвереньки, опять достал журавлят и начал их уговаривать, чтобы они «хоть червячка заморили».

— Гордые, и слушать не желают, — все-таки не выдержала и рассмеялась Таня.

А Володя вылез из палатки и сказал мне:

— Иди, Юлька, к ручью и найди там червяков, лягушек каких-нибудь.

Я пошла. На траве уже была роса, и лягушки нигде не прыгали. И червяки не ползали. Попалось мне несколько кузнечиков да страшенный жук. Я его отдельно завернула, чтобы он кузнечиков не сожрал.

Журавлятам понравились кузнечики — они их сразу же проглотили. И жука съели.

После ужина мы с Таней мыли на ручье посуду.

— Тише, кажется, Гриша кричит, — вдруг остановила меня Таня.

Мы прислушались. И до нас долетел возмущенный Гришин голос:

— Или я, или они!

Мы побежали к палатке.

— Послушай, ну зачем ты так? — в чем-то пытался убедить его Володя.

— Нет, — отрезал Гриша. И повторил спокойнее, но с еще большей непреклонностью:

— Или я, или они!

Володя махнул рукой, расстегнул спальник и снял чехол. Завернул в чехол журавлят, потом затолкал все это в рюкзак и вынес его из палатки.

— Ты еще шубу прихвати, — крикнул вслед ему Гриша. — Замерзнут без нее твои мокрицы.

Вот так у нас в отряде и стали жить журавлята. Сначала они сидели в ящике, потом, когда птенцы подросли, Володя сделал им небольшой загончик, чтобы они не удрали. Только один все равно убежал. Мы его искали весь вечер. И не нашли. Остался у нас один журавль. Журка, как называли мы его.

В отряде нас было четверо. К каждому Журка относился по-разному: за Володей ходил, ни на шаг не отставая от него, мне разрешал кормить себя и даже гладить, с Гришей постоянно воевал: то пуговицу у него стащит, то на спальник его заберется. Гриша ругался с Журкой и считал его своим смертельным врагом. А Таню Журка почему-то не любил: не брал из ее рук еды и даже мимо никогда не проходил — всегда обойдет стороной.

Таня ходит в маршруты с Гришей, Володя берет с собой меня. Для нас он всегда выбирает маршруты труднее и дальше. Зато мы часто добираемся до обнажений на лодке, Володя, я и Журка. Володя гребет, я сижу у руля, потом мы меняемся местами. А Журка — этот всегда сидит на носу и посматривает себе по сторонам. Мы совсем не заметили, как вырос наш Журка. Шея, нос, ноги у него вытянулись, стали длинные-предлинные. Только хвост у него почему-то не вырос и остался совсем коротеньким. Ходит Журка неторопливо, размеренным шагом.

— Геологическая походка! — шутит Володя.

Вот только летать Журка долго не мог научиться. Поднимается Володя на обнажение — и Журка за ним лезет.

— Дурак Журка, — говорю я Володе, — вон какие у него крылья. Взмахнул раз-два — и на вершине. И не надо так долго ползти по этим камням.

Володя улыбается. Наверное, доволен, что Журка от него не отстает.

Мы идем по обнажению. Володя камни молотком простукивает, я собираю за ним образцы, складываю их в мешочки и подписываю. Журка тоже ищет, только не камешки, а какие-то семена, корешки. Найдет и выкапывает: клюв у него острый, да еще ногой себе помогает.

Когда становится очень жарко, Володя идет медленнее, чаще оглядывается на меня:

— Устала? — спрашивает он.

Я отрицательно мотаю головой. Как же, признаюсь я ему! Я иду быстрее и прохожу вперед. Тогда Володя останавливает меня:

— Подожди, Юля, Журка очень отстал.

Журку, конечно, надо подождать. Я сажусь под деревом и смотрю на Володю.

— Мы много сегодня сделали? — спрашиваю я его.

— Много, — отвечает Володя.

— Я тебе хорошо помогаю?

— Хорошо помогаешь, — улыбается Володя.

— Смотри, когда на эту гору поднимались, я только два раза отдыхала. А на той — ни разу.

Володя смеется.

— Я это уже в сотый раз слышу и в сотый раз тебе обещаю, что расскажу о твоем героизме Борису. Пусть его сгложет черная зависть, пусть он бьет себя кулаками в грудь, посыпает голову пеплом и кричит покаянно: «Зачем я не взял Юльку в свой отряд?!»

Я отворачиваюсь от Володи и делаю вид, что обиделась. На самом-то деле я очень люблю, когда Володя так смеется. Я сижу и радуюсь, что меня не взял к себе Борис. Хоть и обещал всю зиму. Хоть и говорил: «Перейдешь с табелем без троек — возьму». Я-то перешла. А он не взял. И хорошо, что не взял. Представляю, как это ужасно: работать в одном отряде с родным братом. То — нельзя, это — не так, про то — не говори, туда — не лезь. Володя — совсем другой. Хоть он и лучший друг Бориса. И все равно мы найдем с Володей что-нибудь такое, что Борис ахнет. Володя — такой, Володя обязательно найдет. И я ему не мешаю, как говорил Борис, а наоборот, помогаю.

— Пошли? — спрашиваю я Володю.

— Пошли, — соглашается он.

И опять мы поднимаемся в гору — Володя, я и Журка. Идем мы медленно, Володе нравится это обнажение. Пока он его осматривает, мне делать нечего. Я поднимаюсь выше и собираю саранки. Потом отдаю букет Володе.

— Чего это ты, Юлька? — удивился он.

— А хочешь, я подарю тебе все эти саранки? — показываю я ему на красный от цветов склон.

Володя улыбается. А мне вдруг хочется подарить ему все цветы с этой горы. И небо. И солнце. Пусть только он улыбается.

Володя держит мой букет. И не выбрасывает его, а осторожно кладет за лямки рюкзака.

— Подожди, Юля, — говорит Володя, — я посмотрю еще с того края — и пойдем.

Я опять лезу наверх. Огромный камень выступает вперед метра на два — я сажусь на него. Мне хочется петь или читать стихи.

«Стою на вершине у края стремнины...» — вспоминаю я. Нет, это не то, не так. Я перестаю вспоминать. На языке у меня вертятся какие-то нужные сейчас слова. Если я их не скажу, они улетят и больше у меня их не будет. А сказать эти слова мне страшно. Я достаю карандаш и записываю их. Получается столбиком. Теперь можно вслух. Совсем тихонько я говорю:

В горах, где вершины снежные
Солнца восход встречают,
Самый первый подснежник,
Как мир весь, тебе отдать...

— Юлька! — слышу я голос Володи. — Юлька, смотри, он полетел!

Я смотрю, куда мне показывает Володя, и вижу Журку. Совсем низко над травой, потом выше. И еще, и еще! Он летел, вытянув шею и ноги — совсем как взрослые журавли, — летел свободно и смело, будто бы занимался этим с самого своего рождения.

А вечером я лежу в палатке. Гриша уже спит. Володя и Таня сидят у костра. Мне совсем не хочется спать. Я тоже люблю сидеть у костра. Но Володя отдал мой букет Тане. И поэтому я лежу в палатке. Мне слышно, что они говорят.

— Странный сегодня день... Юлька... И Журка. — Это Володя.

— Журка полетел, а что Юлька? — Это Таня.

— Не знаю, — Володя.

— Костер гаснет, — Таня.

— Дай вон ту бумагу, разожгу.

— Подожди, тут, кажется, стихи.

И я слышу, как Таня читает:

Солнцем весенним и грозами
Врываться в судьбу твою,
Шелестом листьев березовых
Тебе говорить «люблю»,
В горах, где вершины снежные,
Солнца восход встречать,
Самый первый подснежник,
Как мир весь, тебе отдать.

Володя прерывает ее:

— Подожди, это Юлькин почерк, не надо.

А Таня смеется. И читает дальше:

В пустынях, в степях полынных
Водой ключевою стать,
Чтобы прохладною синью
Губы твои целовать,
Как морем багула пахучего,
Счастьем тебя пьянить,
Для меня это — самое лучшее,
Для меня это значит жить.

Если я не умру, то все равно мое сердце сейчас выскочит. Если оно не выскочит, то все равно на свое место уже не встанет. Наверное, пятки у меня тоже покраснели. Я прячусь с головой в спальник, кусаю руки, чтобы не расплакаться. Все равно слезы текут по щекам. В спальнике душно, и я немного приоткрываю его, чтобы подышать. И слышу, как у самой палатки зашептались. Потом слышу, как они целуются.

Я опять прячусь с головой и опять кусаю свои руки. Мне больше не стыдно за стихи. Я ненавижу его, ненавижу Володю, я говорю все, что о нем сейчас думаю.

— Предатель, — говорю я, — предатель, обманщик, враль. Я тебе цветы, и небо, и солнце, а ты, ты читаешь нечаянно оброненные листки, даришь ей чужие цветы и целуешь ее. Ненавижу, ненавижу, ненавижу...

Потом мне снится Володя. Он идет по нашему городу с рюкзаком за плечами, и все останавливаются и смотрят ему вслед. На Володю нельзя не смотреть, потому что он самый красивый в нашем городе. Такой высокий, черные волосы вьются, а глаза голубые-голубые. И улыбка — чуть насмешливая и в то же время немного виноватая. Улыбается, а глаза грустные. Идет Володя по улице, ко мне идет, рюкзак у него за спиной, рукав на куртке прожженный, и носки он, как всегда, потерял. А девчонки все на него смотрят. Володя ищет меня, а к нему подходит Таня. И он целует ее. А я стою совсем рядом.

Потом у нас кто-то заболел, все в палатке проснулись. И почему-то одной мне Таня ставила градусник, почему-то одну меня кормила таблетками. А утром мне сказали, что я никуда не пойду и буду лежать весь день.

— Не буду, — ответила я, хоть и обрадовалась, что мне не нужно идти сегодня с Володей. Володя сделал строгое лицо и подошел ко мне:

— Как начальник отряда, я приказываю тебе лежать сегодня и читать детективы. — И бросил мне «Лейтенанта милиции».

— Слушай, Володя, какие я стихи вспомнила. — Я приподнялась, чтобы лучше читать:

Я думала, что ты мой враг,
Что ты беда моя тяжелая,
А ты не враг, а просто враль,
И вся игра твоя дешевая!

Володя кашлянул и отошел в сторону, а Таня наклонилась ко мне:

— Юленька, это ты сама написала?

Я кивнула головой, подумала и потом ответила:

— Нет, не сама.

Но этого Таня, кажется, не расслышала.

А вечером из маршрута не вернулся Володя. Он уплыл утром с Журкой на лодке. И не вернулся вечером.

Сначала Гриша и Таня смеялись:

— Видишь, Юлька, как он задерживается — где уж ему без тебя вовремя управиться!

Стемнело. Володя не приходил. Мы сидели у костра и ждали. У нас никто не ходил в двухдневные маршруты. И Володя не мог уйти. Мы разожгли большой-большой костер. А Володя все не шел. Гриша взял ружье и хотел идти, но Таня остановила его:

— Подождем до утра.

Они велели мне идти в палатку, а сами решили по очереди смотреть за костром. Я сказала, что не буду спать. Но они меня и слушать не стали.

И утром Володя не пришел. Мы прождали его до обеда. Потом Таня пошла в одну сторону, Гриша в другую, а мне дали ружье и сказали, чтобы я стреляла, если вернется Володя.

Они пришли поздно вечером — сначала Таня, потом Гриша. Они пришли без Володи. И опять мы жгли всю ночь костер. Таня сказала, что нужно идти в соседний отряд. Там есть рация. Вызовут вертолет. Гриша покачал головой:

— Это нелепо. До Бориса — три дня на лодке. Будем искать сами.

Наступил третий день. А мы ничего не знали о Володе. Совсем ничего.

Утром Таня сказала:

— Может, мы зря идем? Может, не нужно идти?

Гриша не ответил Тане. И я ей не ответила. Гриша прошел мимо, будто не слышал Таниных слов. И я прошла мимо. Я догнала его: мне нужно было сказать ему что-то важное. Только я забыла, что. Он провел рукой по моим волосам и пошел. А я опять догнала его. Я вспомнила, что хотела ему сказать:

— Вот. У него, наверное, кончились. — Я протянула Грише пачку «Беломора».

И тут Гриша не выдержал. Он бросил папиросы. Сейчас закричит, сейчас скажет, что папиросы уже никому не нужны. Я закрыла руками лицо. Гриша молчал. Долго молчал. Я опустила руки. Он смотрел вверх, весь подавшись вперед. Вот дрогнули уголки его губ — и Гриша улыбнулся, широко-широко.

— Журка... — прошептал он и заорал: — Журка! Журка!

Гриша схватил меня, подбросил в воздух. А я не стукнула его, когда он поцеловал меня.

Мы побежали к поляне: Журка всегда опускался только там. Сейчас от стоял уже на траве и отряхивал перья. Потом Журка поднял ногу и потряс ею, будто что-то сбрасывая. К его ноге был привязан спичечный коробок, а на нем было написано меленькими Володиными буковками: «Юлька, у меня нет папирос. Веди ребят к старым канавам, я там сижу».

Мы по двадцать раз каждый перечитывали Володины слова. Потом бросились целовать Журку. И Гриша, Гриша, который с первого же дня невзлюбил его, Гриша, который ни разу и по имени его не назвал, этот самый Гриша гладил Журку и ласково-ласково повторял:

— Журка, Журавушка, Журушка!

Мы сделали плот меньше чем за два часа. Но и это время показалось нам годом. И целый год мы плыли по реке до того места, где Володя оставил лодку. И еще несколько лет мы искали эти старые канавы. Мне их как-то издалека показывал Володя. Канавы! Их только называют так. На самом же деле это настоящие колодцы. Шахты. Пропасти. И в одной из таких вот канав был Володя. Он спустился туда по сухой березе, а назад выбраться не смог, береза сломалась.

Мы вытащили его. Он был такой бледный, а глаза были синие, они все больше синели на солнце, и эта синь заливала меня, и я не могла даже шевельнуться.

Таня и Гриша целовали его, больше Таня. А я подошла наконец к Володе и протянула ему «Беломор». И еще спички. Потом я ревела — первый раз за эти страшные дни. И меня никто не успокаивал, все только улыбались, но от этого мне не было обидно.

А когда мы вернулись в лагерь, там не оказалось Журки. Я стала звать его, но Володя остановил меня:

— Не надо. Смотри туда. — И показал вверх.

Косым углом летели в небе журавли. Вот они поравнялись с нами. И вдруг одна птица

отделилась от стаи и начала снижаться. И все они опустились ниже, и опять выравнялся их косяк. Теперь он летел совсем низко. И мне показалось, что я увидела Журку. Его грустные-грустные глаза. А может, это были не его глаза.

— А какое сегодня число? Юлька, ведь тебе тоже пора собираться домой, — всплеснула руками Таня.

Какие же они грустные, эти глаза. Соби
раться? Да, мне пора собираться. Володя по
дошел ко мне

— Не надо, Юлька, — сказал Володя, -
журавли ведь возвращаются.

Они возвращаются. А Журка? Будет л
он помнить наш отряд, Володю? Он же лю
бил его. Будет ли он помнить Володю?

Л. Хрилев

НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Век бредит звездными мирами,
Век бродит в солнечном кольце.
Он здесь, где тишина, как в храме,
Сквозит на девичьем лице.
Она еще совсем подросток,
В халате беленьком сидит.
Как просто,
но всмотрись —
не просто
За вспышкой лампочек следит.
Их торопливое миганье —
Как позывных горящий след.
И раскрывается преданье
И письмена сотлевших лет,
И в четких цифрах траектории
На лист размашисто легли,
Чтоб новой вехой для истории
Взлетели в космос корабли.
Какой огромный труд таится
В движеньи света за стеклом,
Как будто атомов частицы
Бьют о рассвет своим крылом.
И легкий шум.
И яркость.
Яркость!
И века творческая ярость.
И эта девушка в халате,
Как при обходе врач в палате.
Она кефир пьет из бутылки
И булку черствую жует.
Лишь у виска биенье жилки
Ее тревогу выдает.
А за окном сибирский город
С чертами древней старины,
И пух летит ему за ворот
Из тополиной вышины.
И смотрит древность, отмирая,
С резным купеческим крыльцом,
Как время, скорость набирая,
Летит над девичьим лицом.

ПЕСНЯ О БРАТСКОМ МОРЕ

Дымит в синей полночи чайник
Среди загрубелых ребят.
А снежные хлопья, как чайки,
Над нашей палаткой летят.

На стеклах зыбучее пламя
Костров и далеких миров.
И песня всплывает над нами
Под музыку вьюжных ветров,

В простуженном горле не звонко,
Но трепетно бьется крылом.
И нам подпевает девчонка,
В ушанке склонясь над столом.

Нас песня уводит далеко,
Теплом согревая в пути.
Тайга в индевелые окна
Глядит, будто хочет войти.

Не ветры, а, кажется, волны
К нам ломятся в ветхую дверь.
Мой друг, эту песню запомни,
В мечту нашу крепче поверь.

Уходим в метельную замять,
Но мы не уходим в запас.
Здесь Братское море на память
Останется внукам от нас...

Дымит в синей полночи чайник
Среди загрубелых ребят.
А снежные хлопья, как чайки,
Над нашей палаткой летят.

Владимир Тарнопольский

* *
*

Расплескалась холодная темь
По полям, по садам, по воде.
Старый дуб, словно черная тень,
Потянулся к далекой звезде.
Не тянись ты к ней, дуб. Все равно
Не достанешь ее никогда.
И силен и красив ты,
но
Ты лишь дуб, а она — звезда.

Денис Цветков

РУЧЕЙ

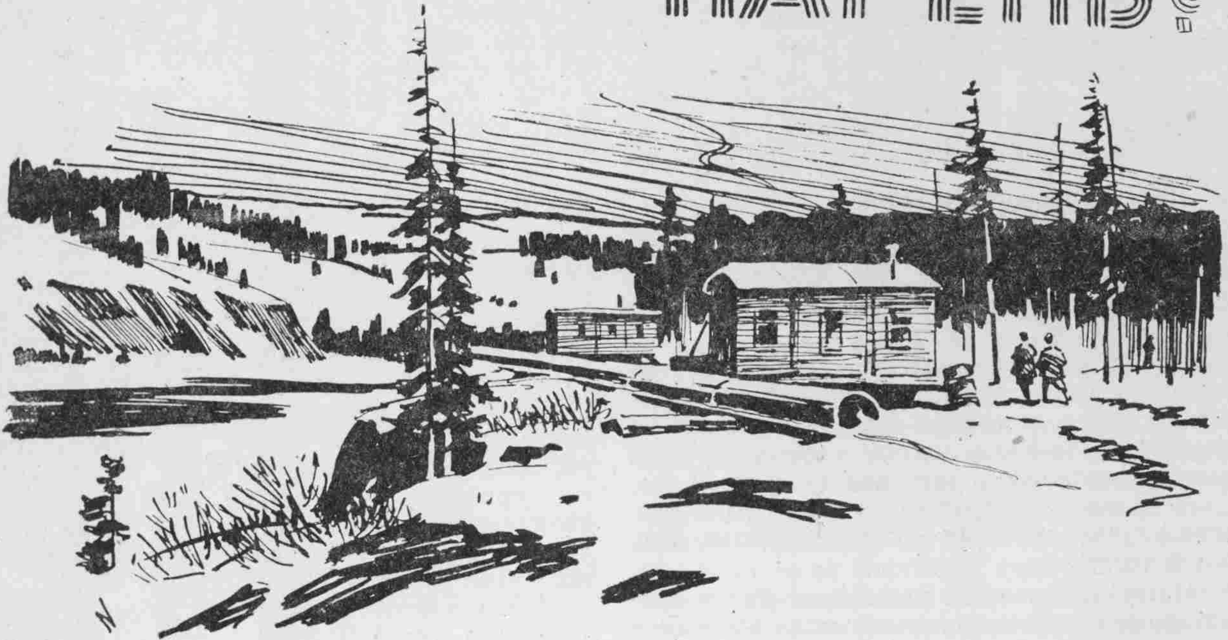
Нет, не ручей, а ручеек,
Такой, что не на что смотреть.
Казалось, мог он
Между кочек
Бежать, бежать
И... умереть.
И он бы умер, бессловесный,
Не став источником реки,
Когда б в груди его,
Как песни,
Не бушевали родники,
Когда б, на братьев не похожий,
Не замерзающий зимой,
Он не поил
Людей прохожих
Своей студеною водой.

* *
*

В горах Италии далекой,
Где солнце смотрит
Прямо вниз,
В объятьях лавра, одиноко
Стоит гранитный обелиск.
Под ним покоятся останки
Бойца из северной страны,
Что был сожжен
В подбитом танке
В день окончания войны...
Вокруг — оливковые рощи,
Горят альпийские цветы,
Но чужеземец
Молча ропщет
На недостаток теплоты.
И хоть полуденные ветры
С избытком курят фимиам,
Ему же снятся
Только кедры
И шапки снежные Саян.

Юрий Скоп, Вячеслав Шугаев

Сколько лет тебе, ПАРЕНЬ?



Повесть

— Сколько лет тебе, парень?
— Двадцать пять. А тебе?
— Мне?.. В общем-то, двадцать три...
— Почему в общем-то?..
— Да так. Потому что до сих пор меня кормила мама.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тайга выходила из-под снега. Пятнилась бурыми островами-подпалинами, ветер поднимал на них безвольные, вымороженные травы, а они снова прижимались к земле, пахнущей горьким и талым.

Теплела тайга, и теплели озорники-ветры. На прогретых речных откосах приставали они к измученным за зиму тальникам. Лед на реке скрашивался. Тонко, хрустально звенел. Ветры растаскивали по тайге тальниковые посвисты, речные звоны. Тайга слушала все это жадно, как слушает напуганный ранней весной зверь. Апрель брел по тайге хмельной, не разбирая дорог.

Трасса упиралась в лед. Порыжевшая за зиму труба на бревнах-подкладках подкатилась к береговому обрыву и замерла над рекой, нацеливаясь пикой-заглушкой в небо, на зябкие ветлы на том берегу, на ранних, спешащих куда-то уток. Остромордая громадная труба нефтепровода на любительских снимках Василия I — хорошего сварщика и плохого фотографа — напоминала ракету, вывезенную на праздничную демонстрацию.

Осевший за зиму набок вагончик около трубы тоже встречал весну. Апрельский сквозняк поскрипывал дверью. А поскольку в вагончике сидели двое очень занятых людей, никто ее не собирался закрывать. Прораб Коля-Коля мрачно сутулился над потрепанным

выпуском «Экспресс-информации»: может, хоть здесь можно вычитать, почему эту проклятую трубоочистку никак не сдвинешь с места.

Рядом с Колей-Колей притулилась лаборантка Мальвина Мартынова, месяц назад присланная из отряда. Она, видимо, плохо спала эту ночь и сейчас устало позевывала, не желая даже на миллиметр сдвинуться с места и страшно раздражая этим Колю-Колю.

— Нашла где дремать. Нашла спальный вагон,— распалял себя Коля-Коля.

Он понимал, что гнев его несправедлив: Мальвина вчера до поздней ночи возилась у битумных котлов, но с гневом уже ничего не мог поделать. Коля-Коля медленно отбирал слова.

— Вы очень неприлично храпите, Мальва. Женщине с таким красивым именем вообще нечего делать на трассе. Вам лучше сниматься в кино или отыскивать золотой ключик вместе с Буратино.

Коля-Коля вспомнил, что позавчера эта веснушчатая толстушка стирала ребятам тельняшки, а ему поставила отличную заплату на пиджак. Коля-Коля локтем ощутил заплату, налился малиново и загремел табуреткой.

— К черту эту трубоочистку!.. И вы, Мальвина, лучше молчите — без вас тошно. Все, все к черту!

И он выскочил из вагончика, минуя примитивные ступеньки, сделанные из бочонка и гнилого чурбака.

Причин для раздражения у Коли-Коли было больше, чем достаточно. Утром полетел трос у скрепера, и утром же был неприятный разговор с представителем заказчика Карамовым. Тот морщил свой остренький носик и поглаживал руку, пряча татуировку, которой стыдился.

— Как же так, Николай Николаевич! Разве у лепестковых муфт можно такие кромки оставлять! Они же не выдержат и двадцати атмосфер и, как говорится, поползут по швам. Надо срочно переделать, Николай Николаевич. Иначе останетесь без расчета...

Коле-Коле было противно слушать тонкое зуденье Карамова, тем более, что швы отвечали всем техническим нормам и никуда бы не поползли. Карамову хотелось покапризничать, а ты стой, как набитый дурак, и молчи, чтобы Карамов не закуражился еще больше.

После отъезда Карамова Василий I за полчаса пробежался по непонравившимся муфтам, налепил по кромке красивенький, ровный шов, абсолютно бесполезный, но радующий глаз начальства. Наряды теперь можно закрыть без скрипа, но настроение как было поганым, так поганым и осталось.

А тут еще измочаленный трос, застрявшая трубоочистка, да на той стороне Костя Шквиря возится чего-то с бульдозером. Ну хоть матерись. И Коля-Коля, закурив, наверное, двадцатую за утро папиросу, зашагал к реке, сочиняя на ходу те редкостные фразы, которые он выскажет Косте Шквире.

...Утром, переходя Оку, Костя смотрел на разбухший, игольчатый лед и, петляя между пропаринами, подумал: «Завтра уже на лодке придется перебираться».

За ночь бульдозер застыл. Ветер, по-зимнему тяжелый, шлялся по степи до утра, и Костя долго возился с пускачом.

Костя всегда разговаривал с бульдозером. Это вошло в привычку давно, и он теперь даже не замечал ее. Разные слова говорил Костя своей машине. Когда она работала хорошо — ласковые («вот так и надо, родимая»), грубоватые — когда бульдозер начинал барахлить («дурак ты железный, работать надо»), злые — если он упорно молчал, как сегодня.

Злиться на машину Костя не любил. Да и настраивать себя на злость, тем более сегодня, просто не хотелось. Он ждал, ждал, когда на горизонте, вон оттуда, появятся трубоукладчики. Они притащат к реке целый городок вагончиков: база участка переходила сюда, к Оке. В одном из них приедет Маша.

Трактор сопел, попыхивая дымком, но не заводился. Тогда Шквиря закурил. Присел на гусеницу:

— Ну и стой. Надоест молчать — сам заведешься.

Баловник-верховик парусил над тайгой облака. Сгонял их, ленивых, к горизонту в огромное белое стадо.

Накурившись, Костя с силой вертанул рукоятку пускача, и тот запел.

— Что я тебе говорил, дурак ты железный.

...Костя поехал через тайгу к тракту. Там перед самым рассветом застряла автолавка. Бульдозер рвал грязный снег, начисто заминал на подпалинах-островах прошлогодние норы...

...Лед пополз под ногами Коли-Коли на середине реки. Ящерицей убежала от сапог глубокая трещина, сердце екнуло, и Коля-Коля понял, что не сможет сделать вперед ни одного шага. Какие-то секунды лед еще держал его, потом плавно, двумя холодными пластинами стал уходить вниз.

После резкого треска лицо Коли-Коли обожгло противным тяжелым холодом. Коля-Коля вынырнул и, раскинув руки, ухватился за лед. Теперь — пальцем не шевели. Он не

мог повернуть головы, но знал, что за спиной, на берегу, его не увидят: скрывает обрыв. К тому же все, наверное, возятся у трубоочистки, на другом конце дюкера. А Костю Шквирю обругать он не успел. Бульдозер завелся и ревет уже далеко от берега.

Колющая ломота началась с колен и пошла выше, выше. А руки уже не чувствовали льда и казались совсем чужими.

Лет шесть назад был капитаном в Окском пароходстве, но и тогда не думал, что придется тонуть в этой речке. Вспомнил Степу Попова... С ним когда-то зимовал на Тикси... Вспомнил его любимое присловье: «Умрешь, брат, от смеха». «Эх, черт, забыл наказать ребятам, что на лебедке работать нельзя — трос совсем истерся».

Колющую боль сменила дрема. Скоро-скоро откажут руки...

...Костя удивился, увидев в громадной полынье кепку. Улыбнулся было: совсем как в армянской загадке: кругом вода, а посредине фуражка... и тут он увидел бледное лицо Коли-Коли, который уже не мог кричать.

Схватив на бегу шест (им делали промеры реки), Костя бросился напрямую к полынье. Подполз по трещавшему льду, протянул шест и неожиданно попросил:

— Коля-Коля, очень прошу тебя, попробуй взяться покрепче...

Оттирать Колю-Колю поручили Толику Федкову, здоровенному бугаистому парню со смешной ямочкой на подбородке. Толик, казалось, рашпилем сдирал кожу с Коли-Коли, а тот, приходя в себя, пытался шутить:

— Черт, будь я писателем... Как бы товарища Шквирю мог описать... А я все думал, неужели на твоей свадьбе, Костя, не погуляю. А уж теперь! Э-эх! Завтра так напляшусь — до следующего утонутия...

И Коля-Коля заснул на жесткой лавке вагончика. Присматривать за ним осталась Мальва, с перепугу заплаканная и от волнения растерянно глядевшая.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В этот день много говорилось о загсах. Тема была очень интересной, потому что в сутолоке кочевок парни начисто забыли о существовании этого учреждения. Жениться еще никому не приходилось, и все приставали с расспросами к Грише Михайлову, веселому лысеющему чувашу, который еженедельно отправлял и получал из Новосибирска письма от «больно хорошей жинки Марьям». Гриша бывал в загсе:

— Ба-альшие пальмы в кадках, значит, стоят. А ты сидишь на кожаном диване в очереди. Марьям очень сердится и уже отказывается замуж идти. Потом заходишь к строгой женщине и заполняешь листки. Строгая женщина ворчит, что долго копаемся. И нужно платить пошлину за то, что женишься. А денег даже на трамвай нет. Выскакиваешь обратно в очередь: «Эй, дорогие, кто выручит — завтра занесу». Марьям плачет. Тебе жарко. Но ничего. Деньги достаешь, платишь госпошлину, и строгая женщина вдруг улыбается. Это, значит, ты стал мужем, а Марьям женой.

Мальва Мартынова проявила вдруг чрезвычайную осведомленность:

— А, говорят, в Ленинграде есть Дворец бракосочетаний. С шампанским, с музыкой. Красота-а...

Василий I заулыбался щербатым ртом, защурился шельмоватыми глазами и хотел было облапить Мальву, но передумал. Заскорузлой рукой погладил ее плечо:

— Прибудем вот в стольный город Зиму и поедем мы с тобой, Мальвина Мартынова, в купированном вагоне-ресторане в Ленинград. Сочетаться браком.

Василий I давно уже, на людях и без людей, объяснялся Мальве в любви и предлагал образовать «первичную ячейку коммунистического общества». В первый же вечер, когда Мальва приехала из Красноярска, он подкараулил ее за мостиком, недалеко от вагончика, и обнял. Мальва очень испугалась, обозвала Василия «нахальным дураком» и убежала. Но утверждать, что ей не понравились сильные руки лучшего электросварщика, она не могла.

После этого Василий I на людях по-прежнему нахальничал и лез к Мальве, но наедине держался довольно корректно и только уговаривал поскорее выйти за него замуж.

...Мальве нравилось сегодня слушать разговоры о загсах...

Но разговоры разговорами, а Дворца бракосочетаний на трассе не было. Не было даже какого-нибудь завалящего, по совместительству, представителя районного отдела записей актов гражданского состояния. На трассе готовились к разъединственно-первой свадьбе.

Жениха и невесту отсутствие загсов мало волновало. Костя Шквиря морщил широкий лоб и спрашивал у Маши:

— Ведь печать в паспорте не так уж важна, правда? Ну что от этого меняется? Дойдем до Зимы, а там и распишемся. Нет, серьезно? Для некоторых печать в паспорте — самое главное. А вот я знаю, люди вместе двадцать пять лет жили нерасписанными. А жили — во! Только потом старик помирать

собрался ну и пошел перед смертью зарегистрироваться. Чтобы из-за наследства какой-нибудь ерунды не получилось. Нет, серьезно, Маша? Ну какое это имеет значение?

Маша слушала, присев на стол. Внимательно разглядывала Костю:

— Завтра с утра маме письмо буду писать. Замуж, мол, вышла. Мама удивится, наверное. Скажет, выросла дочка. А может, рассердится.

Костя засмеялся:

— Я тоже еще матери не писал. Единственный человек знает: Илюха Храмов. Приглашал я его приехать. Да у него разве что-нибудь узнаешь. Хороший парень Илюха. Странный, как ты...

Маша отвернулась к окну, и блики-рыжинки заблестели в ее волосах:

— А у меня вот близких подруг не было. Чтоб кого-то ждали... ФАШ кончила, к экзаменам с девчонками вместе готовились, на танцы бегали. Сейчас изредка переписываемся. Но как-то так, без страсти. Вот ты, Костя, мне нравишься. И, наверное, замужем интересно... Посмотри, посмотри, какой пар над речкой. Теплый и пушистый. Пошли отсюда, ладно?

Оставалось только неопределенно гмыкнуть после такой речи, что Костя и сделал. И побежал догонять Машу.

...Она появилась на трассе в прошлом году. В первый же день стала вдувать парням в носы какой-то порошок из маленькой резиновой груши. Парни до слез чихали, а Маша расстраивалась:

— Да нельзя же сейчас чихать. Ведь от порошка никакого толку не будет.

Костя увидел ее как-то утром из окна начальника участка, который ругался по телефону из-за запчастей.

У медпунктовского вагончика тоненькая высокая девчонка рубила доски от ящика из-под солидола. Она неловко ухватила топорище почти у самого основания и стукала поперек доски, рискуя ослепнуть от вертикально отлетавших щепок. Костя выбежал из вагончика:

— Девушка, а девушка! У вас что, папа — профессор Филатов?

Маша удивленно обернулась, запыхавшаяся, азартно блестевшая серыми, чуть вытянутыми к вискам глазами, с акварельным румянцем на большеватых скулах:

— Нет у меня папы, вообще нет. А откуда вы знаете профессора Филатова?

— Да не знаю я его. Просто без глаз останетесь. Давайте, я нарублю...

Маша наотрез отказалась от помощи и, все так же нелепо держа топор, продолжала тюкать по доскам.

Вот так они познакомились...

...А в автолавке выбирали свадебные подарки. У кузова ее хмуро толкались три Василия. Час назад они купили громадный таз, кастрюлю и ванну и, хохоча, побежали к сварочному аппарату: на дне кастрюли парни решили вывести электродом: «Держи брюхо в голоде», на тазу — «Ноги в тепле», на ванне — «Тело в неге».

За час они бесповоротно испортили и таз, и кастрюлю, и ванну. Денег у них уже почти не было, и они, в который раз, переспрашивали краснорожего плечистого детину, стоявшего за прилавком:

— А это почем? А это?

Коля-Коля купил две пары импортных домашних туфель и, довольный, рассказывал Василиям, что однажды в Якутске подарил на свадьбу бочку коньяка.

Василий I, зажав уши руками, бешено мотал головой, не желая слушать. Василий II, который гордился своей удивительной фамилией Устинов-Ладожский и умением отлично держать рычаги трубоукладчика, презрительно фыркал длинным мощным носом, на трассовском обиходном языке называвшемся просто — «рубильником». Моторист Удачин — Василий III — низенький, крепкий, с расстегнутым «аж до пупа» воротом рубахи, добродушно похохатывал вместе с Колей-Колей.

В конце концов Коля-Коля дал им взаймы тридцать рублей, и Василии снова насели на краснорожего продавца.

Больше всего гордился покупкой Гриша Михайлов. Он купил гамак, который проехал, наверное, с автолавкой миллион километров за ненадобностью. Гриша довольно почесывал лысину и объяснял:

— Никто в санатории «Пищевик» не бывал? А я бывал. И тебе море, и тебе солнце, и тебе вино. Лежишь в гамаке — и такой сильный будешь, такой ласковый. Костя летом гамак за сосну зацепит. Ветерок, трасса рядом, Маша рядом. Оба сильные, оба нежные. Хорошие ребятишки у них будут,— неожиданно заканчивал Гриша.

Мальва в складчину с Толиком Федковым купили патефон с единственной пластинкой, имевшейся в автолавке. На пластинке был романс, начинавшийся словами «Дышала ночь...»

Мальва сомневалась:

— Неудобно с такими-то словами. Ребята начнут чего-нибудь...

Толик успокаивал:

— Это классика...

Свадьба началась ровно в шесть. На столах в вагончике-кухне было: колбаса краковская — восемь килограммов (все, что нашлось в автолавке), винегрет — три кастрюли (повариха Лушка резонно заметила, когда хотели сделать больше: «И этого не съедят»), масла сливочного — пять килограммов («Зато никто не опьянеет»,— объяснила та же Лушка), картошка жареная — не подсчитать, потому что разложена была по тарелкам. На десерт предполагались конфеты «Земляничные» и шесть килограммов фруктового рулета, обнаруженного в бездонной автолавке.

Пили водку московскую. Для дам ее подкрасили брусникой, и сейчас все в один голос уверили их, что это слабенькое, фруктовое вино.

Выпили за жениха, за невесту, за их родителей, за счастье, за будущее потомство, за Колю-Колю, за то, чтоб лысина у Гриши Михайлова особо не разрасталась, за красивое имя Мальва и так далее.

Костя, переволновавшись и набегавшись за день, опьянел и потребовал внимания:

— Ребята! Мы с Машей хотим выпить за всех за вас. Спасибо вам, во-от...

Он не договорил, потому что Маша усадила его.

Начались песни.

— Ой, да ты, хорошая, ой, да ты, пригожая,— ревело в вагончике.

Мальва поднялась из-за стола и стала пробираться к выходу, потому что Василию I позарез нужно было ей что-то сказать. Важное-важное. Она вышла из вагончика, а Василий I поднялся было, но его не пустили — снова говорил Костя:

— Нет, вы должны понять меня. Должен же я последний раз холостяком сесть на бульдозер. А, братцы?

— Конечно-о-о!

— Костя, ты же классно водишь эту таратайку...

— Давай, Костя, давай...

Напрасно Маша уговаривала его — Костя пошел заводить бульдозер. Тот зарычал недовольно, и Костя положил руки на рычаги. Вдруг услышал сквозь рев крик:

— Костя, Костя!

Он оглянулся. Кутаясь в белый платочек, к нему подходила Мальва. Она остановилась совсем рядом, чтоб лучше слышать:

— Ты куда, Костя?

— В степь, Мальвочка. Холостым. Последний раз...

— Костя, ты очень счастлив?

— Ого-го-го...— восторженно закричал Костя. И (как это случилось!) вместо правого фракциона, потянул левый. Крик, ужасный крик. Мальва не успела отойти, и бульдозер смял ее.

Первым из вагончика выскочил Василий I:

— Что ты наделал, сука-а-а?— протяжно и страшно закричал он.

Крик утонул в степи, и была только тишина. Был Костя, опустивший в оцепенении на рычаги голову, была Маша, тоненькая и светлая, в проеме двери. На Машу никто не смотрел. Тишина, тяжелая тишина. Почему-то только работал бульдозер...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Вася!.. Вася!.. Васька! — Толик Федков в который уже раз забарабанил в дверь вагончика трех Василиев. Нужно было достучаться во что бы то ни стало. Об этом его очень просили Василий II и Василий III, расстроенные и подавленные:

— Понимаешь, ну ни в какую Ваську не можем поднять с рундука. По-всякому его уговаривали. И по-хорошему, и матом пробовали расшевелить. Молчит. Даже не курит. Что делать, Толик?

Толик во всю силу заколотил в дверь:

— Васька!

Василий I молчал.

Ничего не стоило вышибить эту дверь, но Толик приберег взлом на крайний случай, Василий I появился на пороге в тельняшке, трусах, чисто выбритый, с прищуренными, безразличными глазами:

— Не ори... Слышу же...

Толик расстегнул воротник гимнастерки, повертел могучей шеей и не знал, что сказать. Вытер вспотевший лоб, брякнул такое, о чем, еще не раз вспомнив, будет густо и мучительно краснеть:

— Мальву сегодня хороним. Придешь?

У Василия I чуть дрогнула нижняя губа, и он отвел от Толика глаза:

— Я не пойду. Не пойду. Не пойду! Слышишь ты, утроба жирная!— неожиданно перешел на крик Василий I. Хлопнул дверью. Толик остался стоять. Беспомощный, чудаковато разводя руками, пытаясь что-то объяснить.

Ему было стыдно своей бестактности, он каялся и хотел скорее забыть неосторожные, ранящие слова.

Толик нехотя шел к медпунктовскому вагончику, где лежала веснушчатая, толстая девчонка с красивым именем Мальва. Толик почему-то сегодня все время вспоминал ее на последней репетиции: как она, начиная говорить, все одергивала свое цветастое платье,

ощипывала его и, облизнув губы, говорила неожиданно тонко и без выражения. Толик, на правах режиссера, сразу же начинал ругать ее. Она покорно слушала, и снова у нее ничего не получалось...

О Мальве думал и вспоминал весь участок. Парни ходили потрясенные нелепостью случившегося. Никто никого не винил. Про Костю Шквирю говорили все одинаково: сидеть ему не дадим. В Верховный Суд напишем. И, представив тяжесть огромной беды, свалившейся на Костю, почти со стоном выдыхали: «Ну не нарочно же...»

К полудню приехал Дмитрий Никифорович Лотомов, начальник участка, срочно отозванный из Новосибирска, куда он уехал дня три назад. В серой рубашке с черным галстуком, с обветренным до красноты лицом, он курил и ждал ребят в конторе:

— Допились, гименеи. Смертный случай только из-за халатности. Прославимся по всему Главгазу. Свадьбу придумали! Ну как, как, я вас спрашиваю, в управлении об этом отчитываться буду?

Лотомов закурил новую папиросу:

— Вот тут приказ по тресту привез. Константину Шквире объявляется благодарность за спасение прораба Николая Николаевича Котырева... А приказ-то преступнику вез. А? Молчите? А матери-то Мартыновой хоть написали?

Парни молчали недобро. Опять «полковник» под устав все хочет подвести. Так положено, а так не положено.

«Полковником» Лотомова прозвали не только за то, что вышел в отставку в этом звании, а за то, что в Дмитрии Никифоровиче, по определению Василия I, чуткость находилась в замерзшем состоянии. Знает свое: положено — не положено. Не в армии же он, в самом деле!

Но при всей неприязни к Лотомову, парни ухватились за мысль, им же высказанную. Надо написать письмо матери Мальвы.

У матери было какое-то удивительно деревенское, доброе имя — Матрена Тимофеевна. Наверное, у нее ласковые глаза, жилистые руки, повязывается платком она по-бабьи — узел под подбородком,— и плавная, неспешная походка. Письмо, по случаю красивого почерка, писал Гриша Михайлов:

«Дорогая Матрена Тимофеевна! Ваша дочь была нашей подругой. Мы очень любили Мальву».

Гриша бросил ручку:

— Не могу писать! Дрожит во мне что-то... Кто видел «Иркутскую историю»? А я видел. Там хороший человек погиб — о нем все помнили. Его получку жинке каждый месяц стали отдавать. Очень хороший спектакль.

Гриша исключительно понятно объяснялся в этот раз. Василий II, стараясь как можно тише сопеть своим громадным носом, оглядел всех.

— А что? Хороший, наверно, спектакль. А? Ребята? Это мы можем. А? Ребята?

«...приезжайте к нам, Матрена Тимофеевна. Если станет одиноко, помните, что весь участок — ваши дети»,— писал Гриша Михайлов под диктовку.

...Хоронили Мальву с почестями. За гробом шла колонна трубовозов, трубоукладчиков и тягачей. Трижды прозвучал салют из двух двустволок и досаафовской тозовки. Ревели моторы, и визгливо вскрикивала повариха Лушка, по-старушечьи утираясь концами платка. Ее поддерживал постаревший Коля-Коля. Лотомов шел позади колонны. В пыли... Совсем не военный и не начальственный.

На могиле, у сваренного из толстых листов надгробья, осталась Маша, молчаливая, безучастная, бледная. Она вряд ли что-нибудь понимала с тех пор, как приехала машина с милиционером и Костю увезли.

Машу никто не позвал, никто не ждал ее. Все считали, что она поступает правильно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В большие города лучше всего приезжать на рассвете. Перроны еще чисты, позевывают на них носильщики в белых, неизмятых фартуках, из-под сатураторных тележек далеко вытягиваются по серому гудрону свежие водяные натеки. Вокзалы встречают приезжающих гулкой прохладой — и нет беспокойной сутолоки, пчелиного людского водоворота, не видишь вокруг себя потных взвинченных лиц.

До Москвы оставалось часа два хода. Сразу же за Загорском началось зеленое, тихое дачное Подмосковье. В общем-то, оно мало чем отличалось от игрушечных пригородов Свердловска: те же красные черепицы, те же темные от росы тропы, ползущие в сосняковые перелески, те же антенны над отсыревшими, заспанными садами.

— Не можется, парень?

Илья оглянулся. От окна к окну, протирая их, шла по проходу проводница.

Илья улыбнулся и ничего не сказал. Взглянул на часы: без пяти шесть. Тихонько приоткрыл дверь купе, на цыпочках прокрался к столику. Ощупью взял папиросы, спички.

Вагон просыпался. Из восьмого купе один за одним выбрались соседи. Геологи. Они ехали в Москву из Сибири, в отпуск. Веселей-

шая компания. Самый длинный из них, гитарист Володя, тут же хрипловатым баском пристал к проводнице.

— Тетя Леля, можно на минутку у вас тряпочку попросить?

— Это еще к чему?

Володя потянулся:

— Глаза протереть... моим соратникам.

— Я тебе протру, сладенный,— проводница незлобливо показала геологу кулак.

— Илья, здорово!

— Здравствуй, Володя.

— Подъезжаем?

— Подъезжаем.

— Братва, в туалет — шагом арш! Чтобы к встрече невесты товарища Ильи быть готовыми по полной форме.

Илья улыбался. Ему было хорошо. Да, он едет к девушке, которую любит и которую зовут Галей. Да, они договорились, что из Сочи Галка заедет в Москву. Как говорит геолог Володька, об этом знает весь вагон.

...Все правильно. Не скрывал, рассказывал. Командовал высадкой Володя:

— Граждане, граждане не спешите. Первым выходит на столичный перрон Илья. Женихам везде у нас дорога...

В тамбуре было тесно. Илья старался не измять огромный белый букет. Его принесла в Кирове тетка. Маленькая, похожая на кубик, она торопливо наговаривала Илье:

— Левкои это. Ты их своей крале подари. Из нашего садика левкои. Как тронешься, мокрой их марлей прикрой. Левкои и не повянут. Как с куста будут.

Из-за широкой спины тети Лели Илье не было видно перрона. Но он представлял, как идет сейчас рядом с их вагоном Галка. Смотрит в окна и теребит косынку. Левкои пахли ночным садом, оставляли на щеке мокрые, холодные капли.

Илья спускался по вагонным ступенькам, бережно прижимая букет и глядя вниз. Сзади, в тамбуре, Володька гремел гитарой:

— Запевай по команде. С ноты ми... «Мы геологи оба с тобой»...

Илья поднял глаза — лица, лица, лица. Еще раз прошелся по ним. Лица, лица, лица...

Илья беспомощно затоптался, виновато глядя на выходящих из вагона. Володька громыхнул возле ног чемоданом:

— Нету?

Илья пожал плечами. С ним прощались, говорили какие-то слова, он жал руки, а глаза его все смотрели, смотрели и искали.

Потом платформа опустела. Возле киоска с газированной водой толпились мальчишки с удочками. Продавщица наливала им воду и широко зевала.

Илья взял чемодан и тихо пошел к вокзальному выходу. Он не видел, как сзади понимающими, добрыми глазами смотрела на него продавщица.

В вестибюле метро он долго стоял у широкого окна. И неожиданно вспомнил, что в руках букет. Глубоко вздохнул ночной его свежестью. Про себя вяло усмехнулся:

— Хожу с цветами по Москве, как дурак.

У эскалатора билеты проверяла молоденькая девчонка в форме. Фуражка удивительно шла к ее беленькому, с розовыми губками личику. Протягивая билет, Илья вдруг задержался возле девчонки:

— Девушка, можно вам подарить эти цветы?

Серенькие глаза метнулись под козырьком и стали строгими-строгими:

— Гражданин, вы не на танцах. Проходите.

— Да я серьезно. Честное слово. Это левкои. Возьмите.

Илья сунул растерявшейся девчонке букет и побежал по пустому эскалатору вниз.

И еще два дня приходил он по утрам на Ярославский. На третий догадался заглянуть на главпочтамт. Писем не было.

Илья долго уговаривал в своем окошечке женщину положить на имя Галки Синельниковой открытку. Ему отказали, и, рассвирепев, Илья отправился в ресторан.

Соседями по столику оказались коротко остриженный парень с блондинкой. Илья быстро опьянел, стал заказывать соседям шампанское, танцевал с блондинкой.

Она жарко дышала ему в ухо и говорила:

— У вас красивые волосы, юноша. Мне они очень нравятся.

Илья пил шампанское и рассказывал блондинке, что ему ужасно не повезло и что Галка, вообще-то, дешевка.

Блондинка внимательно слушала его и тоже пила шампанское.

Все остальное Илья помнил плохо. Уже стоя в очереди за билетами на поезд, он краснел и без конца протирал очки.

...Утром он проснулся в незнакомом доме. Тяжело оторвал голову от подушки и огляделся. Никого не было. Илья испугался. Быстро оделся и выскочил в раскрытое окно прямо на клумбы. В автобусе кондукторша подозрительно взглянула на него.

— До первого метро шесть остановок. Метро называется «Измайловская».

Илья машинально порылся в карманах. Денег не было. Достал бумажник, увидел ак-

кредитив и облегченно вздохнул. Он вынул его вместе с каким-то листком. Развернул. Письмо было от Кости Шквири, старого, еще по школе, дружка. Костя писал ему из Сибири и предлагал ехать к ним, на трассу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С лица Лушка отцвела: рано или поздно, кто его знает. Когда-то, наверно, красивые глаза теперь потускнели, припылились будто. Маленький, видимо, раньше хорошо заметный на Лушкином лице шрамик (он выходит из-за ссохшейся мочки небольшого, раковинкой, уха к середине блеклой щеки) и тот сейчас растворился в частой, паутинистой сетке глубоких и мелких морщинок.

Но если что и есть в Лушкином лице примечательного, неутраченного, так это губы. Резкие, упруго выгнутые, смелого, небрежного рисунка, они сохранили девичью припухлость, свежесть окраски и совсем уж не подходящую к Лушкиным годам сочность.

Носит Лушка прямые, короткие волосы. На затылке, там где коричневеет кожа проветренной, обожженной солнцем и кухонным жаром шеи, они чуть-чуть вьются. А вообще Лушка категорически презирает всякие перманенты и фризюры и из всех производящих красоту принадлежностей уважает лишь обыкновенную пластмассовую гребенку.

Не всегда удается женщинам, много пожившим, повидавшим, отстоять до своей осени что-то из девичьих рассветных, песенных годов.

Лушка сумела. Губы, грудь, высокую, девичью, и голос — высокий, сильный. На трассе знают и помнят, как поет Лушка, молодея, озаряясь, хотя пела-то она всего раз пять или шесть.

В прошлую весну, на Енисее, только-только пошли пароходы, в последний раз, кажется, было такое.

Стояла Лушка на берегу с ведром в руке. Смотрела на шершавую под ветром воду и вдруг запела.

Сколько времени с того вечера прошло, а помнят на трассе Лушкину песню. Тихую сначала. Слова там были про милого, что ушел на север с плотогонами. Потом громче, шире, окрыленнее.

Высыпали парни из вагончиков, застыли, не веря, а Енисей, как рупор, увеличивает голос, песня — эхом — далеко-далеко, даже пароходы не гудят, плывут, слушают.

Под конец, когда пожаловалась Лушкина песня, что все реже «синие конверты приносят к ней северные олени», неспокойно и холодно стало вокруг.

Лушка молча прошла в свой вагончик такая же, как всегда, и совсем не такая, как только что была на берегу.

И сколько ни упрашивали после Лушку: «Спой, ну, пожалуйста!» — без пользы.

— За меня самовар споет. Нашли консерваторию.

Где и когда она пристала к нефтепроводу — никто не знает. Живет одна, обстирывает трассовиков, обеды готовит.



Шутить с собой не позволяе, резанет такими словами — не возрадуешь.

Кто-то вроде слыхал, что плавала Лушка с плотогонами по сибирским рек м, шкипером тоже была. Вот и все. И ближ всего к ней, то есть уважительнее к нему ушка, Коля-Коля. Нет-нет да о погоде поворит с ним или поинтересуется:

— Уварился борщ, НиколайНиколаевич?

...Ночью после похорон до тра плакала Маша. В одном она вагончике ивет с Лушкой. В одной половине. В друго — медпункт. Под утро встала Лушка, подош а к ней, села рядом и тоже заревела, по-баьи, навзрыд. Сквозь всхлипы сочувствовала Маше:

— Не убивайся ты, не плачь... Всяко бывает... Вот у меня однажды на Енисее...

Маша ничего не слышала. Лушка замолчала и только поглаживала ее по плечу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С Костей Шквирей Илья учился с пятого класса. Костя был здоровее Ильи, крепкий, лобастый, и Илье всегда казалось, что о Костину спину можно отшибить руку, а тот только будет смеяться. Когда длинного тощего Илью посадили с Костей, тот пренебрежительно выложил:

— Хиляк ты очкастый. Вот ты кто.

Было страшно связываться с этим упругим колобком, и Илья промолчал. А Костя, достав обломок безопасной бритвы, шепотом (потому что шел урок) спросил:

— Слабо по руке резануть?

Илья пожал плечами.

— Смотри,— и Костя процарапал на левой руке длиннющую полосу. Что-то толкнуло Илью: то ли попытка отстоять собственное достоинство, то ли просто желание, пришедшее по странному наитию, но он протянул свою руку и сказал:

— А вот мне ни за что не порежешь.

Костя весь сжался, покосился на учительницу и чиркнул бритвой по руке Ильи. Тот никак не ожидал такой твердости духа и вскрикнул...

Тогда их вместе выгнали из класса.

Как-то незаметно они подружились. И так же незаметно Илья подчинил Костю себе. Видимо, произошло это потому, что он больше читал, чаще сомневался в поступках, и Костина решительность, прямота его, иногда выливавшаяся в драки, в упрямое хулиганство, отступали перед сомнениями Ильи, смягчались, и Костя подчинялся ему.

В седьмом классе поголовно всю школу стали записывать в хор, чтобы блеснуть массовостью на районном смотре. Илья, в общем-то, был не против этого начинания, но он больше всего на свете боялся попасть в неловкое положение. Как это он будет петь? Все же в зале будут хохотать над ним. Смотри-ка, мол, тот долговязый-то для мебели в хоре стоит.

Вообще почему-то Илья скованно чувствовал себя на людях. Ему до пота всегда мерещилось, что у него или на спине порвался пиджак, или штаны проносились, и поэтому все смеются, когда он проходит. Если он прибегал на урок, только-только успевая, и вся школа толпилась в коридорах, хохоча и балуясь, Илья думал, что эта орущая толпа смотрит на него, видит какие-то его недостатки, и он торопился пройти в класс и усесться на место. При мысли, что он будет все время на виду, если запишется в хор, Илье становилось жарко.

— Костя, начисто сдался нам этот хор? Сбежим?

Костя, не подозревавший за этой фразой глубин психологии, с радостью смакуя, что лишний час можно будет погонять футбол, соглашался.

Илья Храмов вспоминал эти события, стоя в тамбуре скорого поезда Москва — Владивосток. Вспоминал с высоты двадцати трех лет и поэтому вынужден был сознаться, что не всегда в то время честно поступал с Костей.

В девятом классе Костю назначили директором школьного радиоузла, и Илья однажды легко уговорил его прокрутить на большой перемене пленку с песенкой Лещенко, добытую Ильей с великим трудом. Он знал, что Косте может сильно влететь: «В советской школе мещанские песни белоэмигранта!» Для педагогов было о чем поговорить в этом случае. Но Илья пообещал Ларисе, с которой целовался уже по подъездам, что специально для нее на большой перемене Лещенко будет петь: «Над Барселоной спустился вечер...»

Костю хотели исключить из школы, и класс еле-еле отстоял его. Илья отстаивал горячее других, но чувствовал себя все равно виноватым.

...Илья курил и курил в тамбуре. Усмехался воспоминаниям. Почему-то запоминаются странные вещи: прогулы, игра в «орлянку», за которую его жестоко избила мать, Лещенко, первая выпивка в восьмом классе. По таким данным легко тебя зачислить в худшую половину человечества. А ведь были и хорошие сборы, на которых спорили о Гайдаре. И комсомольские собрания, посвященные «Молодой гвардии». И редактором стенгазеты «Наш класс» был он. Металлолом собирал. Все это тоже нравилось. И, наверное, это и главное. А вспоминается всякая второстепенность. Видимо, потому, что она — отклонение от нормы.

В десятом классе Илья решил стать юристом. Во-первых, он считал, что каждой профессии соответствует своя внешность. Его внешность — высокий, худощавый, с удлиненным серьезным лицом, закованным в массивные очки,— явно подходила для будущей деятельности юриста. А во-вторых, в десятом классе Илья начитался «Клима Самгина» и принципиально заспорил с учительницей литературы Верой Григорьевной, блондинистой, высохшей женщиной. Илья доказывал, что Самгин не такой уж дурак для «пустого ме-

щанина», каким его характеризовала Вера Григорьевна. Она монотонно доказывала:

— Вы еще многого не понимаете, Илья. Мещанство Самгина лежит как раз в его кажущейся умности, выдуманной им самим.

Илья упрямо не соглашался.

И, короче, отголоски спора тоже сказались на выборе профессии.

Как-то он сидел и готовился к вступительным экзаменам, когда к нему влетел распаренный июльской жарой Костя. Он собирался поступать в политехнический.

— Забрал я, Илюха, документы. В институте черт знает что творится. Слезы, толпы, упрашивания. Я посмотрел, посмотрел — решил плюнуть. Начисто это надо учиться. Выучусь еще. Пойду на Уралмаш, в ученики...

Они стали встречаться реже. Илья поступил в юридический и сутками пропадал в институте, а Костя работал в три смены. Было не до встреч. Однажды Илья возвращался из института рано, кончилась вторая смена, и на площади перед заводом встретил Костю.

— Как дела, Костик?

— Ничего, вкалываю. Разряд уж получил.

— Доволен?

— Черт его знает, Илюха. Времени думать нет.

— А ты?

Илья засмеялся.

— У меня то же самое.

И снова разошлись. Последний раз виделись они весной, на эстафете, посвященной Дню печати. Илья с осени начал ходить в легкоатлетическую секцию (у него неплохо выходило с прыжками в длину) и потому выступал в институтской команде запасным. Костя первым увидел его и подошел в старенькой, еще со школы, рыжей майке, выдохшийся после этапа до предела. Он аж клубился и тяжело дышал:

— Здорово, Илюха!

— Здорово!

— Сегодня хотел вечерком к тебе заглянуть.

— Не застал бы, наверно. А что такое?

Костя остывал и мог составлять фразы длиннее:

— Да уезжаю, понимаешь, завтра. В Сибирь, по путевке.

— А завод?

— Дело длинное. Но, понимаешь, станки и станки. А я голубем-чужаком около них хожу. Вон мой работяга — отличный, кстати, парень — посмотрит, чего-нибудь прикинет и уже что-то на бумажке чертит, соображает. Я же три месяца обоими полушариями соображал, чтобы такое выдумать,— сплошная пустота. Думаю, начисто нужно так работать, если мысль не шевелится. Пошел в райком, взял путевку.

Стали прощаться. Остро почувствовалось, что вот уходит из жизни очень дорогое, настоящее, и Илья начал протирать очки. Костя тоже взволновался.

— Ладно, Илюха. Еще увидимся. Я тебе обязательно напишу.

Он так и сделал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Илья трясется в скором поезде. Сибирь все ближе и ближе.

Проснулся от какого-то внутреннего толчка. Поезд замедлял ход. Ровно горел синий ночник. Илья отогнул оконную шторку, в который раз поймав себя на том, что снова читает на ней надоевшие тисненые буквы «МПС».

Дождь. Медленно плыли мимо размытые мокрые огни. Много огней. Над пакгаузами, станционными постройками, традиционной башней водокачки. Скорый втягивался на перрон, пустой и блестящий. Илья услышал монотонный голос диктора:

— На первый путь прибыл поезд номер шесть. Стоянка поезда пять минут...

Вытянув шею, старался заглянуть вперед и увидел — Омск. Галкин город. И оттого, что он постарался обмануть себя и не думать об этом, ему стало душно.

Галка. Почему же все-таки она не встретила Илью в Москве? Почему?

— Ну, а если бы встретила? Да еще после того...

Илья заерзал на полке, с головой спрятался под простыню. И зачем он только рассказывал тогда всем в вагоне, что едет к невесте. Зачем?

С Галкой он познакомился за день перед последним приемным экзаменом. В библиотеке юридического. Она подписывала обходной лист, и Илья сразу же понял — провалилась. Галка (правда, он еще не знал, как звать) была в зелененькой легкой блузке, серой узкой юбке, оттенявшей стройные загорелые ноги, и понравилась Илье сразу.

— Нах хаузе?— улыбаясь, спросил Илья. Галка недовольно взглянула на него и вдруг ответила длинной-длинной фразой. Все по-немецки. Конечно же, Илья ничерта не понял, но не растерялся.

— Пардон, мадам, я только что отпустил на обед переводчика.

Галка оказалась не такой уж сердитой и расхохоталась. Они бродили потом по Сверд-

ловску почти до рассвета, синего и росистого. В общежитие их не пустили. Заспанная вахтерша, не открывая дверь, еле слышно просипела:

— Учиреждение закрыто.

Тогда они перелезли через забор во двор и по лестнице, которую отыскал Илья, проникли в раскрытое окно второго этажа, в тихий общежитский коридор.

Галка действительно завалилась. Ее резанули на истории.

— Плевать. Не больно-то и хотелось. Поеду домой, поступлю в пед. Это папка заставил меня в юридический. Скука.

Утром она пришла болеть за него на экзамен по немецкому. Что-что, а эту штуку она знала здорово. Илья с грехом пополам вырвал четверку, и после они целый день катались на лодке по озеру, пили шампанское в кафе «Москва», договаривались, что будут писать друг другу.

Илья пошел провожать Галку. И когда поезд уже тронулся, Галка легко соскочила с подножки, притянула его за шею и звонко, на весь перрон (так показалось Илье) чмокнула в щеку.

За полтора года, пока Илья учился в юридическом, они виделись всего два раза. Писали письма. Илья — длинные, про любовь, Галка — короткие, про себя.

Потом Илье до ужаса надоело все: учебники, лекции, какая-то унизительная боязнь перед экзаменами: а вдруг завалюсь, а вдруг выгонят...

Илья с раздражением думал: сижу в библиотеках, толкаюсь по утрам в трамвае, мать еле перебивается на пенсию — и все для того, чтобы Илюшенька выучился, человеком стал. А Илюшеньке так уж этого хочется! Он не мог (утешался Илья) жить в постоянном страхе от мысли, будет диплом или нет. Хотя, если честно признаться (с трудом, но себе-то Илья признавался), ему просто надоело...

Он стал выпивать с Джоном, третьекурсником их же института. Джон жил весело, и у него откуда-то все время были деньги. Но Джон оказался подонком, высмеяв Илью на одной из вечеринок за плебейство и безденежье. Илья бросился драться, но Джоновы дружки больно избили его. А это так гадко, когда ты избит и не можешь дать сдачи.

Илья решил уйти из института. Его уговаривали и декан, и Сашка Петров, курсовой комсорг, но Илья был непреклонен. Правда, когда получал документы, стало невыносимо жалко себя и захотелось, чтобы все осталось по-старому. Но он понимал, что после стольких уговоров да вдруг остаться — значит, быть абсолютным ничтожеством. И абсолютным посмешищем...

Мать плакала. Жаловалась сама себе:

— И в кого ты у меня такой непутевый? Ну что из тебя будет? Илюшенька, пожалей хоть меня-то.

Два дня просидел Илья дома. Читал газеты. Все подряд. И вычитал, что на строительстве Северо-Уральской нефтетрассы нужны рабочие.

Матери сказал коротко, хоть и было жалко ее.

— Еду.

Собрался и поехал. Какая разница, где работать, куда ехать? Главное, чтоб без лжи. Главное, чтоб самому решить...

Начальник участка спросил:

— Храмов, значит. А что вы умеете делать?

— Все... то есть ничего... Рабочим буду.

И Илье повезло.

Начальник, узнав, что он был студентом, вдруг предложил ему:

— Месяца два-три трассовщиком поработаешь, приглядишься, пошлем тебя учиться на курсы. Будешь радиографом-магнитографом. Хочешь?

— Давайте.

Удивительно быстро проходит время: теперь он уже магнитограф и жмет к Косте, в Сибирь.

...От скуки — все-таки ехать было скучно: соседями по купе попались две боязливые шептуньи-старухи и картавый пижамный человек — Илья начал писать матери открытки. Перед Тайшетом на какой-то станции кажется Тинской, отправил еще одну. Завалился на полку, долго слушал невнятный старушечий шепоток. Заснул. Проснулся и захотел курить.

В тамбуре было зябко. Сначала Илья не обратил внимания на фигуру, сидевшую на откидном стульчике. А когда пригляделся, то разглядел в чумазом, обросшем человеке в общем-то молодого парня.

— Далеко?

— В Суетиху.

— А что это такое?

— Станция.

Парень, видно, «любил поговорить». Долго молчали.

— Закурить не дашь?

Илья протянул пачку.

— «Беломор». Это хорошо. Давно не курил. Спасибо.

— А ты откуда?

И парень, посмотрев в окно, ответил коротко:

— Из тайги выдрался.
— А что ты там делал?
— Медведей ловил.
— Ну и как? Ловятся?
Парень внимательно покосился на Илью, сплюнул.
— Ты что, прокурор?
— Нет, — Илья помотал головой, — не получился из меня адвокат.
— Бывает. Сам-то откуда едешь?
Разговорились. Илья все рассказал о себе. Парень курил, кивал и поплевывал. Когда Илья кончил, он задумчиво подытожил:
— Знакомо мне это все. В Зиму, значит, едешь. Работать. Добро. А я вот три дня по тайге шел. Дорогу мы строим здесь. Слыхал, наверно, Тайшет — Абакан? Так вот, воспитателем я на трассе. За деньгами поехал, за зарплатой. Дорог нету. Болота. Можно только пешком. Три дня... Начальник сперва хотел на плоту пройти до Суетихи. Опрокинулся. Ногу сломал. В больнице. Я пошел. Вот — выбрался. Привезу парням деньги.
— И обратно потом пешком?
— Обратно ерунда. Первый раз трудно. Теперь-то дорогу наизусть знаю. А года через четыре деньги нам на паровозах возить будут. Дай-ка еще закурить?
Илья смотрел на парня.
— Слушай, а тебе сколько лет?
— Двадцать пять.
— А тебе?
Илья доверчиво улыбнулся чумазому:
— Мне?.. Мне?.. Нисколько.
— Как это нисколько? — парень смерил Илью взглядом. — Чокнулся ты, что ли?
— Да нет. Именно нисколько пока. Двадцать три года меня кормила мама...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ко всякого рода афоризмам и измышлениям Лотомов относился полуиронично, полускептически. И когда при нем говорили, что привычки являются второй натурой человека, он только про себя посмеивался. Тем не менее у него были свои, с годами намертво въевшиеся привычки. К ним Лотомов прислушивался, даже любил их.

Если же из-за каких-то особых обстоятельств ему приходилось переступать через пришедшее с годами, он мрачнел и почти суеверно чувствовал — это к хорошему не приведет.

Встречать и провожать, сообщать о своих приездах или отъездах Лотомов не любил. Ему больше нравилось совершенно неожиданно постучать в знакомую до шероховатинки дверь своей квартиры, стукнуть в коридорчике чемоданом, а потом еще долго чувствовать крепкие, непривычные для обжитого запахи дальней дороги. Так он уходил из дома на фронт, так возвращался. Так поступал, когда приезжал с трассы в отпуск.

А тут Лотомов, как сопливый мальчишка, должен торчать на перроне, слоняться по скучному привокзальному скверу, глазеть по сторонам и ждать, может быть, ждать даже и «кота в мешке».

— На кой это мне надо! Вот возьму и уеду.

Но потом он вспоминал о телеграмме из управления, в которой предписывалось встретить нового начальника полевой исследовательской лаборатории, а короче — «пиловца».

На трассу ехал человек, с которым начальнику придется работать рука об руку. И он ждал...

Илья озирался. Сколько таких станций промелькнуло за окнами, пока он ехал сюда. Банальные, прокопченные тополя, малярийного цвета постройки — вот она Зима.

Илья протер очки и зашагал к выходу. Сначала ему просто показалось, что за ним кто-то наблюдает. Оглянулся — точно. На него внимательно смотрели глаза плотного человека в пропыленном плаще.

Неосознанно Илья шагнул к нему и сломавшимся голосом спросил:

— Вы мне не подскажете, как добраться до нефтетрассы?

Человек улыбнулся одним ртом:
— Подскажу. А вы не из управления?
— Я? Да...
— Тогда давайте знакомиться. Лотомов — начальник участка. Дмитрий сын Никифоров.
— Илья... Храмов. Магнитограф. Очень приятно.

Последние слова вырвались у Ильи машинально.

Разговор не складывался, и в машине оба долго молчали.

Лотомов думал вот о чем: «Да, сосунок подходящий. Это тебе не Ромашкин. С этим мы детский сад разведем».

Начальнику вспомнился предшественник новенького — балагур, гитарист и выпивоха Аркадий Ромашкин. «Ничего был парень, но подвел, подвел участок пьяница-радиограф. Ну и черт с ним».

Лотомов, не оборачиваясь, спросил:
— Как доехалось?
— Ничего...
Пыльный большак уводил в степь. Гро-



хотнул под ногами занозистый настил моста, река бросила в машину охлажденный воздух, и снова — степь.

Илья думал вот о чем: «Интересно, как меня встретит Костя? А Лотомов... о нем я узнаю у Кости. Он-то тут все знает. А вообще-то, видать, жесткий у начальника нрав. Рубит, а не говорит. Ничего. Главное — с душой взяться. Страшное позади. Галке я напишу — вот неделю протрублю и напишу. Мать, наверное, и не представляет, куда занесло «ее единственного».

— Дмитрий Никифорович, а лаборатория в порядке? Завтра, наверное, надо сходить на провод. Посмотреть, посветить.

— Это не к спеху, — Лотомов улыбался. Когда он это делал, на багровой шее начальника шевелились жесткие морщины.

— Это... — Лотомов ушел в себя и не закончил.

Степь даже в самые знойные полудни не может без ветра. Теплый, он лениво ходит по травам. Густота ковыльного пряна собирается на отстой в низинах и клонит ко сну.

Бездельники-коршуны чертят бесцветными кругами небо. Все здесь бесконечно, бесшумно и в тоже время многозвучно.

Пока водитель что-то подправлял в моторе, Илья, отойдя от машины, лежал в траве. И даже когда Лотомов крикнул: «Поехали!» — ему не хотелось оставлять землю, на которой он так хорошо прожил вот эти несколько минут.

— Через десять минут будем дома, — подсчитал Лотомов. — На «магазине». И Илья сразу же представил себе кочевой стан трассовиков, почему-то называвшийся здесь «магазином». Представил и не ошибся.

Выстроились, как на параде, немного не завершенным полукругом вагончики. Грохот кувалд на сварочных стеллажах, размеренный гул силачей-трубоукладчиков — все это было ему знакомо по первой учебной практике.

Водитель с ходу подрулил к желтенькому, изящному в линиях вагончику.

Вторым, с кем пришлось познакомиться, был:

— А это наш прораб Николай Николаевич Котырев, — Лотомов сам сначала поздоровался с ним, и уж после Илья ощутил в своей руке твердую, негнущуюся кисть прораба.

— Ты вот что, Николай, устрой нашего «пила» как полагается. Отведи в вагончик, и все такое прочее. А я поеду на овраги.

Вагончик Илье понравился. Он разделялся на две небольшие каюты. В одной — жить, в другой — работать. Илья привычно подошел к дефектоскопу, щелкнул рукоятками настройки. Улыбнулся: скоро увижу Костю...

Здесь же, на стене, висел похожий на лук соленоид магнитографа.

— Николай Николаевич, а вы уже обедали?

— Обедал. Но ничего. Пойду с вами.

В вагончике-столовой прораба окликнули враз три парня.

— Привет, Коля-Коля! Ты нам сегодня давай электроды отпусти, а не то Васька тебе дверь в избе вынесет.

Коля-Коля отмахнулся и прошел к окошечку раздачи:

— Луша, вот человек новый к нам приехал, вместо Ромашкина, покорми его хорошенько.

После этих слов парни понимающе переглянулись. Один из них рукавом замасленной, из телячьей кожи робы смахнул со стола крошки.

— К нам присаживайтесь, гость дорогой.

Коля-Коля, выходя, предупредил парней:

— Не шкодничать.

Илья сразу же понял, что готовится экзамен.

— Вы нас извините, но у нас к вам как представителю «пила» есть вопрос...

Илья мирно улыбнулся, снял очки и, подслеповато щурясь, не дал договорить:

— На все вопросы—после обеда. Когда я ем, я глух и нем. Мама меня так учила. Вот лучше вы мне скажите, где найти Костю Шквирю? Он что, на трассе?

— А ты ему кто? Брат?

— Нет. Вместе учились...

Парни молча встали и, ничего не сказав, ушли из столовой. Илья беспомощно завертелся на табурете. Встретился взглядом с Лушкой.

— Нету твоего Кости. Нету... Увезли...

— Куда?..

— Куда за такое везут? В тюрьму...

Громко жужжали мухи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Летние звезды падают в степь, как в темную воду. Низкий туман припадает к самой земле, а идешь по ней и все равно ощущаешь хрупкое тепло неиспарившегося до ночи дневного зноя.

От Маши, она рядом, исходит тоже тепло, и Илье хочется взять ее под руку, но он стесняется. Он боится обидеть ее. Маша чем-то неуловимым напоминает Галку, но говорить об этом он не станет...

Илья болтает о пустяках, зная, что ни о чем больше он не имеет права говорить.

— Я купался в Москве в новом бассейне. В нем, когда входишь в воду, тепло, как в степи сейчас.

А Маша — Илья не знает, слушает она его или нет, — кутается в белый, очень белый в темноте платок.

Илье хочется снять с себя пиджак и набросить на сдвинутые от озноба Машины плечи.

Но и этого он не сделает...

Обо всем, что случилось тогда на трассе, Илье рассказала Лушка. Она же и познакомила его с Машей, объяснив ей, кто такой Храмов.

Маша тихо улыбнулась и протянула руку.

Три руки пожал в этот стремительный день Илья. Одна из них, захватистая, с большими, толстыми пальцами, — Лотомова, рассказала Илье о жесткости характера начальника. Вторая — вконец замозоленная и не очень сильно ответившая на рукопожатие, — Коли-Коли, не дала никакого представления о хозяине. Зато третья — Машина округлая ладонь, с плотно стянутыми один к одному, кувшинчиком, пальцами — напомнила ему о нежности, стеснительной гордости...

— Маша, — Илья еще не знал о чем скажет, — Маша, у вас здесь все так хорошо? Я вот родился в городе. Большом, с заводами, трамваями.

Он не договорил. Маша вдруг тихо сказала ему:

— Знаете что, мне пора домой. Вдруг я кому-нибудь понадоблюсь.

И они пошли назад по колено в теплом тумане.

Илья вернулся к себе, но спать не хотелось...

Костю он не осуждал. Понимал, что такое могло случиться со всяким.

В лаборатории он достал из чемодана батарейный приемничек. Передавалась знакомая вальсовая мелодия. И Илье вдруг стало так одиноко, так тоскливо, что он даже закрыл, зажмурил глаза.

После первой зарплаты Илья обязательно купит что-нибудь матери. Вот только что? Впрочем, она будет рада всему. А с Машей они станут друзьями, такими же большими, как и с Костей.

Над степью вставал месяц. Илья припал к окну и долго думал, с чем его можно сравнить.

Когда он проснулся, ему показалось, что он слышит легкий смех и голоса.

Да, из степи шли двое. Туман и рассветная мгла размывала фигуры, но, засыпая, Илья подумал, что были они похожи на фигуры Коли-Коли и Лушки.

— Чему ты радуешься, парень?

— Понимаешь, неплохая штука—жизнь...

— Пожалуй, ты прав...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Илье почудилось, что трос у трубопрокладчика не выдерживает и измочаленная проволока рвется. Сейчас, сейчас труба гулко

упадет на землю, а Илье этого не хочется. Ведь рухнет все. Сомнется жизнь, его счастье. Нет! Илья успел подставить под трубу плечо. Слетели очки в сырой песок. Невыносимо заныло плечо. Такой тяжести мне ни за что не вынести, уж пусть лучше труба падает. Будь что будет!..

— Эй, ты, что ли, новый «пиловец»? Эй!

Илья тяжело приподнял с сундука голову. В дверях смутно избоченился щетинистый рыжий парень в грязной, замасленной майке.

— Здорово, начальник!

Илья нащупал под подушкой очки, хрипло, сонно спросил:

— Ты кто?

— Михаил Рентген, научный шофер.

— Как, как?

Парень присел на порожек, достал из кармана зеркальце, стал внимательно изучать свою щетину.

— Твой непосредственный подчиненный. Эх, опохмелиться бы, начальник...

Илья постучал умывальником, закурил и, причесываясь, вышел из вагончика. Миша сидел на подножке машины и перематывал портянку.

На фургоне, стоявшем в кузове, громаднейшими буквами было выведено: «Смертельно. Радиация». Илья спросил:

— Сам писал?

— Красиво?

— Ничего. Главное звучно. Ты, Миша, подожди меня. Схожу к Лотомову, а потом на трассу поедем.

— А никуда мы не поедем...

— Это почему?

— Я тебе авторитетно говорю.

— Ладно, увидим. Но ты жди.

В конторе Илья первым делом спросил у Лотомова:

— Что, у моего шофера действительно фамилия Рентген?

Лотомов захохотал оглушительно и свойски хлопнул Илью по плечу:

— Значит, представился уже... Эх-эх, Мишка... Сазонов он, Сазонов... Я, говорит, обязательно от лучевой болезни умру... Ну, ребята и прозвали Рентгеном. Ох-хо... он уж, наверное, настоящую-то фамилию забыл... Рентген...

Лотомов стих и только добренько посмеивался, и Илье показалось, что он нарочно прикидывается таким свойским.

Потом они сидели и молча поглядывали друг на друга. Илье скоро это надоело.

— Дмитрий Никифорович, пиловская карта у вас?

— У меня, у меня...

Лотомов полез в сейф и достал карту. Илья развернул ее:

— Докуда дошли?

— Вот до этого оврага...

Илья присвистнул: шесть километров не проверено.

— Я тогда поеду. Сегодня хоть половину просвечу.

Лотомов почему-то заговорил небрежно:

— Не советую пока ездить. Осмотрись лучше здесь, экзамены надо кое-каким сварщикам сделать. А потом, как-нибудь с начала месяца, я тебе сам всю трассу покажу.

Может быть, в другой раз Илья и согласился бы, но сейчас, после опустошительной встречи с Машей, после тяжелых, ненужных вагонных дум, ему очень хотелось побыть в тайге, и, самое главное, он не мог, просто не мог встретиться с Машей и поэтому отказался.

— Да нет, Дмитрий Никифорович. Я поеду. А то потом еще больше надо будет проверять.

— А я тебе говорю не езди. Ты чего, парень, с самого начала упрямствуешь. Старший тебе говорит — слушай...

Илью удивил рассерженный тон и вид Лотомова: чего это он вдруг вспыхнул? А потом — какое упрямство? Ему же деньги за работу платят, а не за упрямство. Илья сухо сказал:

— Вы напрасно так заостряете. Почему бы мне не поехать? Не вижу причин.

— Причина одна. Я тебе говорю не езди, вот и не езди.

— Вы почему так разговариваете? С каких это пор «пил» будет слушать строителей? Я, по-моему, не ваш прораб...

Лотомов покраснел, расстегнул ворот гимнастерки:

— Ну, ладно...

Все это, конечно, случилось напрасно. Какой-то дурацкий, непонятный разговор. Илья с отвращением подумал о себе: долговязый, очкастый малый, который, кроме неприятностей, пока ничего не приносил людям. С начальником поссорился. Причем, глупо, не из-за чего. Правда, Лотомов был чересчур резок. Черт возьми, он имеет право не выбирать слов. Ему просто некогда быть изящным в этой сутолоке. А Илье надо было еще книгу жалоб попросить после того магазинного, возмущенного тона, которым он разговаривал с Лотомовым.

Илья растолкал Мишу Рентгена и, не дожидаясь, пока тот вылезет из-под машины, сел в кабину...

И все-таки он увидел Машу. Она сидела

на крылечке медпунктовского вагончика. Было что-то в Машиной позе, ее осунувшемся и тонком лице такое, что Илья затосковал.

Давным-давно, вроде в пионерском лагере, глухими, сырыми, таинственными вечерами маленький Илюша до слез, до дрожи любил слушать, как свистит очень сильный и добрый человек, повар дядя Гоша. Дядя Гоша свистел всегда одну и ту же песню, грустную-грустную. Он садился на скамеечке у кухни, гладил черного кота и свистел, а у Ильи, спрятавшегося в сыром орешнике, сладко-сладко замирало сердце, навертывались слезы, и очень хотелось домой, к маме.

Ну, конечно же, Маша загадочная и смешная девчонка из детства. Она жила по соседству с Костей и после сильных гроз любила делать запруды среди тротуарных старых плит, между которыми пробились маленькие тополиные веточки и ползали божьи коровки.

Наверное, так и бывает, решил Илья, что человек еще раз обязательно должен встретиться с детством. Собственно, не обязательно даже встречаться, надо просто искать и искать этот миг. Может, найдешь, может, нет. Илья, кажется, нашел.

Миша покосился в сторону крылечка:

— Убивается девка. Хороший парень был Костя. Но ждать его долго придется...

Илье стало неприятно.

Машина еле плелась по просеке, переваливалась по почерневшим березовым пням. Миша поминутно ахал.

— Тут танк и тот не выдержит. А про автомобиль и говорить нечего.

Подпрыгивая и все время съезжая с сидения, Илья усмехался:

— Ну вот, начинается моя трудовая деятельность...

Когда он достал свинцовый шар с ампулой, чтобы просветить первый контрольный стык, Миша припустил в березняк, несвязно бормоча:

— Уж пусть другие рискуют... Мне эти атомы ни к чему...

Мишина выходка развеселила Илью.

Он пристроил ампулу, достал кассету с пленкой, проверил дозиметр. Все идет нормально.

Но стыка через четыре Илья помрачнел. Что-то не нравятся ему эти швы. Рыхловатые какие-то. И попахивают непроваром.

Недобрая, смутная подозрительность, хоть и пытался он ее отогнать, не давала покоя. Неужели Лотомов нарочно не отпускал его на трассу, зная о браке. Да нет. Не может быть!

Но у последних пикетов подозрения Ильи оправдались. Даже не надо было просвечивать, чтобы увидеть брак. Стыки были не то что не проварены, а просто прихвачены электродом — и все.

Илья побледнел, спрятал ампулу и решительно направился к сварщикам:

— Немедленно прекратите варить. Вы что, в портновской мастерской — пальто на примерку готовите?

Василий I вылез из-под трубы, мрачный, с измазанным пылью лицом. Поигрывая щитком, спокойно сказал Илье:

— Пошел-ка ты, знаешь, к какой матери?

Сварщики окружили их, с любопытством глядя на Илью.

«Подраться, что ли? Неубедительно. (Но ему стало страшновато). Здоровые же ребята. Наплевать им на то, что он «пиловец», официальное лицо. Могут послать еще подальше — и все тут». Илья сказал дрожащим голосом:

— Если вы не прекратите сейчас варить, я поставлю вопрос об отстранении вас вообще от работы...

Он повернулся и нарочно медленно пошел к машине.

Его догнал Василий I:

— Слушай, парень. Давай не будем ссориться ради знакомства. Что ты маленький, что ли? Месяц же кончается. А нам охота не только на хлеб заработать. Непонятно, что ли? Потом все равно трубы ждать. Вот и успеем переварить. А также все премиальные полетят. У всего участка... Чем больше сварим, тем дороже. Ну...

Конечно, может быть, он, Илья, идеалист и ни черта не смыслит в жизни, но такую откровенную подлость ему предлагали впервые. Он даже задохнулся:

— Это ты, знаешь ли, катись куда-нибудь подальше. Ты понимаешь, что ты предлагаешь? Подлость, гадость, предательство...

— Да ты не психуй. Чего разорался? Ты нас не стыди. Мы еще подонками никогда не были. Это же временная мера, идиот. Спроси хоть у Лотомова. Он тебе подтвердит.

Илья понял, что спорить бесполезно. Заторопил Мишу:

— Поехали быстрее.

На базе он лихорадочно начал проявлять пленки. Не дав им как следует просохнуть, уселся за дефектоскоп. Так и есть! Раз непровар, два непровар. Он похолодел, когда проверил все пленки. Двадцать стыков чистейшего брака...

Бросился из вагончика в контору. Лотомов уже собирался уходить.

Илья сдерживал дыхание.

— Я забраковал двадцать стыков. Попрошу с завтрашнего дня начать переварку...

Лотомов усмехнулся и обратился к Коле-Коле, за столиком закрывавшему наряды:

— Некоторые так торопятся, что думать им некогда. Так что, товарищ Илья, не советую подымать паники. Работать завтра будут на конечных пикетах, а о браке мы поговорим с утра. Чтобы было время подумать...

Илья глухо сказал:

— Я остановлю завтра все работы в таком случае.

Он не стал дожидаться ответа и ушел. Противно-противно было на душе. Засел в вагончике.

Поздно вечером ввалился Миша Рентген, одетый в чистую рубаху и изрядно выпивший.

— Товарищ начальник, алкоголем пользуюсь только как средством защиты от радияции. А так ни-ни.

Илья не откликался.

— Правильно грустите, товарищ начальник. Вы допустили две громадных ошибки. Первая — нагрубили незаслуженно лучшему сварщику на трассе Василию I. Со сварщиками ссориться нельзя. Вторая — разве можно передовой в тресте участок вдруг откинуть на заднее место. Этого вам Лотомов не простит.

Миша еще долго говорил, говорил, но Илье было не до него.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В конторе с утра Илья застал Колю-Колю. Тот снова копался в нарядах и с нескрываемым интересом посматривал на Илью.

— Ночью-то спал, молодой человек? Наверно, про справедливость все думал, подушку гневом сминал. Я, помню, по Хатанге помощником капитана плавал. И вот вроде тебя, по молодости, с капитаном схватился. Из-за пустяка какого-то. А развел, брат, такие принципы, такую мораль — на полную катушку. А потом как-то выпили с капитаном и вместе хохотать стали. Договорились — нервы, мол, беречь надо...

Коля-Коля показался Илье сейчас до неприятности нескладным. Глаза опухшие — пьет, наверно. Плечи опущены — поломала, видно, жизнь — вот и не разогнется. «Резонер, — с неприязнью заключил Илья. — На всякий случай жизни байки заготовлены».

Вошел Лотомов. Выбритый, отутюженный, доброжелательно улыбающийся. Рукопожатие такое крепкое, бодрое. Честное слово, Илье в других обстоятельствах Лотомов понравился бы.

— Ну что, аника-воин, снова воевать будем? Или утро вечера мудренее?

— Будем, Дмитрий Никифорович. Надо все-таки переваривать стыки.

— О чем речь, Илья, как тебя по батюшке-то? Конечно, переварим. Но, будь другом, с начала месяца. Надо же дать людям заработать. Не диверсанты же мы. Трубы будут в полном порядке. Давай, Илья Анатольевич, по-серьезному, по-мужски вопрос решать...

Подумалось Илье, что есть, наверное, какая-то правда в словах Лотомова.

Действительно, трубы исправят. Куда они денутся? Может быть, так и делается в жизни: без этих моральных подкладок на каждом шагу, без выискивания высоких социальных эмоций в обыкновенном хозяйском деле.

Се ля ви — давно же сказано. А его, Илью, со стороны воспринимают, видимо, за желторотого правдолюбца, набравшегося прописных истин, да и то не знающего им настоящую цену.

Илье стало неловко, как всегда, когда он ловил себя на стремлении все оправдать. Еще в институте его любимой теорией было: догматизм — самое страшное последствие культа Сталина. Любим мы уж очень быстро говорить «да» или «нет». И, как правило, не задумываемся, почему «да», а почему «нет». Думать, думать надо, черт побери. Освобождаться от инфантилизма. Сомневаться надо. Вот, говорят, человек поступил дурно, аморально. А попробуйте встать на точку зрения этого человека. Будет интересно, если хотите самостоятельно мыслить. А?

Лоб у Ильи покрылся испариной. Как недавно все это было. И из-за такой дурацкой философии он чувствовал себя хлебным мякишем. Как ему было стыдно в вагоне перед тем парнем, который вышел из тайги. И как все, в общем-то, просто: сомневаться надо, безусловно, надо, но прежде — имей цель. А в цели сомневаться нельзя.

Так почему он пытается оправдать Лотомова? Даже не оправдать, а понять. Ведь он же договорился сам с собой, еще когда уходил из института, что надо освобождаться от интеллигентщины: не делать главным принципом беспринципность. Черт, должен же когда-то он быть настоящим мужчиной...

— А зачем, собственно, Дмитрий Ники-

форович, очковтирательством заниматься? Ну согласитесь, то, что вы предлагаете, — явное очковтирательство.

— Дорогой Илья Анатольевич, бросьте наивного мальчишку разыгрывать. Должен же начальник участка заботиться о своих людях или нет? Ну, вот так вот по-честному скажи: должен я о людях заботиться или нет?

Спокойно, спокойно.

— Это же чистейший обман, Дмитрий Никифорович! Мне неудобно вам это говорить. Но как пожилой человек, коммунист, может так думать?

Лотомов медленно багровел. Коля-Коля очень громко зашелестел бумагами и осторожно кашлянул. А Лотомов заорал:

— Молокосос! Кто тебе дал право попрекать меня от имени партии?

Вообще всегда неприятно, если человек орет благим матом. А особенно, когда крик этот относится к тебе. Будь ты хоть какой смелый и мужественный, а зябко как-то на душе становится.

Илья решил, что в эти минуты надо заниматься каким-нибудь посторонним делом: он начал протирать очки.

Лотомов замолчал и отвернулся к окну. Коля-Коля почему-то вызывающе громко протянул:

— Н-да-а...

Лотомов посмотрел на него и ничего не сказал. Илья встал, собираясь уйти:

— А наряды, Дмитрий Никифорович, я подписывать не буду. И советую сегодня же начать переварку...

Все. Теперь они с Лотомовым враги.

У «пиловского» вагончика Илью ждали три Василия. Они где-то успели выпить, и настроение их было сверхбодрое.

Василий I, страшно похудевший после гибели Мальвы, поднялся навстречу Илье. Добродушное, широкое лицо Василия III от напускной чрезмерной серьезности показалось Илье смешным. Василий II сворачивал самокрутку и, пытаясь склеить ее, беспомощно тыкался своим знаменитым носом в табак. Василий I начал довольно грубо:

— Вот сегодня мы поговорим серьезно, падла. Начальник, видите ли, новый приехал. В гробу я тебя видел! Понял? Он мне еще указывать будет. Мне... Да лучше меня никто на трассе не варит. А ты меня с работы снимать?! Как врежу...

«Самое главное — логика, — подумал Илья. — А врезать он мне, действительно, может».

— Охотно верю. Но что ты этим докажешь? Брак-то ведь ты делал, а не я...

— А я тебе докажу, что ты гад! Василия I вздумал обижать...

Илья стоял, окруженный уже всеми Василиями. Третий тоже пытался сказать что-то решительное:

— Напрасно... Слышь, Ваську-то напрасно обижаешь. Он ведь у нас...

Василий II молча сопел и подталкивал Илью к Василию I.

«Морду они все-таки мне побьют», — безнадежно думал Илья, чувствуя противный зудящий холодок на спине...

— Эй-эй, братва! Без объятий! — к вагончику подходил Коля-Коля. — Это что за народный бунт?

— Дак чего он Ваську обижает...

— Брось, брось, парни. С поличным он Ваську поймал. А служба есть служба. Не положено брак пропускать. А! Все равно вы ничего не поймете сейчас! Пошли, — Коля-Коля за рукав оттянул Илью от Василиев. Тот, отойдя немного, полез за папиросами:

— Спасибо, Николай Николаевич.

— Бравые хлопцы, а? Раз-два — и готово бы. Ты не сердись особенно-то. Парни, в общем, хорошие. Лотомов им головы вскружил. Здорово вы лаялись сегодня. Истинное удовольствие испытал.

Илье захотелось поддеть Колю-Колю, и он ляпнул, не раздумывая:

— А вы за кого?

Коля-Коля рассмеялся:

— Черт его знает, за кого я. Надоела мне эта мышиная возня. Жизнь-то идет, а мы все норовим в дрязги заезть. Неинтересно.

— В общем, наплевать вам, да? — уточнил Илья.

— Да не совсем так. Только бессмысленно это. Ведь знаешь же, что все кончится хорошо. Хеппи энд, как говорят англичане. Нефтепровод построим независимо оттого, будешь ты ругаться с Лотомовым или нет. Ну да ладно. Ты дерись, а то под старость молодость нечем вспомнить будет. А я государство нейтральное. И еще один совет: если уж решил до конца идти, ни в чем не спускай Лотомову. Быстренько иначе может смять. Будь здоров...

Илья опять остался один. Интересный мужик, вроде, Коля-Коля. Чего-то спокоя ищет. Но не злой. Кто его знает...

Впрочем, размышлять Илье совсем не хотелось. Думать нечего: и так все ясно.

Улыбнулся одной шальной мысли: смешно все-таки в газетах пишут: «Партийная и комсомольская организации ослабили свою

работу. И вот результат — дело воспитания молодежи находится в загоне».

Попробуй-ка, воспитывай вот здесь, на трассе.

Черта с два что получится. Сотню Макаренко надо.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

После обеда в вагончик Ильи вошел Лотомов.

— Илья Анатольевич, давайте съездим к Қарамову. Может быть, вдвоем его уговорим. На тридцатом пикете — помните? — у нас овраг. Надо бы просто трубу перекинуть, а Қарамов настаивает, чтобы мы спускали ее в овраг, как в проекте. Уперся, капризничает. И ни в какую не соглашается.

Ух ты! Қакой обходительный тон. Илья даже обрадовался.

— Мне бы на трассу надо, Дмитрий Никифорович...

— А мы не долго. У Қарамова долго не просидишь.

Лотомов загадочно улыбнулся:

— Я по дороге расскажу. Интересная мужская история.

История сводилась к тому, что Қарамов женился на какой-то семнадцатилетней девчонке. Она соблазнилась кочевой жизнью и вот теперь ездит с ним по трассе и не знает, как от него убежать. И он — просто до озноба — боится, когда в гости мужчины приходят.

Рассказывая все это, Лотомов доверительно посмеивался. Илье стало неловко оттого, что он так холодно отнесся к рассказу, и потому он выдавил усмешку. Лотомов, видимо, правильно понял ее и замолчал.

Қарамов встретил их действительно с подозрением. Неохотно пригласил в дом и сразу же наотрез отказался дать разрешение на поправку в проекте.

— Нет, нет. Что вам проект — пустая бумажка, что ли? Бесполезный разговор, товарищи.

В комнату вошла пухленькая, раскрашенная девчонка.

«Жена», — сообразил Илья. Встретился с девчонкой глазами, и она заулыбалась ему. Улыбка была хорошая, легкая и доверчивая.

Қарамов заметил это и нахохлился мрачно, стал обтряхивать с пиджака перхоть.

— В общем, Дмитрий Никифорович, не будем попусту терять время.

Надо было уходить, но Лотомов с Ильей продолжали нахально сидеть: должен же в конце концов этот брюзга согласиться с ними. Ведь просто упрямится.

Девчонка ходила с безразличным видом по комнате, и Қарамов, забыв о гостях, все пытался приласкать ее, когда она оказывалась рядом. Девчонка недовольно передергивала плечами, а Қарамов жалко улыбался. Илье стало противно, и он встал.

— Пойдемте, Дмитрий Никифорович.

Қарамов вдруг засуетился, по два раза пожал руки и Илье, и Лотомову.

— Ну уж ладно, давайте чертеж. Люди свои. Сочтемся.

Он торопливо подписывал чертеж, все время тревожно и заискивающе поглядывая на девчонку. Она, надув губы, сидела на широкой, заваленной подушками кровати.

За воротами Лотомов засмеялся:

— Достанется сейчас этому старому кобелю. Девчонка чего-то не в духе. Так ему и надо. Зато согласие есть. Вдвоем мы его здорово обработали. Всем теперь буду говорить: «пил» у меня — пробойный парень.

Илья боролся с искушением не поддаться вот этой радостной общительности, которая рождается в особенно удачливые минуты. Но марку же надо держать!

— Дмитрий Никифорович, вы меня на трассу подбросьте. Наверно, катушки бракованные уже режут. Посмотрю, чтоб поаккуратнее раскраивали их.

Лотомов помрачнел и буркнул:

— Посмотри, посмотри...

Лотомов оставил Илью на трассе, а сам уехал. Илья походил, походил по трубам и безнадежно сел на пенек. Никто и пальцем не шевельнул, чтобы исправить брак.

Хорошо. Илья не будет подписывать наряды. В тресте забеспокоятся, приедет комиссия, начнет разбирать конфликт. Скучно... Лотомов, видимо, решил упрямиться до конца.

Илья достал пачку, рассеянно стал искать папиросу. Тьфу! Он вертел пачку с заклеенного конца, а все папиросы высыпались в траву. Илья не торопясь начал собирать.

Муравьи дрались из-за какой-то пылинки. Тянули, тянули ее в разные стороны. Потом устали и разбежались по другим делам.

В конце концов есть еще одна возможность: сейчас Илья пойдет к Лотомову домой и в последний раз серьезно и откровенно поговорит. Без крика, без нервов. Ведь он ничего не теряет при любом исходе. Может, Лотомова подкупит искренность.

Он пошел в деревню: Лотомов почему-то предпочитал квартировать в ней. В палисаднике хмурый парень поливал помидоры. Даже не взглянув на Илью, отрезал:

— Нету твоего Лотомова. Не приходил еще!

Парень поставил лейку, пошел в дом.

— Вон в соседнюю избу постукай. Опять, наверно, у Клавки ночевать будет... Нам-то ведь он только деньги за квартиру платит...

В соседней избе на стук Ильи вышла красивая, с длиннющими косами девица. Одета она была в какой-то серо-бурый халат дурацкого покроя.

Нет-нет, Дмитрий Никифорович не заходил.

— Мне очень срочно он нужен. Очень.

Девица сжалилась:

— Пойду спрошу.

Через минуту она снова вышла:

— Кто спрашивает?

— Храмов.

Уже из окна, даже не раздвигая занавески, девица крикнула:

— Нету, нету Дмитрия Никифоровича! Может, позднее зайдет. Илья даже побледнел от этой наглой, бесстыдной лжи. Ну и Лотомов! А про Карамова распространялся — монах монахом.

Домой Илья возвратился еще злее. Дорогой он детально обдумал план операции «месть Лотомову».

В его вагончике лежала большущая пачка отпечатанных «молний». Пока что эту заботу трестовского парткома никак не реализовали. Илья решился первый. Крупно написал: «Только благодаря упрямству тов. Лотомова участок сорвет план. Все вопросы и претензии по этому поводу адресовать тов. Лотомову.

«Пил».

«Молнию» Илья повесил на двери конторского вагончика. Утром ее прочтут все...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

К Грише Михайлову приехала Марьям. Трасса с великим любопытством разглядывала ее. Эта была та самая, легендарная, «больно хорошая жинка Марьям». Все этапы семейной хроники были подробнейшим образом и не единожды рассказаны Гришей. Он чрезвычайно посерьезнел после ее приезда, ходил чисто выбритый и, когда парни кричали ему: «Эй, Гриша, будет у нас интересный разговор или нет?» — он испуганно косился в сторону своего вагончика и прикладывал палец к губам.

Однажды Марьям все же услышала эти веселые окрики и строго посмотрела на Гришу:

— Ай, Гриша! Скоро ты будешь отцом, а ты все еще не стал мудрым. С маленькими мальчиками разговаривают так, как с тобой. С настоящим мужчиной разговор ведут не торопясь и серьезно. Ай, Гриша, ты все еще любишь говорить, как старая деревенская бабушка.

Гриша виновато потирал лысину и потихоньку грозил Толику Федкову, слушавшему этот разговор. Толик с ехидной улыбочкой покачал головой и направился к парням, развалившимся после обеда прямо около кухни. Оттуда через минуту донесся ленивый, обидный хохот, и Гриша еще больше завиноватился, слушая Марьям.

Она ждала ребенка, и походка у нее стала важной-важной.

Что там ни говори, а Гриша проигрывал рядом с ней по всем статьям. Какая-то безалаберность, плутоватые глаза, даже с лысиной, этим знаком мудрости, обращался он без всякого достоинства: почесывал ее, гладил, пошлепывал, как тыкву. Марьям чувствовала свое превосходство и по любому поводу поучала Гришу. Она потребовала, чтобы Гриша познакомил ее с трассой.

В один из обедов состоялся адмиральский обход. Гриша шел впереди и останавливал каждого, попадавшегося навстречу. Он дергал его за рукав и оборачивался к Марьям.

— Марьям, это Коля-Коля, мой начальник.

Она разглядывала внимателнейше и роняла:

— Здравствуй, Коля-Коля. Маленько надо выпить сегодня за знакомтво. Заходи вечером, рады будем.

Коля-Коля видел всякое и потому только галантно раскланялся с Марьям. Когда Коля-Коля отошел, Марьям веско сказала:

— Очень хороший человек. Дружить с ним можно.

Три Василия преподнесли Марьям букет и стали с хрустом обнимать Гришу. Марьям вежливо-презрительно посмеялась.

— Почему они все три Васи? Разве так бывает? Василий первый, третий? Они смеялись надо мной?

Гриша стал объяснять, но Марьям даже не стала слушать:

— Совсем несерьезные люди. Наверно, твои лучшие друзья? Болтают, болтают чего-то...

Больше всех понравилась ей Маша:

— Скромная какая, смирная. Ох, красивая девка. Хочу, чтоб дочка такая была. Но разве у такого отца может быть серьезная девочка? — одернула Марьям разулыбавшегося Гришу.

Он снова загрустил и попросил жалобно:

— Эй, Марьям. Эй... Дай поцелую немножко...

— Ох-хо-хо... — укоризненно завздыхала Марьям, но подставила Грише яркую, как платок на голове, прохладную щеку.

— Гриша, Гриша...

Через час Гриша снова бегал по всей трассе:

— Понимаешь, сегодня утром велел Марьям: «Делай закуску, вечером друзей буду собирать». Она говорит: «Хорошо, Гриша. Приглашай. Даже сама тебе помогу. Вот гулять сегодня будем...»

От Гриши отмахивались, посмеиваясь:

— Вечером посмотрим, как ты велел.

Гриша обиженно мигал глазами:

— Зачем смеешься? Учись, как женщину уважать надо. Приятно женщине — приятно мне...

После этих слов хохотали почему-то еще дольше. Гриша решил тоже посмеяться. А потом пошел приглашать Илью.

А Илья решительно не знал, что делать. Бесцельно сидел у дефектоскопа и крутил ручку. Считал про себя: вправо — есть дефект, влево — нет. Вправо — есть... Он говорил: «Вот сейчас встану, пойду, буду энергичным, решительным. Что-нибудь сделаю». Но проходило десять, двадцать минут, а он все сидел и не вставал.

Сегодня начали вырезать бракованные стыки. Можно было праздновать победу: Лотомов сдался!

Как же! Илья Храмов отстоял принципы, восстановил справедливость. Но, черт возьми! В том-то все и дело, что Лотомов не сдался. Илье так и не пришлось увидеть, какое впечатление произвела на Лотомова «Молния».

К нему пришел Коля-Коля и очень серьезно сказал:

— Вот что, дорогой. Лотомов прочел «Молнию» и быстро-быстро уехал в трест. Сказал мне, что задержится дня на три. С семьей поживет и, говорит, «вправлю мозги этому очкастому». Я сейчас за главного остался. И, конечно, отдал распоряжение переварить брак. Но не подумай, что этим актом я свой нейтралитет нарушаю. Просто, чтоб без дела не стоять. Ты, надеюсь, серьезно уперся? Поэтому тебя тоже не переубедишь. Так, что ли?

— Да.

Потом Илья слонялся по «магазинной» площадке. И очень хотел встретить Машу. Хоть бы поговорить с кем по-хорошему. Чего-нибудь цивильное, городское вспомнить. Но Маша не выходила из вагончика. Илья подождал, подождал еще.

«Да, хорошо на трассе медсестрой быть. Больной раз в год и то по обещанию. Такие быки разве заболеют. А ты сиди и книжки читай. Вышивай. Вообще, что хочешь. Мечтай, переживай и так далее,— вдруг с неприязнью и раздражением подумал Илья.— Вышла бы. Ей ведь тоже хочется поговорить. И мне».

Вместо Маши он встретил Василия III. Тот добродушно, широченно заулыбался, колобком подкатился:

— Давай, Илья, руку пожму. За «Молнию» дай поздравлю. Это ты точно: рубить, так с размаху. Чо, в самом деле?

Приятную вещь сказал Василий III, и Илья с гордостью подумал: «Такие вот парни после драки только и признают. Подрался, значит, чего-то стоишь. И вся жизнь так. На что ей рохли».

Он закурил с Василием. Поулыбались друг другу, и Илье захотелось в ответ сказать что-то приятное, но не получилось. Не нашел сразу простых и правдивых слов. Впрочем, Василию они были и не нужны.

— Заходи в гости, Илья. Или давай вечерком как-нибудь в клуб с нами...

— Обязательно, Вася.

А в вагончике снова подползла серая, тихая тоска. Приедет из треста комиссия. Обвинит в анархизме. Лотомову, конечно, больше веры. Старый, заслуженный человек. Э-эх... Надо будет что-то доказывать. Давать объяснения. Скверно, ужасно скверно.

Надо быть собранным и сдержанным. Хотя зачем он себе-то лжет? Чего успокаиваться прописными истинами? При всей их правильности — от них еще тошнее.

Лучше погадаю. Илья усмехнулся. Давно, еще со школы, он любил загадывать по утрам: повезет или нет сегодня? Вот если подряд мне попадутся три старика — повезет. Или: если за поворотом увижу трехтонку — повезет. Когда загаданное не встречалось, все беды Илья сваливал на это: сегодня день невезучий. А если выходило, что «везет», то уж обязательно случится что-нибудь приятное: или мать в кино отпустит, или на уроке похвалят. А стал взрослее — милостиво посмотрела Вера или Таня, достал билет на модную эстраду. И Илья до того уверовал в это везет — не везет, что, собираясь на экзамен и загадав: встретится кто-нибудь с полным ведром — все будет хорошо, обманывал судьбу: шел окольными путями к институту, где вероятность встречи с пустым ведром мала. Все-таки оставалась надежда, если никто не попадался на дороге: видимо, будет удача.

Сегодня Илья решил загадать на спичках.

Если в коробке тридцать четыре — повезет. И все будет хорошо.

Считал, считал — двадцать восемь. Эх, черт! Надо загадать еще на чем-нибудь. Если через десять минут ко мне никто не придет — не повезет.

Гриша Михайлов постучал очень вовремя. Илья облегченно вздохнул и встретил Гришу как можно приветливее.

— Сегодня большая радость в моем доме. Приходи вечером на Марьям посмотреть.

— Рад за тебя, Гриша.

— Марьям велел на всю трассу ужин готовить...

— Обязательно, Гриша, обязательно...

Как хорошо, что на эту вечеринку пришла Маша. В синем, на замке, костюме, в котором Илья не видел ее, она была еще тоньше, выше, неуловимей. Илья сел рядом с ней.

— Маша, ты молодец, что пришла. Знаешь, я хотел таблетки от головной боли зайти попросить, чтобы пригласить тебя. Если тебе не хочется, не будем разговаривать. Просто посидим, посмотрим?

— Ты бы без головной боли заходил, Илья. Я же не собираюсь прятаться. Только мне как-то странно на людей смотреть. Говорят, говорят, говорят. А мне непонятно — о чем?

— Они не так уж плохо говорят. Вернее, не всегда плохо. Иногда стоит слушать...

— Наверное...

— Хочешь выпить?

— Нет. Не вкусно...

— Тогда возьми конфету...

— Илья, проводи меня, пожалуйства. Что-то мне не хочется больше здесь сидеть.

Оттого, что прогалины и опушки были залиты глухой, настороженной тишиной, лес отгородился от ночной темноты плотной непроницаемой стеной. Случайный ветерок, докатываясь до нее, возвращался безвольный, принося смутные таежные запахи.

Маша молчала, прислонясь к поручням вагонного трапа. Вздохнула:

— Сегодня первое письмо от Кости получила. Из камеры предварительного заключения...

Илья вздрогнул — так поразили его отчетливые, спокойные, темные слова: камера предварительного заключения...

— Ничего, говорит. Не так уж страшно. Был уже на допросах. Еще, говорит, никогда не бывал уголовником. Силюсь, говорит, хоть одну блатную песню вспомнить. Кроме одной строки: «Так здравствуй же ты, Колыма»,— ничего не знаю. Вспомню, так обязательно напишу...

Илья достал папиросу. Что говорить — он представить себе не мог...

— Костя нервничает из-за меня. Потому так и пишет. Шуточки. Как хочешь, так и поступай... Ой, как ему страшно там... Ждать, ждать!.. Жду, Костя!— неожиданно, забыв об Илье, тонко всхлипнула Маша. А заметив его настороженную позу, слабо улыбнулась:— Извини...

— Мы подрались с Костей как-то. В восьмом, кажется, классе. Я разозлился, накричал — ищи, мол, товарищей в другом месте. Ты мне не нужен. Вечером Костя ко мне приходит: здорово, говорит, у тебя синяк болит? Я молчу. Слушай — он мне — если будешь молчать, на второй глаз приварю. Или на, стукни меня. Квиты будем. Ну? Я помялся, помялся. Костя такой честный передо мной, решительный. Друг, в общем. Я так криво ему улыбнулся... Помирились.

— А потом?

— А потом пошли на каток. Он учил меня виражи делать...

— Спасибо, Илюша. Я тебя так буду называть, ладно?

— Да что ты, Маша?

— Спокойной ночи, Илюша...

Она улыбнулась легко, неуловимо, и Илья понял, что он причастен сейчас к какому-то очень большому событию, что теперь ему часто будет вспоминаться эта легкая, непонятная улыбка...

Он тоже улыбался, шагая в свой вагончик. Не так уж и плохо жить на белом свете!

Он принялся писать письмо Галке. И задумал написать длинно-предлинно. Интересно-интересно. Может быть, не столько для нее, сколько для себя...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Письмо Илья закончил где-то в четвертом часу. С удовольствием, с хрустом потянулся. «Вроде ничего получилось»,— улыбался он, глядя на пачку исписанных листков. Закурил.

«Здравствуй, Галка!

Может быть, даже лучше, что мы не встретились в Москве. У меня сейчас такое состояние, будто бы все уже утеряно, и оттого мне остро и резко жаль себя. В какой-то ослепительный луч собралось прошлое, и я щурюсь от яркости тепла, подставляя лицо этому лучу.

Но приятнее всего по-честному мне представлять, что и у тебя такое же состояние. И интересно думать, что получится из такой вот настроенности?

А вообще хотел бы увидеть тебя и — помнишь, как в парке?— поцеловать тебя.

Куда же ты потерялась, Галка? Я сейчас в такой глуши, даже не верится, что можно отыскать тебя.

Ответь, пожалуйста, быстрее. Как можно быстрее. Очень целую...»

«...Помнишь наш спор о Ремарке? Я говорил тебе еще, что дело не только в его талантливости, а в том, насколько его талант внимателен к Личности. Помнишь ты этот разговор или нет?

Я спорил тогда, что во всей нашей послевоенной литературе не создано сколько-нибудь запоминающейся Личности. Более или менее удачные члены коллектива (я специально употребляю этот термин: ведь коллектив — сумма личностей) встречались, но настолько они были увлечены коллективными делами и настолько невнимательны к собственному духу, что один мало чем отличался от другого.

Конечно, у нас есть великие книги, вроде «Чапаева», «Тихого Дона» или фадеевского «Разгрома». Но подобные книги — продукт революции, исторической ломки, когда рождаются гении, а в самых маленьких человечках вспыхивает пламя Личного, неугасимого желания высказать себя.

А потом был культ. Будто бы думал один, а все остальные были коллективом и думали точно так же, как этот один. И будто бы боялись думать иначе.

Произошла удивительная вещь: интеллект стал стадным, а где же Личность?..»

Илья снова закурил, перечитывая это место. Все-таки он не мыслитель. Во всей этой логической цепи он не мог схватить главного, которое никак не удавалось поймать из-за дурной привычки мыслить нечетко.

«...Ведь ты весьма смутно представляешь, Галка, почему я ушел из института. Стало невыносимо тошно жить не своим умом. Учат преподаватели, учат общественные организации, и в потоке этих поучений я совсем потерялся. Не успевал осмыслить: все ли правильно мне говорят. Но это же непорядочно по отношению к самому себе: жить, не думая, а только слушая, что тебе говорят.

Главное в жизни — убежденность. Страстная, непримиримая. Если хочешь, ленинская (это не из газет, это — мое).

...И вот я на трассе. Живу уже скоро месяц. И с удовольствием говорю, что поступаю только по честности. Но, с сожалением признаю, что еще не знаю, куда меня это приведет».

«...Устал от городских споров, от городских разговоров. Мы все говорили, говорили: как нужно делать, а ничегошеньки не делали. Я уже так больше не мог. Сейчас смешно стало: я примерно излагаю те же мысли, что и незабвенная Вера Григорьевна, учительница по литературе. Алеко пришел к цыганам, думая уйти от своей душевной раздвоенности. Но простые, безыскусные цыгане не приняли его, не поняли. Да и сам он обманывал себя...

Смешно?.. Очень. Я, конечно, не Алеко. Что само по себе и неплохо. До чего же все просто на трассе с «простым, безыскусным» народом. Да, дело даже не в простоте, а в том, что здесь совсем по-другому, не так, как мы представляли себе, как говорили об этом.

Личности попадаются мне на каждом шагу. Лотомов (это наш начальник участка) — вон какая личность! Или Коля-Коля (прораб). И, как говорится, дружный коллектив нашего участка их совсем не нивелирует. Мне почему-то сейчас думается: коллективность не топит, конечно, Личность, но мы-то понимаем эту коллективность очень уж примитивно, бесцветно... Как что-то громадное, неясное. Этакого плакатного дядю, который уж чрезвычайно правильно мыслит о семилетнем плане, о снижении себестоимости и насчет выгодности сберкасс.

Короче говоря, мы обезличиваем коллектив, прикрываемся его дружностью, монолитностью и прочим, прочим.

А каждой составной частичке его уж больно хочется пристального, постоянного внимания. Думать сначала об одиночке, а потом за всех. Так, наверное, будет правильнее.

...Извини, Галка, за путаницу. Может быть, в ней есть кое-какие понятные крупицы. Пока довольствуйся этим. Когда разберусь, объяснюсь толковей.

...Все-таки интересно, почему ты не приехала в Москву? Я так хотел тебя увидеть. Что-нибудь случилось? Впрочем, дурацкий вопрос, типичная интеллигентщина. В данную минуту я этого все равно не узнаю. А спрашиваю. Хе-хе.

По-моему, я ничего не рассказывал тебе о Косте Шквире. Это был мой друг, бульдозерист на трассе. Приехал к нему, а он в тюрьме. В общем, долгая история. Его ждет невеста, Маша. Чудесная девушка, очень тяжело переживающая эту историю. Ты знаешь, она чем-то неуловимым напоминает тебя. Голосом ли, походкой? Смехом ли?

...Напиши мне, пожалуйста, быстрее!

Костю посадили из-за пьяной нелепости. На трассе вообще любят выпивать. Нет, совсем не думай, что здесь собрались прожигатели или пижоны. Смешно, но я все больше склоняюсь к мысли: пьют из-за отсутствия культурно-массовой работы. Да и какое в тай-

ге просветительство? Навкалывается человек за день. И выпьет. Без скандалов в основном. С устатку, как говорится. И, честное слово, не знаю, как это квалифицировать: пьянство или нет. Уж больно не укладывается по морали-то — раз выпивает, значит, грешит против нравственности. Да кто его знает! Даже в письме я пытаюсь все точно сформулировать. Надоело.

А еще зовут меня в самодеятельность на роль Барона в «На дне». Самодеятельность, правда, существует пока в ограниченном виде: два-три человека. Толик Федков, здоровенный такой парень, как чемпион мира по штанге, выбрал себе Сатина. Рычит, говорит он здорово. Вот он меня каждый день и убеждает. Я смеюсь: мне, мол, больше Лука подойдет. «Но-о,— тянет Толик басом.— На него мы Колю-Колю сблатуем. А ты давай Барона. Аристократов у нас не хватает...» Смешно...

Все, Галка. Поговорили. Спокойной ночи. Целую, целую...»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Труба отзывалась легким звоном, звон этот существовал отдельно от птичьих вскриков, от глухого гудения сосен, от знойного, пахучего пения трав. Казалось, таежные звуки прорезала звенящая серебряная струна, и ее тонкое «звень-звень» не давало соединиться этим звукам в однообразный, успокаивающий шум.

Илья спрыгнул с трубы — звон, дрожа, покатился, покатился и замер у далекого изгиба просеки. Нет, по трубе идти очень жарко. Илья вытер пот, помахал на лицо кепкой и оглянулся. Лотомов здорово отстал. Он шел рядом с трубой, по колено в траве, иногда нагибаясь за приглянувшейся ягодой.

Сколько здесь было ягод! Илья еще никогда в жизни не видел столько земляники враз. Он покраснел, вспомнив, как утром на ходу ел, ел ее и отстал от Лотомова километра на два. Потом еле догнал. Лотомов усмехнулся, глядя на запыхавшегося Илью, и тот мгновенно со стороны посмотрел на себя: потный, подбородок забрызгал ягодным соком. Противное зрелище.

Он решил подождать Лотомова. Закурил. Табачный дым, смешиваясь с запахом донника, был вкусным. «Что тебе «Золотое руно»,— с удовольствием затягивался Илья.

Протяжно, как под косой, зашуршала трава: подходил Лотомов. Шагал он крупно, твердо, и Илья, искоса поглядывая на лотомовские сапоги и не желая смотреть в лицо, подумал: старый все-таки солдат. Ишь, как уверенно меряет.

А Лотомов хмурился. Ожесточел щетинистый подбородок. Бугрились побелевшие скулы. И все его крупное, мужицкое лицо окаменело и посуровело.

Люди хмурятся по-разному. Илья, сколько ни пытался придать лицу решительность и твердость, сколько ни морщил брови, ничего не получалось.

Во-первых, мешал пот, который все время скапливался на бровях и соленым туманом покрывал очки. Приходилось их ежеминутно протирать, жалко и беспомощно щурясь на белый свет. Во-вторых, очень уставал лоб, если усиленно сдвигать брови. Потому-то, вместо решительного и хмурого вида, чувствовалась в Илье какая-то размягченность и вялость.

Но настроение у него было действительно хмурым. Второй день они шли с Лотомовым по трассе: Илья — впереди, Лотомов — сзади. Идти предстояло еще суток двое: щательная, по журналу, проверка пикетов и стыков отнимала массу времени, и двигались они очень медленно.

Говорить, собственно, не о чем. После возвращения из треста Лотомов не то что говорить, смотреть не хотел на Илью. И эта совместная проверка трассы, судя по хмурому виду, очень раздражала Лотомова. Вчера, когда укладывались спать около толстенной поваленной сосны, и Илья, ежась кутался в плащ, Лотомов буркнул:

— Веток наломал бы — мягче будет. Да подвигайся к костру. Ночью замерзнешь...

Вот и все слова за два дня.

Перекуры напоминали скорее игру в молчанку. Иногда встречаясь глазами, и Лотомов, и Илья деланно, равнодушно отворачивались, испытывая неловкую, гаденькую пристыженность.

Так вот они и шли уже второй день. Впереди чуть сутулился Илья в широких болотных сапогах, с разлохмаченной отросшей на трассе шевелюрой, сзади — Лотомов крупно и мерно отсчитывал шаги, иногда поправляя полевую сумку да вытирая ладонью клеенчатый ободок внутри офицерской фуражки.

Рядом с ними бежали их неверные, удлиненные вечерним солнцем тени. Два человека шли по тайге уже вторые сутки. И вторые сутки молчали. Очень плохо, когда в тайге люди недобро и настораживающе молчат...

«А-ах! А-ах!»— протяжно проговорила лотомовская двустволка. Труба лентой эскалатора поползла из-под ног Ильи, он замахал руками, пытаясь удержаться, но бесполезно. Перекатился, проскребя сапогами по трубе, и упал на колючие, старые сучья. Успел заме-

тить: с сосны, что застыла над ним, медленно продираясь, падала сшибленная выстрелом ветка.

Илья закрыл глаза, услышав тяжелую торопливость лотомовских шагов.

«А-ах!»— еще раз вскрикнула двустволка. Илья медленно встал на колени. Горело лицо, расцарапанное сучьями.

Бледный, неуверенный, он медленно повернулся к Лотомову.

Тот крепко, до белых косточек на кулаках, сжимал ружье и ободряюще улыбался Илье.

— Здорово ты поцарапался. Пока утрись, а до ключа дойдем, как живой водой все залечит.

Он согнал улыбку, увидев страшные глаза Ильи. Илью трясло, и он, крест на крест схватившись за плечи, непонятно смотрел на Лотомова.

— Ты что, Илья, зашибся? Да чего ты так смотришь?— закричал Лотомов.— Впилась бы рысь в холку, поздно было бы трястись. Смотри какая зверюга.

Илья, не веря, повернулся: бурый, судорожно скорчивший лапы зверь лежал под сосной. Было похоже, что рысь собралась поиграть с котятами и вот сейчас лапами начнет мягко отталкивать их.

Илья нелепо заулыбался, растерянно, ненужно подтянул сапоги и вздохнул глубоко-глубоко.

— Дмитрий Никифорович... Простите меня...

— Ну, отошел, вояка?— добродушно спросил Лотомов.— Давай перекурим.

— А здорово у вас двустволка какая голосистая. Как ахнет, как ахнет! Думаю, куда это Дмитрий Никифорович бьет. А тут как раз и поскользнулся, — поверив в это, громко-громко засмеялся Илья.

Потом они шли по трассе уже рядом: Илья по одну сторону трубы, Лотомов — по другую У стыков Илье доставляло большое удовольствие деловито, общительно переспрашивать Лотомова.

— Какой, какой номер-то? Семьсот сороковой? Отметим. А клеймо чье? Опять Василий I варил? Так. Правильно. В журнале это есть.

Как славно все получилось! Илья упивался благородством Лотомова, легким и очищающим чувством радости и острой потребностью заплатить сейчас же, немедленно, добром за добро.

Лотомов подобрел от этого бурного и искреннего внимания. Шел, разглаживая жесткие морщины на лице.

«В такие вот минуты человек особенно понимает, как он нужен другому человеку,— радостно размышлялось Илье.— Лотомов сейчас вот ближе всех мне. И я должен, обязательно должен обо всем поговорить с ним. Чтобы между нами не оставалось никаких недомолвок. Только откровенность. Мы имеем на нее право. Все объяснится, и начнется чудесная жизнь. Взаимопонимание, взаимоуважение».

Вечером они долго сидели у костра. Прихлебывали потихоньку чай из кружек. Курили. Снова пили чай. Илья успел рассказать Лотомову про институт, про Костю Шквирю, про то, что неплохо бы съездить в первый отпуск куда-нибудь за рубеж. Прокатиться, допустим, по Дунаю.



Лотомов одобрил это, потому что Дунай — красивая река. Он воевал там. И рассказал в свою очередь несколько простых и очень интересных случаев про войну.

Вольно, струисто горел ночной костер. Они молчали. А потом Илье захотелось спросить:

— Дмитрий Никифорович. Можно, я буду совсем откровенно. Без обид?

— Давай, давай. Зачем спрашиваешь?

— Вот с планом у нас неудачно вышло, да? Потом я вас у этой женщины, у Клавдии, застал? Убейте меня, Дмитрий Никифорович, но не могу я этого осмыслить: вы столько лет в партии, и такие вещи как-то получаются...

Тягучую, тревожную паузу заполнил только треск костра...

— Вы правильно меня поймите, Дмитрий Никифорович. Я не хочу быть судьей. И совсем не хочу быть бестактным. Но должен же я разобраться. Должен понять все это!.. Вот у вас сколько орденских планок — ведь вы, без скидок, заслуженный человек. Рассказы-

вали, что вы семью свою очень любите. Почему тогда так нескладно получается...

Дмитрий Никифорович. Я несколько раз на открытых партийных собраниях бывал. Меня просто поражала беспощадность, с которой коммунисты говорят о недостатках. И о себе беспощадно говорят. Наверное, так и надо. Видимо, всякое большое дело требует беспощадной правды и по отношению к себе и по отношению к другим. Но вот после таких собраний опять же бывают ошибки. Начальники иногда снова срываются. На грубость, хотя за нее их критиковали. Да и остальные тоже снова срываются. Почему так, Дмитрий Никифорович?

— Я отвечу, отвечу, Илья. Ты плохо понимаешь жизнь. Хочешь обязательно затолкать в ее рамки. А жизнь упругая и неподдающаяся вещь. Видишь, отчего срывы-то бывают. Жизнь закрутит, закрутит тебя. Требует одно, другое, третье. Хоть убейся, а отдай ей это...

— Жизнь, по-моему, требует от каждого только правды...

— Подожди. Подожди ты, не торопись. И вот, понимаешь, жизнь время от времени ставит вопросы ребром. Можешь ты жизнь за Родину отдать, можешь всем: здоровьем, личной жизнью — пожертвовать ради какого-то большого и общего дела. И если ты настоящий коммунист, ты говоришь: да. Вот она — главная-то проверка. Трудно мы все живем, по-разному, но в главной проверке это разное отметаем...

— Ну как же, Дмитрий Никифорович? А обыкновенные, простые дни? Их куда девать?

Но Лотомов замолчал. Замолчал, глядя в костер. Тяжело, тяжело... Только когда пламя стало белеть от раннего, летнего рассвета, сказал Илье неожиданное:

— Комиссия на трассу должна вскоре приехать. Так что ты не удивляйся...

— Тебе бывало плохо?
— Хм... Сколько раз. А что?
— А! Все равно ничего не поймешь. Плохо-то мне...
— Зачем же спрашиваешь?
— Думал, легче станет...
— Не стало?
— Нет.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Миша Рентген был сегодня трезв, серьезен и даже несколько печален. Он не называл Илью «начальником» и все пытался насвистывать какую-то грустную песню.

«Пиловская» машина видела дни получше, видела и дороги получше. А сегодня она ослепла от беспрерывной, фыркающей грязи, осипла от урчащих луж. Дождь еще косматился где-то у самого леса, а здесь, над дорогой, небо застыло в пасмурности, и если глядеть на него, то казалось, что газик совсем не движется, до того однообразными и черными были облака.

Миша опять засвистел. Илья не выдержал:

— Что это ты, Миша, свистишь? Одно и то же, одно и то же? Ты, наверно, побочный сын Ефима Нейда...

— Можно и не свистеть. Все можно. Но тогда скажи мне: почему человеку беспросветно плохо временами бывает? Я понимаю, что все рано или поздно исправится, снова веселиться смогу. Но понимать понимаю, а не успокоюсь. Все равно плохо...

— А что случилось?

— А!.. Долгий разговор...

Миша трагично поджал губы и вздохнул: вот, мол, брат, как нелегко человеку. Таким еще Илья его не видел.

— Ну, Миша, ты сейчас просто как Демон. Важный, печальный. Жаль, что не брюнет.

Миша скорбно вскинул брови: вам, мол, шуточки все. Но ему, видимо, нравилось, что Илья проявляет участие, и Миша снизошел до разговора:

— На Украине бывал? Эх, есть там городок Каменск-Подольский. Знаешь, поется: «В белом городе у моря...» Не про него, а будто про него. Вишни там какие...

Миша крылато потянул носом: действительно, какие вишни!

— Дивчина там есть. Так и зовется Надежда. Ох, и целовались мы с ней под вишнями... Я ведь и на целине был, и в Братске был, и на ЛЭПе тоже был. А вот в Каменец-Подольском давно-давно не был... Мама меня ругает... У-ух, как! Но что сделаешь, если я географию очень люблю! Надежда и надеяться перестала. Сколько, говорит, ждать можно. Письмо написала. Говорит, Сенька соседский замуж предлагает. А он же дальше киевского базара и света не видал. Обидела меня Надежда...

Миша замолчал, потому что они поднимались в гору. Монотонно-монотонно зажаловался мотор. У-у-у-у... Высокая гора, тяжелая... Скользская...

«Несет человек в себе какую-нибудь задоринку, выдумку ли. Жизнь украшает ими. Думает о них, печалится. И делает какое-то дело. ЛЭП ли, целину ли пашет, за баранкой ли сидит. Сколько их на дорогах сейчас! И у каждого за спиною свои Каменец-Подольские, свои Надежды, вообще что-то свое — для общего. Черт, как все хорошо на земле», —ласково и умиротворенно думал Илья, глядя на сердитое, смешное Мишино лицо.

— У-ух! — выдохнул Миша. — Взобрались. Теперь постоять можно...

Со встречной стороны горы поднимался трубовоз. Трубы, облитые глянцем после дождя, как тяжелые косы, гордо оттягивали назад голову-кабину.

— Федька ползет. Ох, и тяжело ему, — Миша высунулся из окна и помахал рукой. Трубовоз был уже совсем недалеко от вершины, отчетливо уже виделся Федька, небрежно куривший, когда мотор вдруг странно всхлипнул, и махина трубовоза начала пятиться вниз. Миша занервничал:

— Ах, зараза! Что там случилось?

Трубовоз полз и полз. Федька метался по кабине.

Миша что-то решил, щелкнул сцеплением, и газик ринулся тоже вниз.

Илья схватил Мишу за рукав.

— Что ты хочешь?

Газик обогнул трубовоз и стал тормозить. Все ясно: Миша хотел удержать Федькину машину.

Илья побледнел:

— Сомнет же, дурак!

— Это еще не известно...

— Не смей тормозить! Вперед!

— Я тебе дам вперед!

Илья рванул было дверцу, но холодная, расчетливая мысль заставила его сесть: вдруг все кончится хорошо, тогда же он прослывет последним трусом. Как все нелепо. Он боится, но почему же мозг так предательски работает?

Илья сжался в комок, всем существом своим ощущая: сейчас произойдет что-то непоправимое. Захрустел сзади борт, и газик проскреб мертвыми колесами глубоченную колею. Замер. Еще толчок. Снова замер.

«Раз—два, три, — считал Илья. — Стоим». Миша резко выскочил, побежал к Федьке, Илья тоже вышел. Сырой воздух, как холодный компресс, прилип к разгоряченному лицу. Федька трясущимися руками закуривал от Мишиной спички.

— Мы еще покатаемся, начальник! — весело крикнул Миша, показывая на свой развороченный кузов. Слабо улыбался Федька. А Илья думал, что он так бы не смог. И от этого ему было зябко, неуютно и одиноко...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Глядя на угрюмо задумавшегося Илью, Миша, подъезжая к «магазину», весело запричитал:

— Чего ты, начальник? Едем к зарплате, к автолавке! Чего-нибудь придумаем! А ты грустишь... Не надо, начальник...

Действительно же, сегодня первая его зарплата. Он же собирался отметить ее на уровне не ниже банкетного. В конце концов первая зарплата — первое признание общества, что ты ему нужен... Но мысль эта, лелеемая столько, показалась Илье сегодня неискренней, а потому нерадостной...

Кассир, приехавший из треста, носил короткие рыжие усы, имел большую, неровную лысину и строгий-престрогий вид. Купюрами кассир эквилибрировал. Очередь к его столику немела от восторга, когда он молниеносным веером пересчитывал деньги. Кассир был философом и замечал по этому поводу:

— Ничего удивительного. Тренировка и равнодушие. Попробуйте собственные деньги с такой быстротой сосчитать — убежден: никогда не сумеете. А чужие — пожалуйста...— кассир снова проносился пальцами по толстенной пачке ассигнаций.

Обычно в очередях разговаривают. Иногда, чтобы убить время, иногда — интересно.

В очередях за зарплатой все держатся сверхъестественно бодро, и считается хорошим тоном изрекать примерно такие мысли: ну что, Иван Иванович, опять государство обобрать пришел? Или: опять ты, Иван Иванович, за деньгами. Ну нельзя же так часто...

В общем, люди, получая зарплату, почему-то чувствуют себя неловко. Во всяком случае, Коля-Коля предлагал в дни зарплаты вывешивать лозунг «Деньги — проза, труд — поэзия», но потом сам же отказался от этакой мысли: все-таки материальная заинтересованность превыше всего...

Кассир полысел наверняка от мудрости. Заглядывая в ведомость, он четко и вежливо предлагал:

— Разрешите, я вам сдам пятерками. У вас в этом месяце не очень хорошо вышло, а пятерками покажется больше.

— Молодой человек! Зачем вам столько денег? Купите себе что-нибудь стоящее, только умоляю, не пейте водку. Вы еще так молоды. Уж если очень захочется, купите шампанского или кагора. Хоть испытаете настоящее удовольствие...

Когда подошел Гриша Михайлов, кассир бережно погладил лысину:

— О коллега! Мы с вами умеем экономить. Лысые мужчины — самые расчетливые...

Гриша был не в настроении и поэтому сразу же надел кепку, зло посмотрев на кассира: воспитание Марьям не проходило даром...

Илье удалось получить деньги без огласки. Сто рублей новенькими десятками. «Сегодня же пошлю маме»,— решил он. Все еще не проходившее чувство брезгливости к самому себе заставило его довольно равнодушно затолкать зарплату в карман.

Но в автолавку он зашел. Парни бурно прицениваются к красивым черным свитерам. Все-таки сорок рублей! Илье свитер очень понравился.

В вагончике, примерив его, Илья подумал: оказывается, как легко поднять человеку настроение. Достаточно красивой тряпки, чтобы воспрянуть духом. В свитере он казался мужественнее — этакий типичный метеоролог-полярник, любящий классическую музыку и длинные научные споры. Неплохо, ейбогу, неплохо!

Он собрался на станцию — отправить матери деньги.

Мама, мама, сидишь, наверное, вяжешь мне толстые шерстяные носки: тебе все еще кажется, что в Сибири и летом люди ходят в валенках — такой уж это богом забытый край. Ты пойдешь по соседям, получив деньги. Пойдешь вроде бы за какой-нибудь мелочью, но обязательно поделишься:

— Вы знаете, Илюша послал мне двадцать рублей. Они мне ни к чему — пенсии хватает. Но, знаете, приятно, сын посылает деньги.

Мама, мама, как ты часто бывала права. Даже всегда раздражавшая меня фраза: «Будь осторожней, Илюша. Береги себя», — которую ты произносила по любому поводу, и та мне кажется сейчас верхом правоты. Я так понимаю ее сейчас.

Илья просто для интереса зашел еще в станционный магазин. Продавались прекрасные и недорогие двустволки. Илья стоял у прилавка, спрятав руки в карманы, и усмехался: если купить ружье, матери нечего будет отправлять. А это его первая зарплата.

Как нелепо устроен человек: знать, что, не отправив деньги матери, он совершает, мягко говоря, предательство и все же подыскивает тысячу причин, чтобы не отправить.

Илья вышел из магазина, двинулся к почте.

Вообще ему никак нельзя без ружья. Взять хотя бы эту рысь, которая чуть не вцепилась ему в горло. А сколько, наверное, таких случаев еще будет.

Ладно. Ружье он купит в следующий раз. Хотя... Разве будут так часто дешевые ружья. Сейчас не купишь, когда потом соберешься. «Подло все-таки я думаю», — морщился Илья.

Но мама сама бы заставила купить ружье...

Черт! Никто же не знает, что он должен делать и что делает...

На сдачу от ружья Илья купил плитку шоколада: зайду сегодня к Маше...

На почте он все же побывал. Давно не писал матери. В письме встречались и такие строки: «Мама, я хочу тебе купить пыжиковую шапку. Думаю, что ты будешь довольна. В следующем месяце пришлю. Ох, мама, знала бы ты, как трудно быть взрослым...»

Маша рассмеялась, когда он вошел:

— Тебе не жарко, Илья?

— Хороший, по-моему, свитер...

— Да. Ты такой тюленистый в нем.

— Вот шоколад... «Басни Крылова».

— Это уже лучше, чем одни басни...

— Ты сердишься?..

— Нет. Так просто...

Маша с ногами устроилась на рундуке. Тень рассекла ее лицо, и виден был лишь тревожно блестевший глаз да легкий пушок на резко очерченной солнцем скуле.

Встречаясь с Машей, они разговаривали только о Косте. Говорил Илья, вспоминая все, что он знал, а Маша слушала, слушала... И неуловимо, печально и как-то еще (Илья не мог понять) улыбалась.. Когда он принес ей из тайги громадный куст боярышника, тяжелый, исколовший лицо и плечи, Маша погладила исцарапанную руку.

— Бедненький...

Илья не то что смутился тогда, а почувствовал легкую, сладкую боль от этого слова. Оно так приблизило его к Маше не давая, в то же время права сказать ей про это.

Сегодня Илье очень хотелось поговорить о себе.

— Маша, можно несколько слов об эгоизме?

— Не больше двадцати.

— Мы все ужасные эгоисты, Маша, и это так плохо. Придумываем себе боли, печали, радости, только чтоб хоть как-то оправдать свой эгоизм. Лишь бы только тебе хорошо было...

— А что? Может, ты хочешь, чтоб было хорошо мне?

— Маша... Какая ты сегодня... Недобрая...

— Сегодня я серьезная...

— Чтоб нам хорошо было... Нам.

— Кому это?

Илья испугался: «Говорю что-то не то».

— Всем нам...

— А-а...

Илье показалось, что это «а-а» очень разочарованное...

— Илюша, спасибо за шоколад. Сейчас напишу Косте, что опять был ты, что ем шоколад. Что ты не забываешь меня...

— До свидания, Маша...

— Счастливо, Илюша...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Дед, почем георгины?

— Непродажные...

— Дед, ну сколько возьмешь?

— Иди, иди, паря, не хозяин я тут...

— Все равно ведь пропадут. Не подсолнухи же...

— Отстань, паря. Не липни...

«Неужели и я доживу когда-нибудь до такого упрямства?» — с отчаяньем подумал Илья. Он облокотился на палисадник и тоскливо разглядывал деда. Тот сидел на завалинке в засаленно-зеленой телогрейке. Маленький, легкомысленный седой чубчик и мощная, будто из ржавой проволоки, бородища. Такая шальная бородища, что даже нижние веки заросли. Да-а... Кондовый дед.

Илья размяк от жары, давно расстегнул ковбойку и, утомившись спорить, всей тяжестью привалился к палисаднику. Сосновые некрашеные планки его больно резали подмышками, но лень было выпрямиться.

— Отойди от двора, парень. Как телка, о палисадник трешься...

— Чего ты меня гонишь, дед? Ведь тебе же до смерти скучно здесь сидеть. Что я не вижу, что ли? Сиднем сидишь да еще гонишь. Не стыдно, дед?

— Не стыди, не стыди, паря. Право, значит, у меня есть на завалинку.

— Не продашь георгины, вечером сам украду...

— Не украдешь...

— Нет, украду...

— Не-е...

— Да-а...

Сморенные жарой, оба замолчали.

Илья вдруг оживился:

— Слушай, давай на перочинный нож меняться...

— На что мне твой нож...

Илья вертел в руках перламутровый складничок. Дед покосился, покосился и снова замер.

— Ну давай на кепку...

— На что мне твоя кепка...

— Дед, а хочешь на часы?

— Дурак ты, парень...

— Нет, хочешь?

— Покажи...

— Мне бы карманные больше подошли. Слушай, може, карманные есть.

— Да ты эти носи в кармане!

Дед тяжело вздохнул, спрятал часы в в карман:

— Валяй, рви.

Очень ему хотелось поразить Машу этим невиданным обилием цветов. Хотелось искренне. И, конечно, не только поразить. А что же еще? Дарить цветы — красиво? Да, но не поэтому. Просто вот так — щедро, бездумно высыпать их — и все. Это несколько отдает сентиментализмом и еще чем-то...

Батюшки, неужели надо копаться в причинах, которые заставляют делать приятное людям?

Со станции Илья шел Сиреневой падью. Какое-то книжное, чересчур красивое название — и хоть бы кустик сирени! Видимо, изза сумеречной по вечерам дымки прозвали падь Сиреневой. Тогда она, действительно, наполнена легким фиолетовым туманом. Но все равно — слишком красиво!

Отлично он чувствовал себя! По пади тянул ветерок, и поэтому меньше жарило. К тому же Илья снял рубашку и завернул в нее цветы. Он ощущал радостную упругость в теле, звенела в ушах июльская, накаленная тишина, и тонко-тонко березы резали воздух.

Илья бросился в траву и притих, улыбаясь. Идти никак нельзя, потому что казалось: при ходьбе он не улавливает главного, отчего так чист и прозрачен этот день.

Муравьи начали тревожно и быстро обследовать Илью, но он не сердился, а только лениво смахивал их с рук. Удивительные запахи, удивительное небо, удивительно, что

бывают такие дни. Отчего-то радостно и чего-то жаль. Смешно!...

Ему вдруг захотелось почитать Майн-Рида или Грина. Совсем не потому, чтобы вспомнить героев или какие-то удивительные приключения. Просто смутно, расплывчато хотелось того же настроя, который был при чтении этих книг. Хотелось смолевых запахов Зурбагана, далекой просторности прерий и какой-то светлой, невозвратимой веры в их существование.

Повернув голову, Илья принялся рассматривать траву. Толстые стебельки, тонкие. Веет от нее пряной чистотой. Какая же трава так пахнет? Кроме клевера, да кашки, да полыни? Илья ничего не мог вспомнить. Впрочем, дело не в названиях, а в том прекрасном и глубоком чувстве, которое вызывает у тебя природа.

Надо идти. Еще георгины завянут... Илья сел и услышал, как в заднем кармане что-то громко захрустело...

Ах, да, письмо от Галки... Илья грустно улыбнулся. Перечитывать не надо. Уж больно много писем за последнее время. Он пишет, ему пишут. Почему-то Галкино письмо ничуть не тронуло его. Он пытался себя убеждать: ты ждал, ты же просил. Чего же не радуешься?

Но это самозабадривание разбивалось о спокойное, созерцательное настроение Ильи.

Галка писала, что не приехала в Москву, потому что не хотела в то время видеть Илью. Ей, видите ли, казалась несерьезной и ненужной эта встреча.

И как же она кляла себя потом за глупость! Как могла она так думать и поступать! Она не может жить без Ильи.

Нет, серьезно. Не надо больше никаких проверок. Она все решила и знает твердо: надо быть рядом с Ильей.

Будто между прочим Галка спрашивала: может быть, на его трассе нужен комбинат бытового обслуживания? Так она бы охотно согласилась на руководство им.

Конечно же, такое письмо могла написать только Галка. Порывисто, искренне и безжалостно по отношению к себе. Что ей, трудно было придумать утешительную для Ильи отговорку, почему она не смогла приехать? Не трудно. Но Галка, видимо, действительно любит его.

А последний шутливый вопрос Илья великолепно понял: Галка хочет на трассу, к нему...

«Почему я так спокойно обо всем этом думаю? — в который раз спрашивал себя Илья. — Ой, как давно-давно были и Галка, и Москва, и институт. Все — давно...

А я, между прочим, трушу додумывать до конца. Виляю по-пижонски».

Илья даже заторопился. Скорей бы до вагончиков, до людей. Только бы не рыться в самом себе.

Нет, подожди. Не торопись. Разве не ты говорил, что интеллект проверяется одиночеством?

Разве не ты всегда доказывал, что если человек скучает и боится оставаться наедине с собой, то у него недоразвит мозг.

Илья сдержал шаги. Он уже подходил к речке, от которой до вагончиков рукой подать. Свернул на знакомую тропку к мостику, как всегда, обжегся крапивой, забыв о ней. Шепотом выругался и хотел уже спрыгнуть с обрыва на берег, как увидел Машу... Только что искупавшуюся... Нагая, тонкая... «Девочка на шаре», — подумал Илья и отвел глаза.

— Маша, я отвернулся. Я, честное слово, случайно здесь...

Традиционного «ой» не последовало.

— Маша, честное слово...

— Отвернись, молчи и стой...

— Я давно отвернулся...

— Вот и прекрасно...

Она позвала его. Пошли рядом. Илья не решался начинать разговора.

— Чего ты молчишь-то?

— Неловко мне...

— Неловко мне, а тебе-то что...

— Да я...

— Лучше бы об этом и не разговаривать...

Илья обрадованно:

— Совсем забыл, Маша. Вот посмотри.

Он развернул рубашку.

— Тебе. Георгины...

— Спасибо, спасибо, Илья...

— Тебе нравятся?...

— Ой, конечно!

— Хорошо...

Он, как можно остроумнее, рассказал о деде. Маша смеялась, взяла Илью под руку. Потом задумалась.

— Напрасно ты рассказывал...

— Почему?

— Подчеркнутая красота — это... В общем, неприятная красота...

— Но, Маша. Я же, чтоб весело было...

— А сейчас грустно.

Илья нахмурился.

— Ладно, Илюша. Не сердись. Все хорошо. И я очень рада...

— Эх ты, чудачка...

Илья сказал весело-весело:

— Знаешь, что? Дай я тебя поцелую. Просто так. А?

— Целуй, — Маша, как бычок, ткнулась лбом в губы Ильи.

— А почему просто так?..

— Потом скажу...

...Ложась спать, Илья снова захрустел Галкиным письмом. «Не буду отвечать», — спокойно решил он.

Засыпая, подумал: «Все было так давно...»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Илью разыскал угрюмого вида парень. Был он в одной тельняшке, в галифе и баскетбольных кедах:

— Сварщик я местный. На работу хочу вот к вам...

— А давно сварщиком-то?

— Да, давно. Я еще и мотористом могу, и газорезчиком, и осветителем...

— То есть как осветителем?

— Спектакли могу освещать...

— Где же это ты научился?

— Да, где! Жизнь всему научит...

— Это ты правильно... Ладно, пошли в сварщики тебя принимать...

На стеллаже, около труб, Илью и парня быстро окружили любопытные. Почему-то среди них оказалась и Лушка. Вот уж непохоже на нее — среди мужиков тереться. Илья стал наблюдать за ней. Лушка досадливо закусила губу, когда парень взял в руки держак. Илья удивился: смотрика-ка ты. Действительно, неправильно берет. Но откуда это Лушка знает?

Варил парень отвратительно. Шов получался разный, с непроварами. Илья сказал об этом. Парень обиделся:

— Ты чего сверху-то смотришь? В сварке душу понимать надо. Как изнутри все выглядит...

Илья разозлился: «Вот ведь нахал! Еще упрямится».

Он решил добить парня:

— Хорошо, я залезу внутрь. На свет посмотрю.

Ну, конечно. В одном месте была такая дыра, что можно увидеть небо с облаками. Но парень попался не дурак. Он заложил дыру пальцем, и палец красно просвечивал от солнца. Илья зажег спичку и поднес ее к пальцу. Послышался отрывистый матерок, и палец убрали. Когда Илья выбрался из трубы, парень быстро уходил. Чуть не бежал.

Илья крикнул вдогонку:

— Ты в осветители, что ли, пошел?

Парень обернулся и погрозил кулаком. Илья рассказал про палец и про спичку. Похохотали. Но громче всех смеялась Лушка. И это опять удивило Илью. С чего бы?

А Лушка догнала Колю-Колю и, все еще посмеиваясь, спросила:

— У меня вроде получше выходит, а?

— О чем речь! Ты по сравнению с этой темнотой — маэстро...

— Опять шуточки, Николай Николаич...

— Не сердись, Луша...

— Сегодня, значит, в восемь, Николай Николаич?

— В восемь, Луша...

Получалось все довольно странно. И иногда Коля-Коля думал: а уж не привиделось ли мне?.. Да, нет. Вот Луша спрашивает про сегодняшний вечер. Значит, все правильно. Ну и ну... «Любопытная хреновина получается», — с улыбкой вздыхал Коля-Коля...

А получалось вот что. Как-то Коля-Коля опоздал на обед и пришел в столовую, когда там была одна Лушка. Она налила ему супу и, поставив тарелку, не ушла, а присела за столик.

Коля-Коля никогда не видел ее смущенной и потому удивился Лушкиному, в красных пятнах, лицу.

— Николай Николаич, можешь для меня вечером время выбрать?

Коля-Коля поперхнулся.

— Ой, да вы не так меня поняли, — Лушка нервно хохотнула, — что я хочу сказать-то...

— Давай, говори, говори. А то и подумай, не торопись...

— Я уж все, Николай Николаевич, обдумала. Сварку я хочу изучить. Вообще стоящим делом заняться. Вот вы человек самый серьезный, с вами и советуюсь. Ребятне же не расскажешь — обсмеют в два счета...

— Так ты вечерами хочешь?

— Ну да. Получится — хорошо, не получится — никто не узнает. Только, Николай Николаич, никому, никому...

— Не бойся...

— Так вы согласны?

— А чего ж...

Вечером они встретились на десятом пикете, где стоял САК — сварочный агрегат. Коля-Коля хмыкнул, увидев, что Лушка пришла в легком чистеньком платьишке и в красной, парадной кофте.

— Ты чего это вырядилась?

— Где? — Лушке стало почему-то неловко.

— Где, где. А это что? Кофта вон — прямо сплошной шик...

— Да ладно вам, Николай Николаич. Чего стыдить-то... По-праздничному мне хотелось... — тихо сказала Лушка и отвернулась.

— Ну хорошо. Завтра я тебе телячью шкуру выпишу. Будешь вечером переодеваться. А сегодня я тогда САК объясню тебе, как заводить, какие болты не крутить и прочие премудрости.

Он хотел рассказать коротко, но Лушка ежеминутно останавливала и строго, требовательно переспрашивала:

— А это к чему? А это?

Брови у нее были слегка нахмурены, она смешно теребила ухо, задумываясь. Ахала удивленно иногда над Коли-Колиными словами:

— Ты смотри-ка... Здорово придумано.

И тут же одергивала себя:

— Это у меня бабье. Ты не обращай внимания.

Коля-Коля, тронутый Лушкиной искренностью, старался подбирать слова поточней и покрасивше...

А после они сидели на прорабском пиджаке. Лушкиного лица не было видно, но Коля-Коля догадывался, что она думает о чем-то хорошем. Он вдруг, волнуясь, обнял ее за плечи и неловко, хрипловато спросил:

— Можно?

Лушка спокойно и не обидно отстранилась:

— Можно. Но не надо. Не стоит...

Коля-Коля закурил. Волна необъяснимого участия и небъяснимой ласковости к сидящей рядом женщине отхлынула, и он както безразлично и вяло ссутулился.

— Плохо, наверное, без мужика-то...

— Плохо...

— Скучно?

— Да нет. Плохо...

— А где он у тебя?

— Ушел.

— Куда?..

— Просто ушел...

— А дети...

— Не было их...

— Может, поэтому и ушел?

— Надоели друг другу.

— А-а...

— А я его любила...

— Жалеешь?..

— Чего же жалеть-то... Раз надоели...

— А на трассу зачем пришла?

— Захотела... Пошли-ка домой, Николай Николаич.

В следующий вечер Коля-Коля спросил, откуда у нее шрам. Лушка погладила шрам и пожала плечами: все очень просто:

— Шкипер на Енисее один ко мне приставал. Замуж все звал. Пьяным однажды нахально полез, я и прыгнула от него в Енисей. Да нечаянно трос зацепила...

— Надо было соглашаться замуж-то...

— Не хотелось...

— Больно уж все просто у тебя: хотелось, не хотелось.

— А просто и есть...

— Наверное...

И оттого, что за Лушкиными словами стояла какая-то мудрость, еще не осмысленная Колей-Колей, и доверчивая простота, и оттого, что ему хорошо было с ней сейчас, Коля-Коля сказал:

— Вообще-то ты славная...

Сегодня Коля-Коля показывал Лушке, как свариваются трубы на прихватку. У нее хорошо получалось, и потому к вагончикам они возвращались очень поздно и в темноте не заметили, что на крылечке сидят у кухни парни.

Толик Федков пробасил:

— Поздновато, Николай Николаич...

Ехидно присвистнул Василий 1, и Коля-Коля, пытаясь сохранить достоинство, но все же дрогнувшим от неловкости голосом попрощался как можно тверже и громче:

— Спокойной ночи, Луша...

Лушка не ответила и, словно девочка, которую обругала мать за поздние прогулки, побежала к своему вагончику.

Коля-Коля подошел к парням:

— Вы чего это полуночничаете?

Ответил Толик:

— Коротко говоря, мотоцикл я сегодня приобрел. Обкатывали да решили перекурить. Но нас другое сейчас интересует. Как Лушка-то? Ничего баба?

Коля-Коля тяжело опустился на крылечко и устало сказал:

— Какие все-таки вы еще молокососы...

— Это почему же? — взъерепенился Василий 1.

— Да отстань ты, — Коля-Коля слабо махнул рукой...

Парням, в общем-то, не очень хотелось подначивать, и они замолчали. Коля-Коля почувствовал себя виноватым. Вот, расстроил компанию. До него о чем-то говорили, смеялись... А сейчас — в рот воды набрали...

— Хотите, я вам байку одну расскажу? Не очень скучную?

— Давай...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Тогда ушли из Тикси последние пароходы. Ушли до следующей весны. Зимовка... Вьюги... Три бревенчатых домика... И мне только-только за двадцать...

В торосах — метель. Собаки воют на сияние. Пошел я в гости, в избушку метеорологов-молодоженов. Пили чай, спирт пили, закусывая леденистой, острой под перцем и уксусом нельмовой расколоткой. Вспоминали Большую землю, материк, города, трамваи, рестораны, кто в которых бывал. Альбомы с фотографиями разглядывали. И увидел на одной из них я девчонку. А как увидел, долго смотрел на нее.

— Кто такая?

— Племянница моя. В Одессе живет. Хочешь, адрес дам? Писать друг другу начнете.

Девчонка улыбалась с фотографии.

— Дай, будь другом, адрес.

— Одесса, Свердлова, девять дробь восемнадцать.

Ночью писал я первое письмо девушке. Писал ласково, как могут писать одни зимовщики.

Ответила ведь Ольга. Быстро. Через год ответ получил. Это для тогдашней Арктики было, как телеграмму получить. Писала она, что согласна переписываться и что очень переживает за меня, потому как трудно на Севере жить, «моря там и фруктов нет».

Весной, вернее летом, пришел пароход, привез еще одно письмо. И тогда я решился: «Чего тянуть? Напишу Ольге, что, мол, так и так, приезжай ко мне на север, станем зимовать вместе. Высылаю тебе пять тысяч рублей. Это, значит, на проезд. Собирайся и выезжай. Здесь, возле Ледовитого, тоже можно жить...»

Отправил я перевод, письмо и стал ждать. Было это в январе сорок первого года.

На этот раз ответ пришел еще быстрее — радисты постарались. В телеграмме, датированной двадцатым июня сорок первого года, Ольга отбила мне: «Выехала 19 заеду теткам Киев потом Тикси Ольга».

До самого сентября слал я в управление радиограммы — просился на фронт.

Самолет принес в Тикси мешок писем. Была в мешке открытка и мне.

«Я не знаю вас. Извините. Но я немного знала Ольгу. Мы ехали вместе с ней из Киева. В одном купе. Наш поезд попал под бомбежку, а вагон наш изрешетил немецкий самолет. Ольгу унесли на носилках без сознания. Наверное, в госпиталь. Война. Еще раз извините меня за тяжелую для вас весть. Ольга много о вас рассказывала».

В сорок седьмом году я навсегда распрощался с Арктикой. Я рвался в Одессу. Прямо с вокзала бросился я искать Ольгин дом. И нашел его. Седой, с черным лицом, старик долго разводил руками — мы стояли на огромной площадке, заваленной битым, обгоревшим кирпичом.

— Точно так. Это был дом — девять дробь восемнадцать...

С того, второго взрыва отлистало время еще четырнадцать лет. Я вместо парохода повел по земле нитки нефтепроводов.

В прошлом году, помните, ездил на совещание в Москву. Экспресс Пекин—Москва притормозил на минуту в Зиме. Заскочил в тамбур. Человек в нем стоял. По-быстрому — не разглядел. Заметил только, что высокий, лобастый, из-под шляпы седина искрит.

Пекин — Москва — поезд современный, легкий, стремительный. Компания в купе тоже оказалась подходящая. Женщина, инженер-химик из Владивостока, парень — молодой геолог, и этот, лобастый, с загорелым лицом, что в тамбуре стоял.

Ходили втроем обедать, играли в карты, истории разные вспоминали. Четвертый только в стороне. Не разговаривает. Одно у него на языке: «да», «нет», «не знаю», «извините». Ну и шут с тобой. Скучай, раз нравится. Но как-то в купе, вечером, молчуна прорвало.

Играли в «подкидного». Втроем. Анекдоты разные под хохот выдавали. Все про жен — есть такие. Кто как себя в каких случаях ведет: француженка, англичанка, немка, русская. Весело. По анекдотам русская жена уж больно забавно выходила. На ней самокритичные эти анекдоты строились. И вдруг свешиваются с верхней полки ноги загорелого, спускается он вниз и подсаживается.

— Извините, — говорит, — я долго молчал. Но если уж заговорил, то только потому, что задевают меня ваши анекдоты. Сам я француз (вон оно что! То-то у него речь была не совсем русская) и живу в Марселе.

Стал объяснять, что действует он по торговой части, в общем, коммерсант или шишка торговая какая-то. Но дело не в этом. Помолчал француз, сигарету прикурил и продолжает:

— Извините, но, как мне знакомо, так русские женщины — лучшие в мире. Видите ли, моя жена, Ольвина, русская. Но, извините, к ней ни один из анекдотов ваших не подходит. Добрая, умная, честная.

Женщина-химик, чтобы как-то замять паузу, говорит ему:

— Где же, если не секрет, вам удалось познакомиться с русской?

— О, это долгая и неинтересная история. Война была... Но я могу, если вам интересно, показать мою семью.

С фотографии, рядом с французом и двумя галчатами-пацанами, неуловимо улыбалась Ольга.

Взял я портрет, а пальцы не гнутся.

Ночью не мог спать, вертелся-вертелся — вижу: и француз не спит, сигаретой посвечивает. Шепотом:

— Скажите, пожалуйста, а вам Ольга никогда не рассказывала о парне из Тикси? Из Арктики, значит.

Спросил я у француза, а у самого в сердце крутанулось что-то. Колко, как иглой. И жарко стало. Француз приподнялся на локте, длинно-длинно посмотрел на меня и спокойно, твердо ответил.

— Рассказывала, Николай Николаевич. У нее даже фотография ваша хранится. И до сих пор вспоминает о Тикси Ольвина.

— Где же вы с ней?..

— Война, госпиталь, концлагерь. Вот и все. Извините. И позвольте мне, месье Котырев, о нашей чрезвычайной встрече Ольвине не рассказывать. Дети у нас, зачем...

Согласился я. И глупо, не нужно совсем, спросил:

— А вы что же? Надолго к нам, в СССР?

— Нет. Я сейчас в Москву. И сразу же на родину. В Пекине получил сообщение от друзей. Мой дом в Марселе... взорвали оасовцы...

— Вот и все, — Коля-Коля поднялся с крылечка.

— Подожди, — остановил его Василий 1, — а дальше что?

— Не знаю... Да, наверное, и не узнаю...

— Надо же! — тихо вздохнул Толик Федков...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

После дождя болото походило на маленький, зарастающий тиной пруд. Кочки спрятались под водой, но неглубоко, и потому зеленые полосы отчетливо просвечивались солнцем. Сварщики негромко поругивались, накачивая на берегу автомобильные шины. Коля-Коля сидел здесь же, курил и приговаривал:

— Переправа, переправа. Берег левый, берег правый...

Сварщики спустили шины на воду, подвели их под трубы, улеглись, время от времени болтая в воде ногами, чтобы шины не уносило из-под шва. Когда кто-нибудь из них вставал, Илья не мог удержаться от смеха: телячья роба, намокнув на интересном месте, отвисала тяжелым курдюком. Сварщики хохотали тоже, громогласно обхлапывали друг друга и снова лезли под трубу.

— До чего люди посмеяться любят. А? Хоть над другими и хоть над собой... Чудаки...

Коля-Коля свертывал новую папиросу.

— Ты меня, что ли, спрашиваешь? — поинтересовался Илья...

— Нет. Так... Рассуждаю сижу...

Илья заметил, что в последние дни с Колей-Колей происходят странные вещи. Он говорил какими-то малозначащими фразами, понятными только ему, и все раздумывал, раздумывал...

— Коля-Коля, рассказал бы чего, что ли? А то комары!.. Просто невозможно сидеть.

— Я уже все рассказал, теперь и подумать время...

Коля-Коля растянулся на берегу, окутался махорочным туманом. Потом хлопнул себя по шее и мгновенно вскочил. Илья захохотал: видимо, парочка табачных угольков скатилась-таки Коле-Коле за шиворот. Он подергал за воротник и пошел, плюнув в сторону Ильи, потому что тот никак не мог остановить смех.

— Коля-Коля... Да... А... А... Ты не сердись, — закатывался Илья, — это смешинка в рот попала. — От этой глупой фразы Илье стало еще смешнее...

А Коля-Коля, зайдя в соснячок, снова улегся на траву. Действительно, его поведение смеха достойно. И поменьше пацаны скоро начнут хохотать. Как барсук ходит, шуточки да намеки, походя, ловит. Он вспомнил радостные Лушкины глаза, ее изъеденные мыльной водой пальцы, гладившие синеватую выпуклость только что сваренного шва. Вспомнил и улыбнулся. Он тогда погладил ее по плечу, и она не отстранила, не нахмурилась. Вот тебе и типичная история: производственная любовь. Коля-Коля снова улыбнулся.

Но почему, почему она его так странно и тревожно спросила в тот вечер:

— Николай Николаич, ты чего всегда отшучиваешься от людей? Ровно боишься?

— Дурного глаза боюсь, Луша...

— Вот опять шутишь...

— Какая же наша жизнь без шутки.

— У тебя никогда не поймешь: серьезно ты живешь или нет?

— Кто его знает...

— Устал ты, что ли, Николай Николаич?

— С чего ты взяла?

— А чего ж со всеми соглашаешься? И тот прав, и этот?

— Твой вопрос, Луша, называется гражданской совестью.

— А! — с досадой отмахнулась Лушка.

М-да... Интересно Лушка разговор повернула...

...Илью окликнули.. Высокий, с тяжелым подбородком и мощными крыльями-морщинами у носа, дядя стоял на берегу. Он снова спросил:

— Где мне тут «пиловца» найти? Говорят, на трассе да на трассе...

— Я — пиловец...

— Ух ты! Давай знакомиться. Игнат Федорович Мингов.

— Илья Храмов, — растерянно пробормотал Илья. Так вот он — Мингов-то. Трестовский парторг. О нем Илья слышал часто и подробно. Прямо-таки живая легенда. Он и сварщика, вспыхнувшего от бензина, грудью тушил и сына своего на трассе при лесном пожаре потерял, он мог и на трубоукладчике, и мотористом, и сварщиком работать... Он... Все это Илья не раз слышал. Но из всех рассказов о Мингове его больше всего поражал тот, по которому выходило, будто Мингов проходит всю трассу пешком, от первого пикета до конечного.

— Всю-всю? — удивлялся Илья.

Всю. Идет по трубе, стыки считает. Летом разумшись топает, зимой чуть валенком приволакивает, чтоб стык под снегом не пропустить. Э-э... Это он здорово придумал... — многозначительно вздыхали рассказчики.

— Да почему? — допытывался Илья.

— А как ты думал: интересно два раза жизнь свою пройти? Любой, брат, согласится. Вот Мингов и идет еще раз по готовой трубе... Переживает все заново. Беды и победы, как говорится...

...И этот самый Мингов стоял сейчас над Ильей и гудел:

— Здорово, Храмов, здорово... Говорят, стенными газетами ты здесь заведуешь. Заметку принес...

Илья поднялся, краснея. Уже знает про «Молнию». Издевается.

— Я попрошу вас в свободное от работы время занести...

— Так, меня, так. Ладно, это длинный разговор. А заметку я тебе, действительно, напишу.

Мингов доверительно взял Илью за локоть. Тот вежливо отстранился: зачем, мол, фамильярничать-то перед разносом. Мингов улыбнулся — понял:

— Да это у меня привычка такая. Чего ты? Чтоб поближе с человеком поговорить. Не нравится, не буду... А знаешь, какую заметку хочу написать? С Газли — Урал сейчас вернулся. Там такие парни, такие парни! Ну, не нарадуешься!.. Жарища, всякие самумы, трактора прямо-таки горят, а парни с улыбочкой, с песней все равно свою нитку гнут.

Мальчишеское восхищение, с которым говорил Мингов, сначала не понравилось Илье: искусственная бодрость, привык всегда бодриться. Он холодно сказал Мингову:

— Парни как парни. У нас вон тоже по болоту плавают. Через тайгу идут. Тоже ничего... Веселые парни...

— А я разве что-нибудь говорю. Конечно, ты прав! Но я еще не остыл от Каракумов. Можешь ты это понять?

— Я все могу...

— Да-а... Листовку — ты замечательную сочинил. Как подпольщик ночью вывесил...

— Я же подписался...

— В общем-то хулиганский автограф. А?

— Не так резко, но глупость...

— Так, хорошо... Это уже мужские слова, Храмов. Если хочешь, больше не будем этой темы касаться. Хочешь?

— Да.

— А газету мы с тобой все-таки выпустим. Хочешь?

— Посмотрим. Я по натуре-то не активист.

— Это ты ерунду говоришь. Сейчас все активисты.

Илья неопределенно пожал плечами. Откровенно говоря, ему нравился Мингов. Совсем не знает Илью, а говорит, будто давно-давно знает.

— А правда, что вы всю трассу пешком прошли?

Мингов вздохнул.

— Правда. В это лето только не ходил. Некогда и некогда. Вот уж от вас обязательно пешком уйду. Опрессовку проведем, и сразу пошагаю.

И Мингов с какой-то особенной, по-детски доверчивой и радостной улыбкой стал рассказывать Илье, как в прошлом мае он почти четыре дня шел по трассе вместе с лосенком. Куда девалась лосиха, Мингов недоумевал до сих пор. Лосенок, видимо, очень испугался одиночества, и, если Мингов останавливался, тот виновато подходил и терся



о сапог: извини, мол, что так мешаю. Мингов угощал его хлебом и сахаром, а лосенок лизал руки и семенил рядом, маленький, длинноухий...

— А на нас с Лотомовым тоже рысь нападала, — чересчур громко вставил Илья и смутился. И даже не столько оттого, что неловко перебил Мингова, сколько от стыдливого сознания: он, взрослый человек, так увлекся минговским рассказом, так осязаемо представил лосенка, что, как мальчишка, захотел выразить восхищение и немедленно поделиться своим крохотным таежным опытом. Поделиться от великого желания стать соучастником такой прекрасной истории. И у меня, мол, тоже всякое случалось. Вот я какой интересный, — багровел Илья. Он мгновенно вспотел, вдруг почувствовал, какая у него неудобная и тяжелая куртка. Просто невыносимо, до чего иногда плохо бывает человеку!

А Мингов даже и не обиделся. Снова взял Илью под руку:

— Кстати, а как вы с Лотомовым живете?

— Хорошо.

— Да? — заинтересованно протянул Мингов. — А я думал, что придется вмешивать не только из-за опрессовки...

— Напрасно.

— Ясно, ясно... Ладно, Храмов Увидимся в три, в конторе...

Илья нахмурился обиженно и разочарованно. Мингов же улыбался:

— Все-таки последняя планерка перед опрессовкой. Как думаешь, сведем концы с концами?...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Часа в два Илья решил побриться: знает он эти шуточки. Готовится самый типичный разнос, а про планерку пусть говорят мальчишкам. Он побреется, будет подтянутым, строгим и не позволит никому, даже Мингову, никаких вольностей. Достоинство и еще раз достоинство. Он заранее начал придумывать обвинительные вопросы и свои, гордые и сдержанные ответы.

За этим занятием его застал Василий 1.

— После тебя побреюсь, ладно? — спросил он,—а то на этих захлестах без продыху трое суток варили... А я опасной предпочитаю. Да уж затевать самому больно неохота...

— Все кончили?

— Все. По нулям разделались. Ты завтра обязательно съезди, посмотри. Землеройщики нас почти догнали. Мы уходили, они уже под захлестами начали траншею рыть. Не забудь, посмотри...

— А ты чего так волнуешься. Знаменитости должны скрывать свои чувства...

— Нет, без хохмы, Илья. По-моему, у одной трубы стенки на концах поистерты...

— Я же говорил Лотомову, что буду браковать такие трубы. Кто же их волоком тащит?

— Да отменил Лотомов волок. Мне просто кажется... Мыло с уха сотри.

— Ладно. Ты брейся, а я побежал...

В конторе были открыты и дверь, и окна, с шелестом вихрился настольный вентилятор, но табачного дыма от этих кардинальных мер не убавлялось. Курили все: мрачно нахохлившийся Карамов, пожелтевший, казалось, еще больше после последней встречи; Коля-Коля, устало сидевший у самого вентилятора и щурившийся на его вихрь; Лотомов перекатывал в пальцах папиросу и даже не взглянул на вошедшего Илью. Мингов листал «Экспресс-информацию», спокойно и глубоко затягиваясь.

У Ильи защипало в глазах от дыма, но, усевшись, он тоже закурил. Помолчали минуты две. «Чего же не начинают?» — удивился Илья.

— Вот и комсорг прибыл. Теперь разговор будет стоящий, — чуть иронически усмехнулся Мингов и встал, чтобы пожать Толику Федкову руку. Толик был явно не в своей тарелке от такого количества начальства и от того усмешливого внимания, которым встретил его Мингов.

— Да там трубоукладчик забарахлил. Помог парням и сюда двинул, — густо и тяжело оправдывался Толик.

— По этому случаю начнем с богом, — Мингов придавил папиросу в голубенькой пластмассовой пепельнице. — Я думаю, лучше всего нам сначала выслушать заказчика. Так сказать, сразу поставим дело на критическую основу.

Карамов покривил губы: означало, улыбнулся...

— Собственно, опрессовку проводить можно. Но должен сказать вам, Игнат Федорович, как представителю руководства подрядной организации: очень халатно здесь дело поставлено. Постоянные отклонения от проекта, сварка мне тоже не всегда нравится. И, нелицеприятно говоря, мы — заказчики — недовольны.

«Началось», — с тоской подумал Илья. И все-таки дальнейший ход событий он никак не предвидел. У Коли-Коли странно задергалась щека, он поднялся и отчетливо, с нажимом заговорил:

— До каких пор вы, товарищ Карамов, будете личные капризы выдавать за мнение заказчика? До каких пор, я спрашиваю, качество нашей работы будет определяться уровнем вашего настроения? Несколько фактов. Никто не будет отрицать, что переход оврага было бы лучше сделать перекидом. Это очевидно. Вы заупрямились. Мы простояли неделю, потом вы все-таки согласились. Как это назвать? Или ваши постоянные придирки к сварке. Готов заключить любое пари: все они необоснованны. Просто вы, товарищ Карамов, держитесь за дурную традицию. Раз, мол, заказчик, то хочу — убью, хочу — помилую. Если хотите, из-за вашего ослиного упрямства трасса будет построена на год позже...

«Вот последнее он напрасно», — мелькнуло у удивленного, ошеломленного непонятным поведением Коли-Коли Ильи. Карамов нервно поправлял галстук и пытался перебить прораба. Но Коля-Коля решил, видимо, сегодня высказать все, что он думал:

— Я еще не закончил. Мне кажется, что и Дмитрий Никифорович сильно виноват в нездоровых отношениях между нами и заказчиком. Ему давно пора было поставить в известность трест. Более принципиально решать вопросы здесь, на месте.

Коля-Коля сел, но трудно остановиться, когда хочешь высказаться до конца:

— А не поднимать бурю в стакане воды из-за пустяков. И метать молнии на «Молнии»...

Ох, как неудобно! Илья опустил глаза, чтобы не видеть ни Лотомова, ни Коли-Коли. Ну разве можно так нетактично?

От сдержанной уверенности, с которой Илья шел на планерку, ничего не осталось.

Коля-Коля просыпал табак, потому что дрожали руки. Он ни на кого не смотрел.

Мингов тоже не торопился заговаривать. Заметил на подоконнике флакон «Шипра»:

— Ха! У вас что тут, по совместительству парикмахерская функционирует?

Лотомов откашлялся:

— Это я после бритья. Как перешел жить в контору, так все чего-нибудь личное на подоконнике забываю...

Он быстро метнул взгляд на Илью и тут же отвернулся. Мингов заметил этот взгляд и сидел теперь, о чем-то задумавшись, раскручивая и закручивая пробку на флаконе. Снова все молчали. Толик оглушительно чихнул, пробубнил смущенно:

— Простыл, понимаешь, на днях...

Мингов будто обрадовался, что Толик заговорил:

— Да, мы тут с Храмовым говорили. Стенгазету неплохо было бы выпустить. Все-таки опрессовка — дело серьезное, со всей ответственностью к нему надо подойти. Приободрить, дух поднять у парней... Как ты?

— Поддерживаю, поддерживаю.

— Прекрасно. А еще бы было здорово, если бы ты сам поговорил с ребятами, а?

— Можно. Подумаю...

— Еще раз прекрасно. Пожалуйста, подумай... А скажи, Толя, не задумываясь: что твои комсомольцы сделали за этот месяц?

— Десяток километров труб уложили...

— Нет-нет, я тебя не об этом спрашиваю. Что они собрания проводили, лекции слушали, в волейбол играли? Ну, что?

— Играли. В волейбол играли. Вот «На дне» собираемся показать. Илья вон «Молнию» выпустил...

— Ты смотри-ка, кстати вспомнил. А сам-то в пьесе участвуешь? И кого же показывать будешь? Ух ты, Сатина! Это хорошо...

Больше Мингов не отвлекался. Обсудили в деталях предстоящую опрессовку, наметили людей, которых надо было выставить в заграждение. Потом Мингов рассказывал о новом методе сварки, примененном на газопроводе Газли — Урал...

Илья особенно не вникал в этот разговор. Велся он чересчур оживленно, потому что все обрадовались возможности как-то заглушить горький осадок, оставшийся поле Коли-Колиной речи. Илья не мог дождться конца планерки, чтобы в лоб спроситьıрораба насчет нарушения нейтралитета.

Под конец рассмешил Толик Федков. Он безучастно молчал-молчал. И друг выпалил:

— Игнат Федорович, вот вагончики надо радиофицировать. Радиогазету каждый вечер начнем выдавать...

— Предложение очень своевременное. Но, если говорить серьезно, идея стоящая. Действуй, Толя. Как это там: «Человек — это звучит...»

Коля-Коля увернулся-таки от разговора. Илья не успел опомниться, когда тот уже ушел. Ушел и Карамов, ни с кем не прощаясь. Толик предложил Илье партию в шахматы, но Мингов попросил:

— Идите лучше на свежий вздух. Нам с Дмитрием Никифоровичем погворить надо. Идите, идите...

Уж, конечно, никогда не узнешь, о чем разговор пойдет. Илья оглянулс. Окна в конторе были закрыты, только впроеме двери, как в аквариуме, плавала голубая от солнца пыль.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЯ

За двенадцать часов Лотомов искурил две пачки «Беломора». За двенадцать часов у Мингова почернели от щетины щеки. За двенадцать часов Коля-Коля вместе с Ильей наездили вдоль опробываемого участка добрую сотню километров.

.... Телефонограммы... Давлние... Трубы... Пикеты...

Пока продувка шла нормальо.

Вот уже целых двенадцать часов подряд.

Еще столько же, и — тогда спадет напряжение, улягутся нервы и можно будет пожать друг другу руки. Все тогда останется позади.

— Чем исчисляется время? Зительно неспешное, человеческое время. Ожиданием? Нетерпением? Неизвестностью?

Илья как-то отрывочно думал об этом, облетая на своей «радиоактивной» машине заглушки, где на ватсонах манометры держали давление на заветных цифрах

— Время исчисляется давлнием. Вот чем. Ослабнет оно, и начнет падать пульс. Только бы удержалось давление.

Коля-Коля думал о другом.

— Тридцать километров тубы. Еще тридцать километров жизни. Километров, до вмятинки знакомых, родных... Он не могут

подвести. Иначе зачем же прожиты эти тридцать километров?

Курит Лотомов. Обрастает щетиной Мингов. Желтый Карамов зудит и зудит в телефон.

Двенадцать часов... Остается еще столько же...

...А в Сиреневой пади бродят сиреневые сумерки. Бродят очень тихо. Слышны только редкие крики — ребята работают в ограждении, да когда они молчат, слышно, как поет в трубе давление.

Сейчас труба живет. Сейчас ее проверяет воздух. Воздух сейчас хозяин.

— Я тебе так скажу, Толик,—Василий II сидит у костра и философствует, —вот ты обзавелся мотоциклом. А зачем он тебе? Закончим провод и придем в большой город. Мне так кажется, что придем мы в него обязательно утром.

— Почему это утром? — Толик Федков спрашивает просто так, лишь бы поддерживать разговор.

— А потому что утром это хорошо. Но дело не в этом. И вот, значит, входим мы в город утром. Солнце играет на Гришкиной лысине. Дворники приветствуют нас метлами. Идем мы все по городу. Тихо так. По сторонам озираемся. Люди еще спят. А ты врываешься в улицу на своем стреляющем черте... Сознательно это? Нет. Так зачем тебе, спрашивается, мотоцикл?

Толик Федков молча ухмыляется.

— А для того, чтобы вот сейчас, ну, не сейчас, а еще через час оставить вас здесь одних, а самому на часок смотаться на станцию. Потом вернусь. Вы за меня покараулите здесь трубу.

— А на станции что?

— Надо, надо мне, Вася. Договорился я, понимаешь. Сегодня в час ночи меня там ждать будут. Диспетчером она там. Понял?

— Я-то понял. А как же ограждение? Вдруг что?

— Да кого в такую поздань понесет на трубу? Мыши и те дрыхнут. А я мигом...

...— Под Будапештом это было, — Лотомов крупно расшагивает по вагончику. — Врываемся мы в городок. Сразу в дом. КП организую. Пальба. Ночь, как сейчас. Дело прошлое, я с автоматчиком в подвал спускаюсь, первым. По надобности. Только дверь открываю — сразу свет, и женщина на меня с пистолетом. В шубке такой модненькой. Как я успел ей под ноги. Черт его знает. Бах! Бах! Поймал ее за руки. Теплые такие. Пистолетик отобрал. Наверх. Кто такая? Красивая баба, а глаза так и стреляют. Вот-вот убьет. Оказалась графиней. Прелестная была бы у меня смерть — от графской руки. С тех пор весьма ненавижу графов всяких...

Мингов устало улыбается. Карамов тоже показывает редкие зубы.

...Телефонограммы... Давление... Труба... Пикеты...

Еще прошло около часа...

... — Ты, Толик, скорей возвращайся. Может влететь. Наверняка скоро Храмов с Колей-Колей подъедут. И в объезд езжай. Не вздумай по трубе.

Федков возится у костра с мотоциклом. Заводит.

— Я скоро, Вася. Не волнуйся. Мигом.

Бродят по Сиреневой пади сиреневые сумерки. Костер. И слышно, как поет в трубе давление.

— Николай Николаевич, — пока Мишка доливает в закипевший радиатор воду, Илья пытается отвлечь и себя, и прораба от трассы, — извините меня, пожалуйста, а у вас когда-нибудь была любимая женщина? Я ведь совсем мало что о вас знаю.

Коля-Коля медленно поднимает голову.

— С чего ты сейчас-то, Храмов? Впрочем... Когда-нибудь была. Может, и еще будет... Как, исчерпывающий ответ?... Вот что, Храмов. Поехали-ка в Сиреневую падь. Там были захлесты. Посмотрим...

...Если ехать в объезд, через мост, все равно за час до станции не добраться.

Толик гнал мотоцикл по Сиреневой пади. Если же забрать сходу вправо, перескочить через трубу, тогда успеть можно.

А Наташка сказала: опоздаешь — ждать не буду. Уйду.

Толик колебался. Потом...

Когда в трубе хозяйничает многоатмосферное давление, с трубой нужно быть очень и очень осторожным. Толик все знал. И переводил он через трубу свой «Ковровец» очень и очень осторожно. И, если бы не огромная белая звезда, вдруг сорвавшаяся с неба прямо над ним, все, может быть, было бы хорошо.

Но звезда рванулась к земле, и Толик, завороженный ее стремительным полетом, поскользнулся. На миг он потерял равновесие и... тяжело уронил на сырую землю мотоцикл...

Тугое эхо катилось по степи. Догорал в степи мотоцикл. Неслись по степи машины. Неслись в штаб телефонограммы.

— Остановить насосы... Прекратить подачу воздуха.

А в разорванной взрывом трубе ревел ураган.

Первым к месту взрыва примчался «пиловский» грузовик. Первым к горящему Федкову подбежал Илья. Он упал на него, стараясь сбить пламя. Начинало светать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Трасса столпилась возле медпунктовского вагончика. Все ждали. Вышел из него Лотомов. Зло покосился на всех, отмахнулся и уехал.

Вышли из вагончика Мингов, Коля-Коля и Маша. Маша сказала:

— Нужно срочно в больницу. Нужна кровь и кожа.

И сразу же кинулся на крыльцо Илья.

— Возьмите мою! Только мою! Сколько надо возьмите. И кровь, и кожу.

Василий II молча рванул его за руку.

— Не ори! Почему это твою? Рабочая дубленей...

Маша, как-то безнадежно откинув прядь со лба, попыталась успокоить:

— Сейчас ему нужно срочно в больницу. Только там можно все сделать. Только там...

А Илья, как в бреду, просил и просил:

— Возьмите у меня! У меня!

Он кричал и видел внимательные, недоумевающие глаза Коли-Коли...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Однажды в детстве у Ильи был очень несчастливый день. Учился он тогда во втором или третьем классе. Несчастья свалились враз. Мама сшила ему заветную черную шинель с настоящими морскими пуговицами, которые Илья выпросил у квартиранта дяди Васи. В тот день, перелезая через школьный забор (так надо было), он зацепился за гвоздь, и превосходная шинель потеряла половину своих превосходных качеств (с таким холодным юмором Илья вспоминал эту историю после, а тогда он был просто в ужасе).

Расстроенному до бесконечности Илье терять было нечего, и он поддался на уговоры Вовки Сумзина: залезть в Вовкин огород за огурцами. Вовка приводил два существенных доказательства в пользу этого акта: во-первых, его мать никогда не давала ему огурцов досыта — все уносила на базар, а во-вторых, в собственный огород залезть гораздо легче: знаешь все ходы и выходы.

Это был очень несчастливый день, а поэтому Вовкина мать накрыла их. Она с причитаниями отлупила Вовку, а печальному Илье сказала, что сегодня вечером обо всем будет знать его мать.

Тогда он решил никогда не возвращаться домой, и пусть все будут с тяжелыми вздохами вспоминать, какой это был чудесный, скромный, послушный мальчик. Он раздразнил себя этими горькими мыслями до слез и захотел посмотреть на впечатление, которое произведет его долгое отсутствие.

Он встал в сенцах за открытой в кухню дверью, и ему было очень жалко себя, потому что на кухне шли обычные, вечерние разговоры за чаем и слышался совсем веселый мамин голос, рассказывавший о новых кознях Ивана Гаврилыча, маминого сослуживца.

А Илья стоял в сенцах и желал только одного: чтобы этот день начался снова, и уж тогда-то он обязательно бы не стал перелезать через забор и воровать огурцы. И он бы сейчас не стоял вот так, очень голодный. А сидел бы на кухне и пил бы чай с вкусными ватрушками.

Впоследствии Илья много раз чувствовал себя маленьким мальчиком в сенцах, которому мучительно хотелось начать все сначала. Когда его выгнали с экзамена из-за шпаргалки, и он не представлял, как скажет матери, что остался без стипендии. Когда он окончательно запутался в мелких и крупных бедах перед уходом из института... Когда...

Какое ему дело до тех «когда»! Важно, что сейчас, сегодня, он отдал бы полжизни, чтобы начать сегодняшний день сначала.

— Не психуй, идиот ты последний! — кричал себе Илья, молча расхаживая по вагончику. В зеркале мелькала испуганная из-за тревожных глаз физиономия. Илья нарочно остановился у зеркала и скорчил гнусную-прегнусную рожу, потому что было интересно, будет ли он противен себе более, чем сейчас. Зрелище получилось отвратительным. «Любое благородное лицо может быть лицом мерзавца», — заключил Илья и облегченно подумал: хорошо, что никто не видит.

«Что будет, что будет?» — закружил он снова по вагончику. Какие страшные лица у людей, когда у них исчезают брови, и лоб, словно облитый жидкой медью, глянцевеет болью от ожога. После взрыва Толик успел еще приподняться и с закрытыми глазами обезумевше крикнуть:

— Не подходи, не подходи-и!..

Илья застывше посмотрел на медновато-пунцовую безликость, называвшуюся раньше Толиком Федковым, и с ужасом понял: взорвались непроверенные стыки, которые он был обязан просветить вчера.

— Толик, прости меня! — и тут же другой, немой вопль. — Но я же не нарочно, я просто забыл...

Илья сразу же ушел к себе в вагончик.

Что будет, что будет? Он представил себе ставшее жестким и безжалостным лицо Мингова:

— Забыл, говоришь? А кто должен помнить? Кто получает за это деньги? Кому верят? Где твое мужество, Храмов? Забыл, черт тебя подери!

Но он же не виноват. Виновато заграждение, пропустившее Толика. Да, заграждение-то ответит. А что ответит он, Илья Храмов? Только под суд — надо смотреть правде в глаза.

Боже мой, скорее бы это прошло. Он все сделал бы тогда, чтобы искупить вину. Никогда больше бы этого не повторилось. Вот честно. Но ведь знают же, знают, что он может работать. Только бы скорее прошло.

«Успокойся... Ну, подумай трезво. Ты не виноват. Как ты не понимаешь этого? Виновато только заграждение.

Но я ж должен был проверить! Но ты же не нарочно, а забыл. Выйди к стеллажу и просвети любую трубу с нормальными швами, если тебе мало аргументов... Но это же обман! Не сметь! Но ведь ты боишься? Боюсь!» — Илья вытер холодный пот...

Поздно ночью Илья просветил трубу на стеллаже, прекрасно сваренную, просушил пленку и запечатал в конверт. Все. Обессиленный подошел к зеркалу. Похудевшее, бледное лицо показалось чужим, как маска.

Он уже не мог думать и метаться в такт этим неравным думам по вагону. Не раздеваясь, лег на рундук. Курил и курил.

Потом резко приподнялся. Ну конечно же! Пройдет какое-то время, и он признается Маше. И как она ему скажет, так он и сделает. Он не испугается этого прямого разговора, и он не снимает с себя вины. Только пусть все случится чуточку позднее...

Слабо улыбнулся: что ж, пока он сам себе судья... Ах, зачем он затевал тогда, на трассе, разговор с Лотомовым...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

При всем желании кровь свою Храмов не смог отдать Федкову. Не подошла по группе. А кожа Толику не понадобилась — как уж ни хотел поделиться с другом своей дубленой Василий I, врачи сказали, что постараются поднять трассовика на ноги иными средствами.

Во всяком случае, когда на трассу пришла из области газета, парни удивились — откуда все стало известно корреспондентам.

Очерк назывался «Сердца бьются рядом». Вот как в нем писалось об Илье Храмове:

«...Парню всего 23 года. В видавшей виды тужурке, с чистым, совсем мальчишеским лицом и густой вздыбленной шевелюрой — таким я увидел его первый раз. Земля густела от трав, звенела под ветром — Илья стоял на крутой стороне оврага. Подставляя лицо ветру, ловил его губами и что-то шептал, улыбаясь. И никогда бы не подумал я, что Илья, этот совсем еще мальчишка, — единственно правомочный, кто отвечает за качество сварки на трассе. По трубам пойдет нефть, и только он, Илья Храмов, будет отвечать, если трубы не выдержат...»

В этом месте — Илья читал газету один, у себя в вагончике — ему стало вдруг невыносимо душно.

Писалось в очерке и о трех Василиях, о их готовности помочь другу, если даже по его вине произошел разрыв трубы.

Илья немного даже обрадовался. Но снова резанули по душе слова концовки. Очерк заканчивался так:

«...А еще я подумал, что бремя ответственности — привычная ноша для нашей юности. Она не мыслит без нее жизни, потому что все великие дела, совершаемые юностью, — это искренне сознаваемая ответственность перед народом, перед землей, на которой живешь, перед самим собой...»

Он ощущал гадливенькую (понимал Илья это) потребность как-то вывернуться. Вот если бы можно так объяснить происходящее внутри него другим, чтобы они поняли его. Поняли и не осудили. Сказали бы, что достаточно того, что он честен внутренне. Мол, это — самое главное...

...Маша только что вымыла голову, и белизна косынки еще сильнее подчеркивала летнюю смуглость ее лица.

— Заходи, Илюша. Заходи. Я сейчас.

Илья слышал, сидя в вагончике, как Маша сливала в ведро воду, гремела тазом.

В который раз он поймал себя на мысли, что завидует Косте. Завидовал даже фотографии, с которой тот улыбался.

— Читал, Илья, газету? Ты в ней прямо герой. Толика жалко...

— А меня не жалко?

— Как это? За что?

Маша ласково улыбнулась.

— Значит, Маша, ты считаешь меня хорошим?

— Не понимаю, Илья. А за что я должна считать тебя плохим?

— Нет, вообще...

Маша внимательно-внимательно посмотрела на него.

— Ты, Илья, по-моему все время где-то сам с собой. Внутри. Что-то копаешься...

— Разве это плохо?

— Плохо. Ну зачем ты вот сейчас проверяешь себя на других? Прикидываешь, хуже или нет? Сколько тебе лет? Ты мне кажешься то очень старым, то очень...

— Понимаешь, Маша, мне сейчас очень тяжело. Если бы ты была моей мамой, я бы просто уткнулся тебе в колени и поплакал.

— Вот уж было бы смешно. Прости, но Костя так бы не сделал.

— Ну что ты мне все Костя да Костя!— Илья сорвался и тут же понял, что совершил ошибку.

— Как это Костя?— Маша даже привстала. — Да я... я тебя просто... не понимаю... И знаешь что... Илья, ты... Хватит. Говори, что ты хочешь сказать, только не крути. Не могу я тебя успокаивать... Я очень, очень устала...

С фотографии на Машиной тумбочке улыбался Костя. Так он всегда улыбался в детстве, перед тем, как собирался подраться. Почему-то это вдруг явственно и четко вспомнилось Илье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Когда-то Илья ездил к тетке, которая жила под Оренбургом. Лето было до того жарким, что он все время удивлялся, как деревушка еще не вспыхнула и не сгорела дотла. И в такую-то жару Илья умудрился простыть и заболеть ангиной. Он никому не сказал об этом и по-прежнему валялся целыми днями у речушки. И странное дело, пока его до багрового тумана в глазах жгло солнце, он чувствовал, что глотать не больно. Но стоило только подняться и немного пройти, как горло снова сдавливали спазмы.

После случая с Толиком Федковым испытывал нечто подобное. Острая боязнь ответственности и постоянно мучившая его невысказанность иногда притуплялись, и тогда Илья мог спокойно разговаривать и спокойно спать.

Но стоило подойти к окну и увидеть на стеллаже эту проклятую трубу (прекрасно, удивительно сваренную), и снова всплывала позорная, гадкая ночь, в которую он совершил подлость.

Да, он совершил подлость. Это самое точное слово, а, может быть, даже чересчур мягкое. Так почему же ты не пойдешь и не скажешь об этом?

Вялое, тягучее безразличие охватывало Илью. Маша сказала ему: «Какой ты тяжелый человек, Илья. Мне тяжело с тобой. Чего ты хочешь? Все говоришь, говоришь... Ну что ты хочешь сказать? Не могу, даже голова болит — так тяжело с тобой...»

Неужели трудно пойти и все рассказать? Сбросить эту тяжесть, и будь что будет. Но ты чего-то медлишь, медлишь. Бог с ним, тюрьма так тюрьма, только бы никто не знал.

Ах, вот что! Ты не хочешь, чтобы Васили сказали: «Подонок», Толик Федков, выжив, не проклинал бы тебя за изуродованное лицо, а Лотомов не вспоминал бы после: «Оказался подлецом».

Этого ты не хочешь?

Тогда молчи, молчи... Сегодня ты встретил Машу, она поздоровалась с тобой и даже улыбнулась. И она еще не все знает. А если узнает, может сказать: «Ненавижу...»

Тогда молчи, молчи...

— Илья! Выйди-ка...

У крыльца стояли три Василия. Они торжествующе ухмылялись, и носы их прямо-таки лучились радостью.

«Только этого мне не хватало, разговаривать с пьяными»,—безнадежно поморщился Илья. Василий II достал удивительно чистый платок, горделиво солидно промокнул им лоб, чуть приплющил свой выдающийся нос и, аккуратно сложив платок, снова спрятал в карман. Илья нехотя улыбнулся: «Вот это и называется личной гигиеной», но тут же оторопело попятился назад, потому что Василий III вдруг покачнулся и, отчаянно тряся головой, споткнулся и едва удержался за ступеньки вагончика. Опираясь на них, он с трудом выжался и, задрав лицо, закатил глаза, прохрипел:

— Илья! Держи меня...

Илья быстро наклонился, чтобы поддержать его, но тут услышал странные булькающие звуки. Василий I зажимал себе рот и мучительно краснел, будто подавился костью. Потом оторвал руку и в изнеможении присел, хохоча во весь свой щербатый рот:

— Держите, держите меня, — закатывался Василий I, — ты думал, что мы под киром, да? Ой, не могу!..

Схватился за живот Василий III, вежливо посмеивался Василий II.

Илья тихо наливался злостью. Идиоты, нашли время смеяться. Он снял очки и исступленно заорал:

— Пошли вон, дураки! — последнее «и» у него вышло отрывистое и тонкое, и получилось, будто он икнул. Три Василия захохотали еще громче. Илья в бешенстве швырнул очки в Василия I, но промахнулся и, смутно различая расплывшиеся, красные от смеха рожи, повернулся и ушел в вагончик.

Почти следом зашли Василии.

— Возьми очки, Илья. Чего ты распсиховался? Ведь узнаешь, почему радуемся, сам запрыгаешь, как кузнечик. Слышишь?

Василий I торжественно произнес:

— Комиссия прислала акт, в котором подтверждает, что в аварии виноват завод. Понимаешь? Нет, ты понимаешь?

Радость свежей, холодной струей обмыла Илью.

— Серьезно?

— Ну, конечно, конечно!..

Илья смотрел на парней задумчиво. «Как все просто. Все-таки жизнь не любит обижать понапрасну. Милые, милые Василии. Вы прекрасные парни», — рассматривал Илья довольные, улыбчивые лица, которые ждали от него ответной улыбки. Вы никогда теперь не назовете меня подонком...

Илья робко, словно нехотя, улыбнулся. Василии протягивали ему руки: что и говорить, а трасса здорово переживала этот случай. Илья пожал руки твердо, крепко, потому что когда ты честен, невозможно иметь слабую руку.

Они молчали, продолжая улыбаться. Уселись в ряд на рундуке и закурили. Илья видел из окна проклятую трубу, лежащую на стеллаже. И он подумал: все-таки я все расскажу. И даже не страшно, что об этом узнают. Пусть, пусть. Теперь особенно понятно, что я честен. Я расскажу завтра. И завтра же трубу увезут на трассу.

Он почувствовал себя очень уверенным, очень сильным. Завтра, завтра, завтра — он будет совсем честным. И это будет прекрасно!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Солнце не жалело тайгу. Дурманило ей голову хмельным настоем трав, морило тяжелым жгучим безветрием, и, когда тайга безвольно, устало затихала, солнце пытало ее огнем. Тело ее покрывалось черными лишаями-палями, и каждый день появлялись все новые и новые красноватые ожоги.

Иногда дым от пожаров приносило на трассу, он нахально лез в глаза и заставлял чихать. Парни в такие дни злились на жару, на пожары, на дым, на Лушку, которую обвинили, что она нарочно кладет в борщ горящие еловые шишки...

Но дым уходил, и парни беззаботно острили:

— Горим, брат, горим...

Лотомову эти шуточки не нравились. Он по нескольку раз в день объезжал пикеты, а вечерами перед сном подолгу сидел на крылечке вагончика, с тревогой посматривая на притаившуюся в глухомани темноту. С досадой морщился, слыша оглушительный хохот парней, собравшихся у столовой...

Вечером Илья собрался на первую на трассе репетицию. Может быть, не случись аварии, парни до сих пор бы не раскачались. Но когда Толика Федкова увезли в больницу, трасса единогласно решила: Толикову идею надо немедленно осуществить. Будем ставить «На дне». И пусть Толик скорее узнает об этом. Трасса великолепно понимала: такого Сатина, как Толик, невозможно найти. Понимала и потому написала в больницу, что репетировать пока будут без Толика, но премьеры без него не состоится. Все были убеждены, что Толику такое решение понравится.

От случившегося днем Илье шагалось легко, думалось ясно. И все время не покидало ощущение, что идет он звонким осенним утром, когда чисто, холодно и далеко слышен звук шагов, и утро ненавязчиво разносит их призывный ритм: лег-ко, лег-ко...

Чтобы репетиция протекала нормально, Гришу Михайлова посадили читать реплики Сатина. Гриша невероятно смущался и невероятно потел. От смущения он прибавил Сатину дурацкое слово «понимаешь», произносимое скороговоркой. Все шикали на Гришу, но он ничего не мог с собой поделать.

Илье тоже доставалось. Уж очень он бесстрастно и невыразительно говорил слова: «У меня были кареты, был выезд... Был, был, был». Илья поправлялся, но без толку. Снова раздумчиво повторял: «У меня были... кареты...» — вздыхал после этого.

Гриша Михайлов забылся и торопливо вставил:

— В карете прошлого, понимаешь, далеко не уедешь...

Посмеяться не успели.

Лотомовский газик заскрипел тормозами, а всем показалось, что вскрикнул испуганный человек.

Лотомов с непонятными черными пятнами на лице выглянул из кабины.

— Скорее! Лес горит. На тридцатом пикете...

Пожар шел со стороны Сиреневой пади не очень широкой полосой. Огонь выплескивался уже на самую просеку и лудил зловещей краснотой сосны на противоположной стороне ее, трубу, успевшую к приезду парней сильно нагреться.

Василий II где-то раздобыл шапку-ушанку, опустил ее козырек на глаза и почти вслепую вел бульдозер. Быстрее вырыть канаву! Бульдозер трясло от нетерпения, у Василия II начала дымиться рубаха с левого бока. Василий громко матерился, видимо, уж очень жгло.

Илья работал вместе с Лотомовым. Его не покидало какое-то спокойное, светлое чувство. Даже когда хрустнул черенок у лопаты, он не разозлился. «Бог с ним, — подумал Илья, — пойду помогу ребятам бревна оттаскивать...»

Вдруг вдогонку испуганно закричал Лотомов:

— Быстрее, Илья, быстрее!..

Илья удивленно оглянулся. Лотомов со странным хрипом подбегал к нему.

— Что, что? — не понимал Илья.

Лотомов схватил его за руку и резко дернул на себя. Илья споткнулся о корягу и упал, потянув за собой Лотомова. Услышал, как со страшным треском что-то приближалось к земле.

«А-а, дерево падает», — догадался Илья и почувствовал мгновенную резкую боль, будто молотом ударили по ноге.

Он не слышал, как Лотомов поднял его и отнес в машину. Он не знал, что пожар потушили, и Коля-Коля, чумазый, с опаленными бровями, втолковывал в машине Грише Михайлову, выставившему за борт, на холодный ветер горевшие от ссадин руки:

— Самодеятельного артиста из тебя никогда не получится. Ты своей скороговоркой опозоришь любые святые слова. Ну кто же так говорит: человек, понимаешь, звучит гордо. Вот повторяй за мной медленно-медленно: Че-ло-век — это зву-чит гор-до! Ну, давай...

Никому не хотелось смеяться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В палате было две койки, две тумбочки с вышитыми салфетками на них, и два черных наушника висело на спинках коек. На одной из них лежал Толик Федков. За толстым слоем марли лихорадочно темнели Толиковы глаза, да до смешного нелепо выделялся на белом заострившийся, словно приклеенный нос.

Илья не понял, узнал ли его Толик, и поэтому, когда санитары уложили на койку и стали прибинтовывать раздробленную ногу к полого установленной доске, Илья громко прошептал:

— Толик, здравствуй. Это я — Илья Храмов... Здравствуй...

Врач строго посмотрел на Илью.

— Нельзя, товарищ Храмов. Ваш Толик еще очень не скоро заговорит. И вы, пожалуйста, не делайте никаких попыток...

Когда из палаты все ушли, Илья снова зашептал:

— Толик... Толик... Как ты?

Толик молчал.

Илья повернул голову, но койку Толика не увидел из-за тумбочки. На салфетке, которая покрывала ее, в самом уголке было вышито: «Работа Светы Соколовой. 4 «А», 39 школа».

«Ага, значит, Света Соколова шефствует над этой палатой. У Светы, конечно, косички, пальцы в чернилах, и она очень любит мороженое. Долго, наверное, шила эту салфетку. Я бы никогда не узнал про Свету, не попади в больницу. А вот она обо мне уже подумала».

Илья представил, как в тысячах школ сейчас маленькие девочки и мальчики вышивают, пилят, строгают. Много, много девочек и мальчиков делают разные вещи для других людей.

«Черт, это все-таки грандиозно», — подумал Илья, и ему вдруг очень захотелось встать. Встать и пойти, и что-то делать, что-то говорить, кому-то улыбаться. И все по-хорошему, по-доброму.

Боже, какие странные мысли лезут в голову. Хотя нет, все правильно: почему бы человеку иногда искренне и глубоко не задуматься над вышитыми словами в углу больничной салфетки? Но, видимо, человек редко задумывается над мелочами. Только когда его отстраняют от других, более важных дел.

Пожалуй, надо бы даже было насильно отстранять его на время от главного, и пусть он находит подтверждение этому главному в мелочах, в штрихах, в вышитых буквах. А что, не плохо бы было...

«Наверное, так и должен думать каждый, лежащий на больничной койке и для собственного развлечения придумывающий всякие сентиментальные теории», — вздохнул Илья и снова окликнул:

— Толик, Толик... Здравствуй. Это я — Илья Храмов...

Толик коротко застонал и опять стих, а

Илья вдруг вспомнил, что где-то, когда-то он краем уха слышал: есть в философии реакционная теория парных случаев, по которой выходит, что человеку уготовано два раза в жизни испытать одинаковое счастье, одинаковое горе, одинаковое разочарование от ошибок.

Применительно к теперешнему его положению это не такая уж глупая штука — теория парных-то случаев. Толик попал в аварию, и только Илья знал, какими прочными узами связаны после нее их судьбы. И вот, пожалуйста, теперь он, Илья, тоже попал в аварию и положили его именно вместе с Толиком... Хотя... Теория парных случаев здесь ни при чем. Просто теперь они квиты. Морально квиты. Ведь никто не может дать гарантию, что Илья не будет хромать... Это хорошо, когда вы с кем-то морально квиты... Илья заснул.

Трудно даже рассказать, какая это тоска — лежать не двигаясь. Ждать только завтраков, обедов, ужинов, процедур и мучительно краснеть, вызывая нянечку:

— Мне бы, мне бы...

Нянечки необычайно догадливы и просто говорят:

— Сейчас, сынок, сейчас...

По нескольку раз в день Илья окликал:

— Толик, Толик...

Толик все молчал и молчал.

Однажды Илье показалось, что Толик ответил.

— Что, что?

Ни слова, и через секунду снова почудился шепот:

— Отстань...

Нет, это ему только почудилось. Толик же не может сейчас говорить. А вдруг он, действительно, сказал: «Отстань». Толик все понимает, все знает и ненавидит Илью. Снова и снова память заворошила события последних недель. Кричал Толик: «Не подходи!», Маша говорила: «Ты очень трудный...»

Что, он бредит, сходит с ума? Нет, лоб абсолютно холодный. Ведь теперь все ясно: виноват завод — поставщик труб.

Но ты все равно собирался рассказать.

Но я не успел. Я же попал в больницу, видите?

— Толик, Толик...

«Нет, наверное, он просто застонал. Да и откуда он может все знать? Ты же молчишь.

Я теперь не боюсь. Я могу рассказать. Просто не успел.

Да, легко рассказывать, когда оправдан со всех сторон. Легко сыграть в искреннее благородство и признаться в грехах, зная заранее, что тебе их отпустят. Епитимьи не будет».

— Толик, Толик... Это я — Илья Храмов. Слышишь?

«Притворяется, что не слышит».

— Толик, прости... Прости...

Илья еще никогда не чувствовал такой беспомощности, такой своей никчемности. Почему он не рассказал все раньше... Нет, так дальше нельзя...

Илья, закусив губы, начал отвязывать толстенное гипсовое бревно-ногу. Он сейчас все скажет Толику.

Его чуть не стошнило от головокружения, а один раз он едва удержался: в темноте промахнулся рукой мимо тумбочки.

Вот и кровать Толика. Горячие, большие глаза смотрят на Илью. Вроде бы улыбаются.

— Толик, прости меня, Толик...

Илья не понимал, о чем он говорит. Всплывали какие-то горячечные, нервные слова. Он торопился выплеснуть в них всю свою боль, всю свою грязь и свои мучения... Но почему так странно блестят глаза Толика?

— Толик, ты все понял, Толик? Ну скажи хоть глазами. Прикрой их...

Что, что? Почему так блестят глаза? Он же в обмороке. Он был в обмороке... Он не слышал...

— А-а-а... Сестра, сестра...

Илья поднялся и бросился к двери... Громадная фантастическая игла впилась ему в мозг.

— А-а-а...

В тот же вечер их положили в разные палаты. У Федкова было шоковое состояние. У Храмова обморок от нервного потрясения и нарушения постельного режима.

...Недели через две приехали парни с трассы навестить Толика и Илью. К Толику их не пустили, а у Ильи разрешили побыть всего полчаса.

Приехал Василий I, Коля-Коля и Гриша Михайлов. Нянечка принесла им табуретки, и они сидели теперь перед Ильей, неестественно выпрямившиеся от смущения перед необычной обстановкой.

Лотомов просил передать персональный привет. Репетиции продолжаются. Гриша Михайлов подает реплики теперь за двоих. За Сатина и за Барона.

— Ну-ка, Гриша, как это у тебя получается?

Гриша добро улыбался и подмигивал Илье.

А от себя парни хотят очень попросить Илью не вешать нос, больше есть и меньше волноваться.

Трасса подходит уже к самому городу, и, наверное, Илья догонит их в очень ответственные минуты.

Да, чуть не забыли. Низко кланяется Лушка. С кухни она ушла и теперь стоит на прихватке. Ничего варит, не хуже, чем щи. Вот Николай Николаевич может подтвердить. Коля-Коля заерзал на табуретке и пробормотал:

— Поет все. Песенки да песенки...

Илья слушал парней и нервно теребил одеяло. «Парни, парни, все-таки я должен огорчить вас. Не удивляйтесь тому, что я скажу. А скажу я обязательно».

Илья побледнел и напрягся.

— Парни, а помните аварию?

— Какую аварию?

— Ну, при опрессовке взрыв-то был... Так я...

— Да брось ты, Илья, старое ворошить. Была да прошла...

— Нет, я должен кое-что рассказать вам...

— Ничего ты не должен. Нашел, что вспоминать...

— Это я...

— Перестань, Илья. Лучше скажи, что передать от тебя.

— Парни, ну поймите, я не могу молчать.

— Выздоравливай лучше. Еще наговоришься...

— Товарищи, свидание окончено, — заглянула в палату дежурная сестра.

Парни заторопились, пожали осторожно руку Ильи и на цыпочках пошли к двери.

— Поправляйся...

— Спасибо...

Если бы парни оглянулись, увидели бы на глазах Ильи тяжелые, горькие слезы, медленно стекавшие по вискам на подушку...

Вечером дежурила нянечка, тетя Даша, маленькая, говорливая старушка. Она заохала, увидев Илью.

— Илюшенька, ты же белее сметаны. И не узнать с лица-то. Думал бы меньше, давно на поправу бы пошел. И-их, как тебя скрутило...

Тетя Даша, видимо, высказала какие-то опасения врачу, и тот согласился с ее предложением подежурить ночью в палате Ильи.

Тетя Даша устроилась у батареи с недовязанным чулком в руках. Что-то тихонечко и тоненько-тоненько замурлыкала, перебирая спицами...

Илья долго следил за ее руками.

— Тетя Даша, я очень плохой?

— Ну да. Больной ты, знаю.

— Нет, тетя Даша. Подлость я совершил. Товарищей обманул.

— Будет, будет на себя-то наговаривать. Кто те поверит: такой молодой да тихий и мухи не обидит. Болезнь это тебе голову туманит.

— Тетя Даша, можно я вам расскажу. Тетя Даша...

— Не волнуйся, Илюшенька. Спи... Еще у нас с тобой будет время-то, расскажешь...

Илья бессильно закрыл глаза. Людям неинтересно слушать про подлость. Это уж точно. И, видимо, подлость не искупить ни собственной кровью, ни самым искренним признанием ее. Номинально подлость остается подлостью, если даже пройдет много времени. Теперь все понятно. Надо долго-долго жить, по-новому жить, ни миллиметра не уступая тому, другому человеку, которому хочется иногда совершить подлость. Надо все начинать сначала...

Как трудно...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В конце ноября Илья выписывался из больницы. По утрам в форточку врывался густой запах мороза, и слышно было, как чисто скрипит на улице снег.

Он зашел попрощаться с Толиком Федковым. Толик чувствовал себя лучше, но повязку с лица еще не убрали. Он улыбнулся глазами и сипло прогудел:

— Ну вот, ты и уходишь. Здорово, однако, ты похудел.

— Ага, — согласился Илья.

— А палка зачем?

— Да нога еще слабовата.

— Письмо от ребят получил.

— Я тоже.

— Говорят, у Коли-Коли скоро свадьба.

— Ага.

— Тебе тоже ничего досталось. Смутно помню, как ты однажды орал. Видимо, крепко прихватывало, а?

— Ничего. Тебе больше пришлось...

— Да-а...

— Чего еще пишут-то?

— Лотомов говорит, ждем вас...

— Вообще, неплохой мужик Лотомов. Как ты?

— Не плохой.

— У Гриши Михайлова пацан появился...

— Знаю...

— Ну, ладно. Иди, иди. Я же понимаю, что не терпится.

— Будь здоров, Толик. Ждем тебя...

— Буду, буду. Иди...

Скрип-скрип... Скрип-скрип... Морозы созданы, наверное, для того, чтобы вспоминать

сказки. Илья улыбнулся. Скрип-скрип, костяная нога. Скрип-скрип...

Навстречу шли очень маленькие пацанята. Они громко и азартно ссорились.

— Если бы не ты, Петька, санки не сломались бы!..

— Много ты понимаешь...

— Выделяла несчастный...

— Ну-ка, повтори...

— И повторю. Выделяла несчастный!

— Васька, дождешься у меня.

— Ох, испугал...

Раз-раз, и Петька ударил Ваську по шее. Васька завсхлипывал:

— Чо, большой стал, да?

— Большой. А тебе сколько лет?

— Не твое дело.

— Что? Повтори-ка...

— Ну, семь...

— Ну и молчи, когда старшие говорят...

— Ох уж и старший! Выделяла несчастный. А тебе сколько?

— Васька, опять нарываешься?..

Илья не стал дослушивать спора. Грустно улыбнулся и пошел. До станции оставалось совсем немного...

Ростислав Смирнов

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* *
*

...А ветер — весеннею песней звенит.
В горах зацветает огнистый багульник.
Но что с тобой стало?
В глаза мне взгляни —
Понять я хочу,
да не знаю, смогу ли...
Однажды в девичьем блокноте твоем
Прочел я, как давнюю, светлую небыль,
Песню о том,
как душа поет
И к звездам зовет
в высокое небо.
...И долго понять я не мог,
отчего,
Когда ты со мною —
считаешь минуты.
О, как был я слеп!..
ведь мечта — для «него»,
Ведь ты это пела не мне,
а кому-то...
О, пусть твое сердце опять расцветает!
За это борюсь,
а не жду, словно чуда.
...Но, встретив твой
холодом стиснутый рот, —
Не думай —
вымаливать нежность —
не буду.
Лишь страшно мне станет
и горько — до слез,
И сердце захватит
обидная жалость:
Ведь я тебе —
всю свою юность принес,
А мне твоей юности —
не осталось...

* *
*

Бывает так:
и душен,
и нахмурен,
Проходит день.
И нелегко дышать,
И ждешь,
чтоб туча
разразилась бурей —
пусть ей ничто
не сможет помешать.
Уже вблизи,
раскатами наполнив
Тяжелую,
глухую тишину,
Она идет,
идет в зигзагах молний —
И ей в глаза
я смело загляну.
Встречаю бурю я
с открытой грудью:
Приди!
Ворвись!
Дыханье облегчи!
...К тебе я обращаюсь:
буря — будет!
Ты ждешь ее?
Ответь же,
не молчи!

Валерий Алексеев

СНЫ

Вы не верите в сны.
Почему вы не верите в сны?..
А я верил, как в бога,
и в сны,
и в приметы весны.
Помню вишни в цвету
и закат над притихшей рекой.
Я руки ее тихо
коснулся горящей щекой.
Но она ничего,
ничего не сказала в ответ.
И молчанье ее
в тишине прогремело, как «Нет!»
Я бродил одиноко
по самому краю весны
и, как вы, я не верил
ни в бога, ни в черта, ни в сны.

Моя жизнь, словно поезд,
неслась и неслась под уклон,
к осажденной столице
летел сквозь пургу эшелон.
Я в продрогших окопах
прожил три нелегких весны.
Но ко мне по ночам
приходили забытые сны.
Ради них
я прошел по дорогам,
сожженным войной.
Та, что снилась, пришла
и навеки осталась со мной.
Я бродил вместе с нею
по краю победной весны.
Сны сбылись наяву.
Отчего вы не верите в сны?..

МОРЕ

Море врачует раны.
Если ты ранил сердце
о черствое сердце любимой
и яркое южное солнце
померкло в твоих глазах;
если ты ранил душу
о вероломство друга
и жизнь,
как ненужная ноша,
стала в тягость тебе, —
выйди в закат на берег,
сядь на прибрежный камень,
вслушайся в шум прибоя,
в косматые гребни вглядись.
Море откроет тайны,
которых еще не знаешь,
море откроет дали,
которых не видел еще.
Море откроет глуби,
глубже любви Джульетты,
море подарит дружбу,
которой не будет конца.
Море вернет тебя к жизни!
А жизнь уведет тебя в море.

Елена Жилкина

* * *

Все гуще синева,
но жестче ветер в море,
и дальний берег
ближе с каждым днем,
а по ночам
над деревянным молом
горит маяк
тревожащим огнем.
Сквозь пламя сентября,
сквозь тишину
с вершин сорвутся
холода раскаты,
и закачает белую волну
все свирепее
баргузин косматый.
В глаза осеньи
вглядываюсь пристально.
А пароходный дым,
тепла не сохранив,
коснется губ моих...
Стою на пристани,
я,
на перила руки уронив.

Геннадий Машкин

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ

Рассказ

Не успел я выкинуть на аэродроме прииска Перевоз переполненный гигиенический пакет, как меня окружила толпа. «Это, ребята, инженер к нам на разведку, — объяснил им летевший со мной из Бодайбо бурщик. — У-у, светлая башка. Докажет тут нашим насчет золота»...

Меня еще мутило, поэтому я не сопротивлялся. Толпа подхватила меня и поволокла куда-то. Мы очутились в столовой. Шум, грязь, дым. На столах недоеденная каша в тарелках, под столами пустые бутылки. Меня усадили за стол. «Буль-буль-буль» — налили спирту чуть не полный стакан. Долили шампанским. Мой попутчик сказал тост. Он говорил о том, что якобы я разгоню бюрократов, налажу дело с нарядами в их пользу и открою новые месторождения. Мне не дали возражать. А когда я опрокинул в себя адскую смесь и голова моя отуманилась, стал даже поддакивать. Это привело моих приятелей в восторг. Какой-то якут подарил мне охотничью черную, как уголь, собаку Пирата. Собака не возражала и с удовольствием легла под столом возле моих ног. Старик-старатель стал рассказывать мне, что нашел «кусок кварца с золотым прожилком». И не в долине где-нибудь, а на гольце. Давно нашел, а вспомнил про это недавно. Сходить бы проверить, а? Я горячо поддержал старика. Пообещал вместе с ним сходить и проверить заявку. Только вот освоюсь...

Через два дня старик принес мне в контору свой кварц. Волосовидная жилка золота просекала молочно-белый минерал. Я показал обломок начальнику партии Кирьякову. Он пренебрежительно хмыкнул:

— Цыганова знаю. Волк. Доверять нельзя...

— Не на небе же он нашел образец,— возразил я.

— Так он тебе и покажет, где нашел, — сказал начальник и шмыгнул приплюснутым носом.

— Нас в институте учили опираться в поисках на массы, — ответил я, перебрасывая камень из руки в руку.

— Ну, если учили — сходи,—сказал Кирьяков, суживая якутские глаза. — Не найдете золота — скуплю с тебя стоимость всей затеи. Лошадки-то у нас здесь дороже золота... Ну ничего — за год рассчитаешься. И впредь будешь умнее..

...Моему отряду была придана лошадь по кличке Лиса. Она была наполовину пегая, наполовину гнедая. Лиса великолепно развязывала зубами всякие узлы. Делала это она с одной целью — удрать назад, на прииск, к кормушкам с овсом. С какой лошадиной тоской глядела она на прииск, когда мы переправились на ту сторону Жуи.

Стоя в лодке, начальник партии говорил мне напутственные слова:

— Смотри в оба... Цыганов поклоняется богу и мамонне... Двуликий... Может случиться, вычетом не отделаешься...

И это при самом Цыганове.

— Ладно, счастливо оставаться.

Я разозлился. Этот самоучка с Лены все время грубо опекает и поучает меня. Точно я пришел в тайгу из детского сада, а не из горного института. Слава богу, я в тайге уже отработал пять месяцев. На практиках. Были под моим началом бывшие правонарушители. Вот то ребята — да! Железные ребята! А этот — старикашка... На серых штанах его синяя заплатка. Только называет себя важно «карымцем», «таежным бродягой». Даже смешно.

Я помог начальнику оттолкнуть лодку от берега. Вода подхватила ее и понесла. В какие-нибудь минуты лодку могло унести за ки-

лометр от поселка. Но Кирьяков уперся шестом в галечное дно. Он повел лодку по шивере против течения. Ловкий черт! Меня бы унесло вместе с шестом. Я глядеть-то на шиверу не могу — голова кружится. Когда отплыл начальник, Цыганов сказал:

— Я не варвар какой, чтоб меня опасаться. Было время — земля в глазах вертелась, а теперь для людей я мягче травы...

Я сочувственно молчал. Вскинув «мелкашку» на плечо, я зашагал по тропе. Цыганов поправил вьюк, взял Лису за уздечку и пошел вслед за мной.

Навстречу нам из-за хребта Шаман выходили чистые облака. Осень была в разгаре... Поздновато мы вышли. Если снег нас накроет внезапно, придется мне расплачиваться за эту экспедицию. Интересно, останутся после этого во мне «души высокие порывы»? Или я стану таким же ортодоксом, как мой начальник?

— Давно вы здесь?—спросил я Цыганова. Мне надоели тревожные мысли.

— В двадцатом дядя, упокойничек, привез меня сюда, — ответил старик, и глаза его сверкнули, как зеленая слюдка, — посвятил в старательское дело. Уж я-то поимел терзания по старательскому сектору... И сколько золотишка ни выносил в жилое место — все растранжиривал. А теперь близок локоть... Надо бы домик купить на юге да косточки на солнце прогреть, ан не на что...

— Ну, старателям грешно жаловаться... Больше всех ведь получаете.

— А-а, слезы — это не золото по старым временам.

Он осторожно уложил на место плитку песчаника, которую я свернул сапогом. Под нею была колония муравьев.

— Фарт сорвать надо, а сил нет.

Залаял Пират. На золотой лиственнице я увидел легкого зверька. Выстрелил из «мелкашки» и неожиданно попал. Белка хваталась за зыбкие ветки, пока не упала на землю. За нею тянулась струйка желтой хвои.

Цыганов дерзко посмотрел на меня и спросил:

— Белка невыхоженная, зачем стрелял?

Мне стало как-то не по себе... Но не мог же я допустить, чтоб мой рабочий читал мне мораль. Хватит того, что начальник постоянно укалывает меня, будто я ни черта не смыслю в тайге.

— На шапку сойдет, — беззаботно ответил я. — В Иркутск приеду в беличьей шапке — шик! Пять лет ходил в искусственном каракуле, а тут чистый мех. Мне пойдет беличья шапка, скажи...

— Тайга, она добрая, — жестко сказал старик, — но не нужно, парень, злоупотреблять. Кичников и без того много промышляло здесь. Тайга беднее стала птицей, и зверем, и золотом. — Он посмотрел на Пирата так, словно приговаривал его к смерти. — Собака дурная — ей на бурундуков лаять.

Я подозвал Пирата к себе и ласково потрепал его обвислые черные уши.

Тайга до самой вершины Шамана рыжая, лиственничная, и только долина Хомолхо, где пролегал наш путь, змеилась чернотою елок. Мы поднимались на Шаман, молчали и дышали, как загнанные олени. Наконец Цыганов подошел к одинокой корявой лиственнице. На ней была привязана тьма всяких тряпочек, шкурок, бутылок, позвякивающих консервных банок и две кожаные рваные сумки. Старик вытащил из кармана кусочек зеленого ситца и завязал повыше. Потом он вытер с лица пот и закурил.

— Зачем? — спросил я, показывая на разукрашенное дерево.

— Скоро перевал, — ответил он. — Так у нас полагается. Чтоб фарт подвалил и согласье меж нами было.

— Ясно...

Мы передохнули и после этого быстро вышли на перевал. Оттуда я увидел гольцы с высоты птичьего полета. С южной стороны они щедро выкрашены в золотые и розовые тона, а с северной — в черно-зеленые.

— У гольцов, как людей, два лица, — сказал старик и зорко вгляделся в изгибы новой долины. — За светлостью прячется темень.

Спуск был не легче подъема. Марь вымотала из меня последние силы. Вязкая и хлипкая, она покрывала весь северный склон Шамана. Когда мы спустились к Молвушке, я упал на траву возле воды и сказал, что здесь будет привал. Цыганов согласился, усмехнувшись. Он развьючил и стреножил лошадь. Затем собрался поохотиться. Он пошел вдоль речки. За ним побежал Пират.

Я отдыхал, уткнувшись лицом в желтую осоку. Слышал тихое клокотанье ручья. За полчаса охоты раздался только один выстрел.

Вернулся Цыганов без Пирата.

— Ничего не убил?

— Два пустых да порожний.

— А где Пират?

— Назад удрал... Понял, объедать нас не стоит. — Он посмеивался, но в глаза взглянуть не торопился.

— Значит, застрелил? — сказал я и сжал цевье «мелкашки».

— Ну, — ответил он и положил свою двустволку себе на колени.

— Как ты посмел?! — добавил я, глядя в черные отверстия стволов.

— В тайге тот старший, кто опытней...

— Не выйдет. — Я клацнул затвором.

— Собака эта во вред нам. — Не убирая ружья с колен, старик начал заряжать стреляную гильзу картечью. — Как пить, медведя приведет и бросится под ноги к тебе спасаться.

— Испугался. — Я хмыкнул со злостью.

Цыганов спокойно ответил мне:

— Заячьей крови у меня нет. И ружье «зауэр» хорошего бою. Одного охотничка на горбачей я срезал за полсотни метров...

Я перевел взгляд со стволов на лицо старика.

— Был такой зимовщик на Нечере. Через устье Нечеры шли раньше, когда не было самолетов, копачи-горбачи на прииск Светлый, оттуда до Бодайбо. И как узнает Кирсаныч, что человек с золотом идет — не быть тому живу... Много мертвецов Жуя приносила к Перевозу. А и Кирсаныча принесла однажды. Прямо в лодке... Плыл он на Перевоз торгануть хариуском, а я на грех вышел к Жуе с Балаганаха, где старался тогда. Сижу, отдыхаю, вижу — плывет. Я кричу: «Посади в лодку». Он отвечает: «Сыпь два золотника... Не хочешь — плыви, на чем стоишь». Я ему и всыпал картечи из обоих стволов...

Мне стало холодно. Старик заметил и пошел собирать сухие хворостины, развешанные полой водой на кустах тальника. Насобирав охапку, он развел костер. Я поставил на костер чайник. Огонь обтекал его со всех сторон и взвивался в холодное черное небо.

— Без собаки на шапку не набить, — сказал я, глядя в огонь.

— Зачем нам бить? — усмехнувшись беззубым ртом, откликнулся Цыганов. — Мы золотоискатели. Фарт будет — из соболей шапки пошьем.

— Из соболей лично мне не надо, — сухо отозвался я. — Матери бы подарил... А вообще-то, чует сердце, ни хрена не выйдет у нас... И мне придется донашивать искусственный каракуль в этом году...

Смешок у старика, как у Кащея бессмертного. Он все понял из моих горьких слов, усмехнулся и ободрил меня:

— Мы в золотой тайге, парень. Здесь не зевай, фарт подвалит — руками и ртом хватай.

В ту же секунду он повернулся к костру. Глаза его блеснули рыжим светом.

Я начал смутно догадываться, что начальник где-то был прав. Ну, что ж... Я докажу тому и другому, что я не из детского сада. Плевал я и на угрозы начальника и на «зауэр» старика тоже... В случае чего, выгоню старика и все. Пусть удержит с меня за отряд. Прохожу зиму в каракулевой шапке. Подумаешь... Не привыкать.

Мы попили чаю и залезли в спальные мешки. Всю ночь мне снилась мама в собольей шапке. Лицо у нее было почему-то грустное.

* *
*

На второй день мы вышли в долину Молбо. Тропа соединяла закрытые прииски. Это были таежные городки с черными провалами окон. Как острова тропических морей, они имели пестрые названия: Эфемерный, Радостный, Хрустальный, Тихо-Задонский.

— Эх, жизнь была когда-то! — воскликнул Цыганов, когда мы проходили Эфемерный. — У фартовых земля в глазах вертелась...

— Чувствуется... — Я скривил губы и махнул рукой в сторону русла. Там бесконечной грядою тянулись отвалы перемытой породы. На лысых макушках отвалов сохранились лиственничные кресты. То были могилы приискателей. Между крестами выросли кривые березки.

Новое солнце встало над этой забытой землей. Кусты в легком инее сверкали, как нейлоновые. Каракуль на моей студенческой шапке из нейлона. Блестящий, жесткий... Я взглянул на старика. Он деловито шагал и отбрасывал назад руку с хворостинкой. На лице его блуждала улыбка. Ну что я дуюсь на него? Темный старик и все. Надо забыть про Пирата. Ради дела. Золото должно быть здесь. Откуда-то оно ведь приносилось в россыпь. Просто коренные источники трудно найти. Ищут годами целые экспедиции. Земля велика... А можно натолкнуться случайно на жилу. Вот старик набрел на кварцевый обломок с золотом. Где-то близко должна быть жила. Если найдем, оживут эти городки. Тяжко смотреть на мертвые дома...

— Золото здесь есть, — сказал я Цыганову и окинул рукой вздыбившиеся гольцы. — Еще оживут городки...

— Есть, как не быть, — согласился он с приятной судорогой в лице. — Кое-где остались целички под старыми выкладками. Отводили, к примеру, копачи русло, выбирали золотой пласт, а под кладкой и не выбрали. Забыли... Однажды я под таким вот серым крестом двадцать золотников наскреб... Косточки промыл до последнего позвонка... Не попользовался горемыка-копач золотом. Унес с собой в могилу...

— Я не про это золото, — сморщившись, ответил я. — Говорю о кварцевых жилах. Нам бы хоть одну найти. Зацепка чтоб была для поисковых работ.

— Думаешь, хозяева дураки были, что не открыли ни одной жилы?

— Дураки.

— Вот умник нашелся.— Старик хлестнул себя прутиком по резиновым широким голяшкам сапог. — Как заговоришь, когда начнут драть с тебя пятьдесят процентов? — Он беззвучно рассмеялся. В его рту оставалось два зуба. — Кирьяков он не простит тебе, что ты высоко себя поставил.

Я остановился, словно ожгло пулей. Повернулся на каблуках и загородил тропу.

— Это тебя не касается, — сквозь зубы сказал я. — Не ради себя я приехал в тайгу. Вот так.

В буро-зеленых глазах Цыганова расширились зрачки. Я даже увидел в них себя. Потом старик прикрыл глаза тяжелыми веками и забормотал:

— Ты молодой, горячий... А мы с Кирьяковым жизнь прожили. Знаем, что к чему. Тут англичаны работали в концессию. А они, парень, головы...

— Плевал я на англичан, — ответил я. — У меня своя башка на плечах.

— Раньше и я плевал кой на какие вещи, — сказал старик и заморгал. — А теперь близок локоть. И снится мне домик беленький, солнце горячее, виноград, и старушка светленькая ставит самовар... — Он с тоской поглядел на тайгу, похожую на линючую шерсть рыжих собак.

У меня отлегло от сердца. Я пропустил Цыганова и пошел рядом с ним. Тропа была здесь широкая. Я ликовал в душе. Где-то мне удалось сломить старика. С удовольствием прислушивался я, как хлопали его свободные резиновые голяшки одна о другую. Лиса два раза наступила ему на пятки. Цыганов отхлестал ее по морде прутом. Я решил поговорить с ним поласковей. Надо быть снисходительным к темноте. И я сказал старику:

— Ты думаешь, я такой уж идейный... Ха! Мне совсем не хочется, чтобы Кирьяков стриг мою зарплату. Хочу накопить на путевку в Индию, неплохо бы матери подарить ко дню рождения меховую шапку. А в Иркутске у меня дома стоит огромный книжный шкаф. Увы, пока пустой.

— Если с умом, то мечтанья сбудутся... — Болотно-водяные глаза Цыганова уставились на меня. Из-под старой шапки выбивался клок седых волос, блестевших от пота. — Тайга она щедрая... Только с умом к ней идти надо.

— И еще хвост держать пистолетом, — добавил я.

Старик отвел глаза. Я понял, что ответил не так, как хотел бы Цыганов.

Мы перешли на темную сторону гольца в новую долину. Старик благоговейно сказал: «Вот ручей Веселый». Не успел я подумать о привале, как он спутал Лису и пошел куда-то с ружьем и лотком. Через пару часов Цыганов вернулся. Он вывернул на кусок бересты маленький кожаный мешочек и высыпал щепотку золота. Лепешечки и чешуйки металла были серые, зеленовато-соломенные. Он долго ссыпал их с бересты в мешочек и обратно. За два часа граммов десять намыл.

Он поел разогретого колбасного фарша и, кажется, не заметил, что ел. Старик глядел в одну точку в костре. Резко выделялись на лице складки от носа к углам губ. Глаза его были темны, как ночь за спиной. Цыганов долго думал. Наконец он повернулся ко мне и сказал:

— Придем завтра на Горбылях... Вспоминаю одну ямку, брошенную по глупости моей. Хорошее было золото, да искал богаче...

— Пласт глубоко?

— Метра два, не больше...

— А сколько надо намыть, чтоб соболью шапку справить? — Я говорил веселым голосом, чтобы старик чего не подумал.

— По тем местам за неделю легковушку можно заробить.

Он, кажется, ничего не подумал, зевнул и полез в спальник.

В эту ночь мне опять снилась мама. Она сидела в «москвиче». На голове у нее красовалась прекрасная соболья шапка. Только лицо было грустнее вчерашнего.

* *
*

На третий день мы вышли на Горбылях.

Тропа уползала в щетину желтых кочек. Ветерок развеивал в воздухе оранжевые иголки с лиственниц. Они сверкали, как золотая пыль, и страшно кололись, когда попадали за шиворот.

Цыганов шел сзади. Он вел Лису, которая хватала траву справа и слева.

Отвалы пустой породы стали редки. Старик начал беспокойно оглядывать русло мелкой речушки и каждую старательскую яму с зеленой водой. У одинокой зимовьюшки с прогнившей крышей он вдруг остановился, захлестнул поводом березку, схватил лоток и рысцой побежал к речке. «Шлеп, шлеп,

шлеп» — стучали резиновые голяшки. «Пусть отведет душу, — решил я. — И потом интересно...» Я вырвал лопатку из вьюка и побежал за стариком. Ветки лиственниц хлестали меня по лицу и стряхивали иголки за шиворот. Но я старался не упускать из виду синюю заплату на штанах старателя. Мы бежали от зимовья метров триста. Наконец Цыганов опустился на колени перед затопленным древним шурфом, словно собирался молиться на него.

Когда я подбежал к старику, он ползал по траве и горстями набирал в лоток мелкий галечник. Я стал помогать ему лопаткой. Цыганов промывал породу тут же в шурфе. Он покачивал лоток, словно люльку с ребенком. Старик выплескивал муть через борт, а крупную гальку выбирал красными ревматическими руками. Породы на обожженном дне лотка становилось все меньше. И вдруг я увидел в углу на черном фоне несколько желтых лепешечек, комочков и много чешуек с зернышками. Как это просто... Потом не будешь дрожать от мысли, что попадешь в кабалу к этому аборигену Кирьякову. И в конце концов кому-то можно иметь дачи, обнесенные голубыми заборами, автомобили, а я должен таскать всю жизнь шапку из искусственного каракуля. Вот здорово...

Елизарыч оставил лоток плавать в воде и, счастливый, смахнул со лба пот. Он свернул цигарку и мне дал махорочки и газетку. Я сделал кривую «козью ножку» и затянулся. В голове будто рой комаров зазвенел. На успех, видно, нечего надеяться. За него пока только мое мальчишеское упрямство да этот подозрительный обломок кварца. Мало ли откуда мог он взяться.

— Сидело давно в башке это место. — Стариковы глаза излучали зеленый счастливый свет. — Да лошади не было и напарника. Попробуй выбей ямку один. Не лезет один — два хорошо. С пятидневку постараемся — домик мне обеспечен, тебе, что хочешь.

По бесшабашным интонациям в его голосе я понял, что пятидневкой тут не обойдешься. Стоит только начать шурф...

— Слушай, а где ты нашел свой «шкварец»? — спросил я его, отводя взгляд от крупинок золота в лотке.

— Да брось ты, — ответил Цыганов. — Ходим по золоту, куда нам еще?

— А все-таки? — угрюмо спросил я.

Старик без раздумья показал мне самый высокий голец. На вершине его лежал серпик раннего снега. Ветер дул оттуда. Ветер дул холодный. Я долго смотрел на снежный серп, и «комары» стали вылетать из моей головы.

— Ты не сомневайся, — пытался успокоить меня Цыганов, — ордерок на старание я получил. Золото сдам честь по чести. Куш поровну, слово-слово.

— Я не о том, — отмахнулся я. — Успеем ли проверить заявку до снега?

— Чего ж не успеть. — Он хохотнул, но глаза оторвал от моего взгляда. — Да и чего камни в гольцах ворочать? Здесь «карымцы» все облазили за сто лет. Концессия работала. Англичаны они тебе не наш брат... Шкварцевые жиленки все обстучали.

Лучше бы он молчал. Но он доказывал и доказывал, что золота в кварцевых жилах никто во всей Дальней Тайге не находил. Его обломок случайный. Нашел он его, точно не помнит, где.

— Сначала проверим заявку, — твердо сказал я. — Потом видно будет...

Я пошел к зимовью. Цыганов шел сзади и доказывал. Наконец он плюнул и заявил:

— Можешь весь голец перерыть. Я вольная птаха, дуракам не подмога — буду стараться здесь.

Я обернулся. Глаза у него блуждали, как два волка.

— Нам надо искать коренное золото, — ответил я пересохшим горлом.

Он опередил меня, упал на колени и воздел кверху руки.

— Не найдем ничего, слово Цыгана, — прохрипел он. — Только время зря потеряем... Потом будешь всю зиму на хлеб получать, воду и соду, чтоб изжоги не было.

— Чего ты пристал ко мне, копейкина душа!? — заорал я на него, сжал кулаки — и осекся.

Зрачки его глаз увеличились. Я мог спокойно рассматривать в них свое бледное лицо. Губы старика дергались, как у младенца, собирающегося заплакать. Но Цыганов не заплакал. Он гибко подскочил и побежал к зимовью. «Угощу картечью», — вот что я расслышал.

У меня ноги стали, как ватные. И момент, когда можно было догнать его, я упустил... Вот Цыганов скрылся за зимовьишком. Я представлял, как он выхватывает свой «зауэр» из-под веревок вьюка и взводит курки. И я пошел навстречу смерти. Подумал, что не поздно убежать. Дать крюк по тайге и выйти к Перевозу. Сначала забежать за ту лиственницу, потом зигзагами до тех кустов, а там... В мыслях я бежал, как кабарга, а сам шел к зимовью. Все ближе и ближе зеленая ржавая скобка, вбитая в торец бревна. Перед самым углом я сделал глубокий вдох и шагнул вперед.

Цыганов сидел на пеньке и сворачивал цигарку зябкими пальцами. Сначала я не заметил отсутствия Лисы. Потом увидел березу с желтым следом веревки... Я лег на жесткую траву и стал рассматривать двух муравьев. Они тащили золотую хвоинку. Каждый норовил волочь ее своей дорогой. И все-таки хвоинка подвигалась к муравейнику.

Зашуршала трава. Я вздрогнул.

— Ночуй у костра, — хмуро предложил Цыганов. — В зимовье балкой убьет гнилой.

Он зашагал по лошадиным следам, залитым водой.

— Без советов обойдусь, — пробормотал я, с ненавистью глядя в синюю заплату. — Скатертью дорожка.

* *
*

Три раза я поднимался на голец. До самого снежного серпика. Обошел голец вдоль и поперек. И ни черта не нашел. В третий вечер я спускался к зимовью голодный, злющий. Я знал, что на четвертый день не смогу подняться. От голубицы, брусники и стланиковых орехов у меня расстроился живот. От этого ноги дрожали и в глазах забились гольцы: мозаика из ярких и темных пятен. Если бы выпить сладкого чайку с хлебцем, можно и на четвертый раз подняться. А вообще-то ни черта там нет. Я бы этого старика разорвал сейчас на тысячи кусочков. Вообще-то он и не виноват. Даже предупреждал, что обломок случайный. Но все равно я разорвал бы его... Нет, не хватило бы сил. Если бы попить крепкого чайку.

И вдруг я почуял запах чая. Хорошего китайского чая. Такой мы заваривали со стариком. Галлюцинация?.. Но и костром пахнет. Теперь я чуял явственно запах костра и чая. Перед самым углом я сделал глубокий вдох и вышел успокоенный.

У костерка на корточках сидел старик с синей заплатой на штанах. Я так обрадовался ему, что не заметил Лисы. Потом увидел огромный узел на веревке, обмотанной дважды вокруг березы. Я упал возле костра.

— До самого Перевоза гнался, — сказал Елизарыч, наливая мне чай с паром в кружку. — Хитрющая ведьма.

Я кинул в чай большой кусок сахару, размешал палочкой и стал пить маленькими глотками.

— Зачем вел назад ее? — Я пожал плечами. — Лишние коне-дни подвесят мне и только.

— Не подвесят,— ответил старик, ковыряя прутиком в костре. — Найдем шкварцевую жилу.

— Поздно ты кинулся, — сказал я сухо. — Обшарил твой голец — два пустых да порожний.

— Это не тот голец, — ответил старик. — Я показал тебе самый высокий...

Я хотел сказать ему, что он подлый и темный старик. Но смолчал.

Дм. Сергеев

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Вера училась в шестом классе, дома ее считали ребенком, и никто не стал объяснять ей, что произошло в семье. А случилось вот что: однажды в начале зимы Людмила Николаевна, Верина мама, собрала свои вещи и ушла из дому, точнее не ушла — уехала на такси.

Старшей дочери Вале она оставила свой новый адрес.

Без матери в квартире стало жутко и пустынно. Отец и прежде никогда не был разговорчив, а с этих пор и вовсе стал угрюм. Вера впервые заметила, какой он тихий человек, какая у него бесшумная походка и приглушенный болезненный кашель.

В гости к маме девочки добирались на трамвае: станций метро поблизости от ее новой квартиры не было. Дом, где она поселилась, — совершеннейшая развалина. Внутри него, в коридорах и на лестнице, застоялся тяжелый плесневелый дух. На каждой лестничной площадке глухую кирпичную стену до самого потолка разрезали узкие проемы — тупики загадочного назначения. Вера сразу невзлюбила и этот дом, пропитанный душным смрадом, и тесную длинную комнату, где жила мать.

Вера редко ходила туда и всегда вместе с сестрой, зато Валя бывала там часто.

Мать угощала их чаем, спрашивала, как учатся, жаловалась, что часто болеет. Об отце никогда не говорила, не вспоминала. Почти всякий раз за столом появлялась пожилая женщина, мамина соседка по квартире, Алла Александровна. Она пила чай из блюдечка и, чинно поджимая тонкие губы, поддакивала матери, о чем-то вздыхала и жалостливо глядела на сестер. Вере становилось не по себе, но Валю все это ничуть не смущало.

— Красивая у вас старшая, — говорила Алла Александровна, кивая на Валю, — ох, и красивая!

Мать соглашалась с нею и печально вздыхала:

— Красивым тоже не всем легко живется.

— Что верно, то верно.

Валя, когда разговор заходил о ней, кокетливо улыбалась и украдкой поглядывала на сестру. Мать смотрела на старшую дочь, потом с озабоченным видом уходила к зеркалу, пристально разглядывала свое лицо и начинала разглаживать тонкие морщинки под глазами, едва касаясь кожи кончиками пальцев.

— Вам никто и тридцати лет не даст. — Алла Александровна становилась позади матери и заглядывала в зеркало из-за ее плеча.

Людмила Николаевна не отвечала, только с сомнением качала головой.

Когда девочки собирались домой, мать выходила в коррилор проводить их, подставляла для поцелуя щеку и сама сухими теплыми губами по очереди целовала дочерей в лоб. Людмила Николаевна редко улыбалась. Она следила за своим лицом. При улыбке кожа под глазами собирается в складки, от них морщины. Говорила она негромко и почти не двигала губами:

— Приходи, Валя. Приходите вместе.

На улице Вера облегченно вздыхала. Она не любила бывать в гостях. Ей не хотелось видеть маму среди чужой обстановки, в доме, углы которого хранили столетние запахи. Даже одно воспоминание о маминой комнате вызывало беспричинную тоску. Все там было неуютно, мрачно: высокий гардероб заслонял

половину окна, трюмо на подставке с деревянными точеными ножками искажало лица и предметы, стадо гипсовых слоников с задранными кверху хоботами обиженно смотрелось в кривое зеркало. Тут же стояли четыре фарфоровые балерины, навсегда застывшие в одинаково грациозных па. Но больше всего девочку угнетал абажур. Тяжелый, с массивным бронзовым каркасом, обтянутый темно-зеленым бархатом, он держался на шелковом шнурке, продетом через два скрипучих металлических блока, из которых один закреплен у потолка, а второй свободно перемещался по шнуру.

Каждый раз при виде его девочку охватывало чувство омерзения, испытанное ею в раннем детстве. Однажды Вера зашла в чулан. В дальнем затененном углу на стыке бревен она заметила узкий выем. Наверное, это был лаз в подполье — в таинственный мир, пахнущий сыростью и мраком. Вера заглянула в темное нутро. Там что-то копошилось. Она испугалась и выбежала из чулана. Но потом любопытство одолело страх. Девочка запаслась фонариком. В пучке электрического света мелькали бесчисленные золотистые пылинки. Вера направила луч в дальний угол. Паз на стыке бревен оказался затянутым паутиной. На ней в самом центре висел гадкий многолапый паук. Напуганный светом, он юркнул в сторону и забился в щель. Девочка сорвала тенеты и запустила руку внутрь. Пальцы коснулись чего-то липкого. Вера поспешно отдернула руку. После долго терла ее мыльной щеткой под краном. Но ощущение липкого и гадкого так и не отмылось.

Часто Валя уходила к матери по вечерам одна. Если папа был дома, он сильно нервничал, беспокойно ходил из угла в угол. В сорок втором году в бою под Сухиничами его контузило, с тех пор на лице Николая Тимофеевича сохранялось такое выражение, будто он всегда к чему-то прислушивается. Вере о многом хотелось спросить отца, но, видя его таким, она не решалась.

Если к десяти часам Вали не было, отец надевал пальто и шел встречать ее. Но прежде он укладывал Веру спать, гасил свет...

— Спи, Вера. Нам Дарья Степановна откроет. Спи.

Но девочка не могла уснуть: она каждый раз надеялась, что домой возвратятся все трое — папа, Валя и мама. Потом Вера узнала от сестры, что отец никогда не появлялся в комнате матери, а ждал Валю у подъезда.

За пять дней до Нового года у мамы был день рождения. Накануне отец дал девочкам деньги на подарок.

На трамвайной остановке, где сошли сестры, было пустынно. Дом стоял за углом. Он глядел в проулок освещенными окнами. Сверху доносилась музыка.

— Слышишь? — сказала Валя. — Это у мамы.

Девочки поднялись на третий этаж. Дверь открыла Алла Александровна.

— Вот и хорошо, что пришла, милая. Как раз о тебе говорили.

Пожилая женщина многозначительно улыбалась Вале. Вера стояла рядом с сестрой, и ей показалось, что Алла Александровна пьяна.

Комната матери полна шума и суетни. Круглый стол заставлен бутылками и закусками.

— А вот и Валя пришла, легка на помине, — объявила Алла Александровна, появляясь в дверях позади сестер.

Гости обступили девочек, словно давно ждали их. Валя неожиданно для сестры присела в реверансе и звонко произнесла, обратясь ко всем:

— Добрый вечер!

Потом кинулась на шею матери и затараторила:

— Поздравляю, мамочка, милая. Жить тебе до ста и еще до ста и еще...

— Ну и хватит, хватит... — остановила ее Людмила Николаевна, отворачиваясь от дочериных поцелуев и одной рукой оберегая воротник платья, чтобы Валя не помяла его.

Вера стояла возле двери, прижимая к груди бумажный сверток с подарком.

— Поздоровайся с гостями, бука, — услышала она возле уха сердитый шепот Аллы Александровны.

Вера неловко поклонилась и произнесла:

— Здравствуйте.

На нее не обратили внимания. Только мать, оставив, наконец, Валю, приняла от Веры сверток, положила его на край стола и погладила младшую дочь по голове.

Валя, и в самом деле очень красивая и чуточку смущенная, улыбаясь и краснея, стояла в кругу гостей и поворачивалась перед ними, как манекен.

— Изумительная девочка, — сказала солидная гостья в розовом платье.

— Ваша дочь будет очаровательной женщиной, — громко заявил толстый и подвижный мужчина в клетчатом пиджаке. Он закрыл глаза и причмокнул губами.

— Не говорите глупостей при детях, — остановила его дама в розовом и лукаво пригрозила пальцем.

— Охо-хо,— пробасил мужчина.— Их удивишь. Сейчас дети больше нашего знают. Слышали анекдот...

Гости обступили толстяка. Вера и Валя остались одни рядом с матерью. Валя взяла со стола подарок, развернула бумагу. Внутри оказалась прозрачная косынка. Валя накинула ее на плечи маме.

— Спасибо, деточка, спасибо.

Через час веселье было в полном разгаре. Стол отодвинули в угол и посредине комнаты устроили танцы под радиолу. Вера примостилась на стуле у стены, поджала ноги под сидение. Среди гостей-женщин мама бесспорно была самая красивая, самая стройная и самая молодая. Она кружилась легко и плавно. Вера восхищенно глядела на нее. Партнер мамы — розовощекий мужчина с тонкой черной полоской усов над верхней губой. Мама, разговаривая с ним, поднимала голову вверх и улыбалась ему совсем по-настоящему, должно быть, отбросив на этот вечер заботы о своих морщинах. Она словно сняла с лица маску. Мужчина изредка улыбался ей. У него странная улыбка: невеселая и короткая, как вспышка. Дрогнет верхняя губа, блеснут ровные зубы, и опять лицо становится прежним— уныло беспечным и равнодушным. Потом он танцевал с Валей, а мама сидела возле стола и следила за ним и дочерью. Его рука лежала на Валиной талии. Короткие толстые пальцы все время беспокойно двигались по платью, впервые надетому Валей в этот вечер. Вере была противна его рука и лицо с черными усиками, которые казались подрисованными. Валя непринужденно улыбалась ему и старалась держать себя по-взрослому. Ее коричневое платье с белым воротничком резко выделялось среди пестрых женских нарядов.

Когда танец кончился, Вера поймала сестру за рукав и потянула ее за собой.

— Уйдем отсюда.

— Что ты, Верка? Подожди немного. Скоро весело будет.

Но Вера настойчиво тащила Валю в коридор.

Вслед за ними вышла мать и Алла Александровна. Валю не отпустили. Открывая Вере дверь, Людмила Николаевна поцеловала дочь и спросила:

— Ты не боишься одна?

— Нет, не боюсь, — тихо ответила девочка. А когда дверь закрылась и звякнула цепь заложки, Вера прислонилась к стене и заплакала. Она и сама не знала, о чем плачет. Ей было жаль маму и Валю, которые остались за дверью, где снова гремела радиола.

На улице было пустынно. Вера долго ждала трамвай. А когда вагон, наконец, показался из-за угла, она раздумала ехать. Нельзя оставлять Валю одну.

Девочка бродила под окнами взад и вперед, слыша, как из комнаты, где веселились гости, слабо доносился разноголосый шум и музыка. Валя не показывалась.

Редкие прохожие торопливо пробегали мимо, приплясывая на ходу и оттирая ладонями замерзшие щеки и носы. Последняя неделя декабря стояла на редкость морозная. На повороте трамвайной линии время от времени раздавался леденящий скрежет колес по рельсам и холодно, с зеленым отливом вспыхивала молния над трамвайной дугой. На дальней стене многоэтажного здания через равные перерывы зажигалась и гасла световая реклама: «Покупайте московские котлеты».

Холод пронизывал Веру.

Наконец она услыхала в подъезде голоса мамы, Вали и еще чей-то громкий мужской. Мать проводила Валю до нижней площадки. Вера спряталась за угол. Мимо нее, озираясь, прошмыгнула Валя. Людмила Николаевна несколько секунд смотрела вслед дочери, поеживаясь от холода.

— Будь осторожна! — крикнула она и ушла назад.

Вера побежала догонять сестру. Валя, заслышав позади шаги, испуганно оглянулась, но, увидев Веру, обрадовалась.

— Верунька, милая, ты ждала меня?

Вера кивнула головой.

— Прости меня. Прости, Верочка.— У Вали дрожал голос, она готова была расплакаться. — Ты замерзла. Нет, замерзла — я вижу.

Валя сняла перчатки и отдала сестре.

— Надень, Вера. Ты совсем окоченела. Дрожишь вся. Прости меня. Я такая нехорошая.

Вера улыбалась ей, скрывая слезы. Она радовалась, что они снова вместе, что скоро придут домой и папа перестанет ходить из угла в угол по пустой комнате.

2

Примерно за месяц до Нового года у них в квартире стала появляться невысокая худощавая женщина, папина знакомая. Звали ее Анной Ильиничной. Вера с любопытством разглядывала ее. Глубокая складка между бровями женщины походила на сабельный шрам. При первой встрече папина знакомая напомнила суровых, мужественных героинь из кинофильмов об Отечественной войне. Однако

потом это впечатление развеялось: ничего мужественного и сурового в характере Анны Ильиничны не обнаружилось. Скорее она была робка и застенчива. При ней отец становился неестественно оживленным и настороженным и так посматривал в сторону Веры и Вали, будто опасался, не выкинут ли они что-нибудь обидное для гостьи. Если Анна Ильинична оставалась ужинать, то после помогала девочкам убирать со стола и мыть посуду.

Валя была с нею предупредительна и подчеркнуто вежлива. Веру поражала неискренность сестры. За спиной женщины Валя исподтишка высовывала язык.

Однажды, когда в коридоре послышался голос Анны Ильиничны, Валя прошептала на ухо Вере:

— Пришла «змея-разлучница».

А в следующую секунду другим голосом, в котором звучала фальшивая радость, говорила:

— Здравствуйте, Анна Ильинична.

«Змея-разлучница»! Так вот кто такая Анна Ильинична. Вот где кроется причина семейного разлада. И Вера возненавидела женщину.

Перед Новым годом Вера почувствовала себя больной. Должно быть, сказался вечер, проведенный на морозе в ожидании Вали. Дома она ничего не сказала — пройдет и так.

В канун Нового года Валя сообщила:

— Верка, я сегодня подслушала: «змея-разлучница» на Новый год подарит нам пластинки долгоиграющие. Оперу «Снегурочка» и еще что-то.

— Не надо нам никаких подарков.

— Как же не надо? Ты ведь давно хотела, чтобы свои пластинки были.

— Не хочу от нее ничего. У нас мама есть.

Неожиданно Валя поддержала сестру:

— Правильно. Ты умница, Верка. Давай откажемся.

Весь день Вера была возбужденная, а ночью долго не могла уснуть. Все время она думала о том, как завтра они отвергнут ненавистный подарок. «Это не подарок — это подачка, чтобы задобрить нас», — думала она. Утром у нее нестерпимо разболелась голова. Она позабыла, что наступил Новый год, что нужно собираться на школьный утренник — помнила только о их решении: не брать подарок.

Отец беспокойно смотрел на дочь и несколько раз спросил:

— Что с тобой, Вера? Ты больна?

Девочка отворачивалась и холодно отвечала:

— Нет, папа, я здорова.

Наконец пришла Анна Ильинична. Папа и Валя встретили ее в коридоре.

«Вот подлая, вот подлая!» — шептала Вера, слыша неискренний Валин голос: — С Новым годом, Анна Ильинична!

Обеими руками Вера держалась за край стола. Только бы не упасть.

Дверь отворилась: в комнату вошли сияющие папа, Валя и Анна Ильинична.

— Поздравляю, Верочка, с Новым годом, желаю тебе... — Анна Ильинична вдруг осеклась и перестала улыбаться. Горящий, гневный взгляд тринадцатилетней девочки смутил ее, она торопливо закончила: — Желаю хорошо учиться.

Вера не ответила. Отец снова удивленно и встревоженно посмотрел на дочь и пощупал ладонью ее горячий лоб. Вера отпрянула от его руки, словно обожженная.

Из большой сумки Анна Ильинична достала сверток, перевязанный широкой голубой лентой, и отдала Вале.

— Это вам, девочки, обеим от меня.

Валя приняла пакет и, сияя улыбкой, сказала:

— Спасибо, тетя Аня.

«Тетя Аня», — про себя повторила Вера. Так сестра еще никогда не называла Анну Ильиничну. Вера не могла больше вынести предательства сестры.

— Подлая ты, подлая! — звонко, отрывисто выкрикнула она, выхватила из рук Вали бумажный сверток и швырнула к ногам Анны Ильиничны. Послышался хруст разбитых пластинок.

— Не надо нам ваших подарков! Не надо! У нас мама есть!

В тот же миг она почувствовала, как все вокруг нее мгновенно переменилось. Комната с мебелью, с обоями на стенах крутнулась в одну сторону, в другую. Перед глазами мелькнуло напуганное лицо Анны Ильиничны. Гладкий пол выскользнул из-под ног Веры, неподвижно стоявший до того стул больно ударил ее в бок. Огненные разноцветные брызги закружились перед глазами. Она не слышала, как отец подхватил ее и отнес на постель. Анна Ильинична дрожащими руками, торопясь и обрывая пуговицы, расстегнула на ней платье. До судорожной боли стиснув зубы, Вера прошептала:

— Подлая! Подлая!..

3

Целую неделю, почти все зимние каникулы, Вера пролежала в постели. Папа был ласков с нею, предупредителен и ни словом не

напомнил о ее поступке, хотя Вера все время ждала этого. Анна Ильинична не появлялась.

Однажды, когда отца не было дома, Валя сообщила сестре:

— Ее больше не будет. Она даже из Москвы уехала насовсем. Я слышала, она говорила папе: «Так будет лучше для всех».

Больную навещали подруги по классу, приходила пионервожатая и один раз ненадолго заглянула мама. Она все спрашивала, не нужно ли чего Вере, и посматривала на будильник. Его третий день не заводили, и стрелки все время стояли на половине десятого, но мама, кажется, ничего не замечала. Вскоре она собралась уходить.

— Выздоравливай, доченька, — в дверях сказала она и помахала Вере рукой.

Валя вышла вместе с ней на улицу, а когда вернулась, Вера решилась, наконец, спросить:

— Валя, почему мама не осталась у нас? Ведь теперь... — Она хотела сказать, что теперь «змеи-разлучницы» нет, но почему-то не смогла произнести этих слов. — Ведь ее нет, она уехала.

Валя тихонько рассмеялась. Вера ждала ответа.

— Ты еще маленькая, Верунька, и не поймешь. Это же не так просто.

— Но почему?

— Понимаешь, Вера, папа и мама давно не любят друг друга. И мама живет не одна... Василий Андреевич... Ты его знаешь, видела на маминых именинах. Он танцевал с мамой и со мной. Он почти на десять лет моложе мамы, и она боится, что он уйдет от нее. Это же так естественно.

Валя еще многое рассказывала о маме и о Василии Андреевиче. Говорила не свои, а чьи-то чужие, услышанные слова. Вера ничего не понимала.

«Папа и мама не любят друг друга... Мама живет не одна... Василий Андреевич... Он моложе мамы...»

Кто он, этот Василий Андреевич? Вера не могла вспомнить его лица. В памяти возникали одни черные усики, потные руки и короткие пальцы с рыжими волосами, беспокойно скользящие по школьному платью Вали.

Девочке еще больше стало жаль маму, когда она узнала, что этот неприятный человек живет вместе с нею.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Третьего января на новогоднем вечере для старшеклассников Миша Новоселов получил записку: «Не хотите ли познакомиться с хорошенькой девочкой номер двадцать?»

Ему показалось, что записку Анне Шелестовой, которая на вечере выполняла обязанность почтальона, передала сама Валя Глушко — номер двадцать. Записка могла быть всего-навсего безобидной шуткой. Возможно, Валя заметила, как он неотступно ходит за нею, и решила разыграть его. Но «познакомиться с хорошенькой девочкой номер двадцать» было тайным желанием самого Миши. Остаться равнодушным к записке он не мог. Их, правда, нельзя считать и незнакомыми: Валя училась в девятом «А», Миша в девятом «Б». Но в записке подразумевалось совсем иное знакомство.

И все же до конца вечера Миша так и не решился заговорить с Валей. Один раз сзади на него кинули горсть конфетти. Он не видел, кто это сделал, но ему хотелось, чтобы это была Валя.

Вечер закончился поздно.

Зима в этом году со странностями: после декабрьской стужи в январе наступила оттепель. Лохматые снежинки ярко вспыхивали, попадая в полосы электрического света, беспорядочно и медленно кружились перед глазами. Казалось, они так и не долетали до земли, хотя на тротуарах уже скопился слой свежего, липкого и скользкого снега. Из-под колес автомобилей мягкими шлепками разлетались лепешки полуталого снега.

Миша перебежал улицу, спрятался за спины запоздалых пассажиров у троллейбусной остановки. Из школьного двора вышла Валя. На углу улиц она распрощалась с подругами. Миша догнал ее через два квартала. Шел вслед за нею, не осмеливаясь ни подойти ближе, ни окликнуть ее.

На краю тротуара снег не успевал таять, лежал белый, ровный, мягкий. А на середине проезжей части улицы мокро поблескивал обнаженный асфальт. Миша отчетливо слышал Валины шаги, приглушенные снегом. Из густого снежного кружева все предметы выступали чуть призрачно. Улыбки и взгляды прохожих казались загадочными. На плечах и шапках каждый нес тонкий слой снежинок.

Перебегая улицу, Валя оглянулась, посмотрела на Мишу. Узнала или не узнала? Миша замедлил шаги. Валя тоже пошла тише.

Возле двора со старинными железными

воротами, куда свернула Валя, Миша остановился. В полутьме длинного свода гулко отстучали каблуки Валиных ботинок.

— Валя! — негромко позвал он и за ударами своего сердца не услышал, как в тот же миг его голос отразился от стен и низкого кирпичного свода. Валя не отозвалась.

— Ушла! Трус, мазила! — прошептал Миша.

Он хотел уходить, когда в глубине слабо освещенного двора в мерцании снежинок заметил Валю. Лица девушки не было видно, но он все равно узнал ее. Валя вошла обратно под длинный свод.

— Это вы, Миша? — с притворным удивлением спросила она.

— Я. Шел вот... Вижу, впереди кто-то знакомый... Вы здесь живете?

Валя, кажется, не замечала его смущения.

— Вы тоже на этой улице живете, Миша?

— Д-да. Точнее, нет. Это я к знакомому шел, к Леньке Потапову, — обрадовался он, вспомнив, что Леня действительно живет неподалеку. Чтобы ложь стала еще правдоподобнее, пояснил: — Его не было на вечере, я хотел узнать...

— Но ведь уже поздно. У них, наверное, спят.

— Верно. Не подумал. Я, пожалуй, домой пойду.

Постояли молча. Валя спросила:

— Вы почему не танцевали на вечере?

— Я? Я плохо танцую.

— А я очень люблю танцевать.

— А что? Танцы — это, в общем, не так уж плохо.

По улице мимо двора изредка проезжали автомобили. Свет фар косо скользил по облупленному кирпичному своду, внезапно ложился на Валино лицо. В густых бровях у нее вспыхивали капельки — растаявшие снежинки. Снова все погружалось в тень, только загадочно сверкали продолговатые белки Валиных глаз.

В ворота вошли двое взрослых. Проходя мимо, они пристально посмотрели на затихших у стены Мишу и Валю.

— Выйдем на улицу, походим, — шепотом предложил Миша.

Вокруг по-прежнему весело мельтешили снежинки. Валя поскользнулась, Миша удержал ее. Валя сжала его руку. Ее ладонь даже через мокрую от снега перчатку показалась горячей. Валя сама взяла его под руку. Дошли до угла и вернулись обратно.

— Мне нельзя больше, надо домой.

Сейчас она уйдет к себе, и он не увидит ее до конца каникул. А он ничего не успел сказать ей.

— Ты где будешь завтра? У меня завтра весь день свободный, — сказал он. — Вечером я, наверно, на каток пойду.

— Ой! Это же замечательно. Я тоже собиралась. Приходи за мной, я буду ждать. Правда, говорят, на катке нельзя знакомиться — поскользнешься.

— Старые предрассудки.

— Нет, не старые. Это совсем новая примета. Но я все равно не верю. Я все считаю наоборот, даже тринадцатый номер у меня счастливый.

...Миша несся по улице навстречу мокрой пелене снега. Холодные пушинки касались горячих щек и сразу таяли.

— Вот я и познакомился с «хорошенькой девочкой номер двадцать», — твердил он.

2

Веру всерьез огорчало легкомыслие старшей сестры. Валя не скрывала своих тайн. В девятом классе у нее появились ухажеры. Валя всех их водила за нос: назначала свидания, а сама не приходила. Их робкие заверения в бескорыстной и вечной дружбе выслушивала под древним кирпичным сводом, что при входе во двор. После со смешными подробностями рассказывала матери при Вере и Алле Александровне. Мать, слушая Валю, поглаживала свое лицо и качала головой. Было непонятно, одобряет она или осуждает дочь. Алла Александровна оживлялась, выцветшие глазки ее округлялись и начинали слезиться.

— Молодость, молодость — проказы, — со вздохом говорила она, потихоньку хихикая, и предупреждала: — Берегись, дева, ой, берегись! На шуточках и обжечься можно.

— Не балуй, Валя, не балуй,—поддерживала мать.

— Ты им, этим женишкам, не очень потакай. При твоей-то красоте и серьезный человек сыщется, — предостерегала Алла Александровна.

Когда девочки уходили от матери и молча шли к трамвайной остановке, Валя ловила сестру за рукав:

— Ты опять дуешься, Верка?

Вера, не отвечая, вырывала руку.

— Ну, Верочка, перестань,—плачущим голосом упрашивала Валя.

За последний год Вера сильно вытянулась, и сестры стали одного роста. Только Вера все

равно оставалась подростком, а стройная осанистая Валя выглядела девушкой. Прохожие оглядывались и, задерживая взгляд на нежном румянце Валиного лица, непроизвольно отвечали улыбкой на мгновенную озорную вспышку ее голубых глаз. Младшая Вера по-детски худенькая. Должно быть, от этого и еще оттого, что брови у нее прямые и черные, большие продолговатые глаза девочки казались необычайно темными и серьезными. Сходство между сестрами проступало в неуловимо одинаковой складке губ, в очертаниях профиля. Всякий, кто видел их вместе, догадывался: сестры.

— Не понимаю, как тебе хочется слушать эту противную Аллу Александровну? И зачем только ты рассказываешь ей про мальчишек?

— Тебе завидно. Ой, знаешь, Верка, — вспомнила Валя, — ведь ее вовсе не Алла Александровна звать, а Акулина Севастьяновна. Акулина Севастьяновна, — нараспев повторила она и рассмеялась. — Только ты ее не называй так, она обидится.

— Да мне-то что за дело, как ее звать. Фальшивая она вся, как будто не настоящая, а из старой пьесы. Ненавижу я ее.

— Злющая ты, Верка.

— Никакая я не злющая. А только не люблю я сюда ходить. Дом здесь вонючий.

— Да ведь мы же к маме.

Из всех Валиных обожателей Вера выделяла Мишу. Похоже, что и сама Валя дорожила его дружбой. Во всяком случае, про него она не рассказывала у матери и не обманывала его, как остальных.

Как-то Валя призналась сестре:

— Знаешь, Верка, не такая уж я ветреная, как ты говоришь. Ведь по-настоящему я дружу с одним Мишей Новоселовым. Я не виновата, что другие ко мне пристают.

3

Леня и Миша дружили чуть ли не с первого класса. По натуре Леня рассеянный и безалаберный. Выбирать характер по своему вкусу не приходится: что досталось по наследству, то и есть. Но Леня не захотел с этим мириться:

— Мой дедушка богомольным стариканом был. Что же, и мне прикажете в церковь ходить?

Леня твердо решил устранить все недочеты своего характера и закалить волю. Оказывается, это совсем не сложно. Нужно только по утрам делать холодные обтирания и заниматься гимнастикой по системе иогов. Никто не знал, где он откопал этих иогов. Такой уж человек Леня Потапов, всегда что-нибудь откопает.

У него, правда, и без того было одно замечательное качество: что бы у него ни попросили ребята (велосипед, фотоаппарат, коньки или авторучку), он не отказывал. Его вещами можно было пользоваться сколько угодно, сам он никогда не напомнит, что пора вернуть. Возможно, это и положительная черта характера. Только появилась она у него не от утренней гимнастики, а передалась по наследству — от отца.

Вот уж кто-кто, а Павел Сергеевич, Ленин отец, пожалуй, ни разу в жизни не делал зарядки. Во всяком случае, судя по его комплекции, тройному подбородку и постоянной добродушнейшей улыбке, не скажешь, что он придерживается системы иогов.

Всех Лениных друзей он знал по имени. При встрече на улице первый улыбался и кричал:

— Здравствуйте, молодо-зелено!

Кричал так громко, что ребята стеснялись, а он хоть бы что. Но в общем он был славный человек и лучше других понимал ребячьи интересы. Только никак не верилось, что он работает на заводе главным инженером. Его, должно быть, никто не слушается. Непонятно, как он там все-таки управляется с делами.

Внешне Леня, вылитый отец, но втрое худее и без складок на шее. Зато ямка на круглом мягком подбородке у него точно такая же.

Если ребятам нужно было уединиться, собирались у Потаповых. Такой просторной квартиры ни у кого больше не было. К тому же часто Леня оставался дома один. Отец и мать его любили ходить в театр. Пытались они и сына сделать театралом. Водили на пьесы, в которых положительные герои то и дело совершали благородные поступки. Но он скоро раскусил нехитрую педагогическую уловку родителей и восстал. В этом возрасте ребята не любят, если им что-то навязывают — своих любимых героев они выбирают сами.

Интересы шестнадцатилетних определенные: хочется скорее познать все запретное. Однажды четверо приятелей из девятого «Б» собрались у Потаповых «раздавить бутылочку виски с содовой». Идею подал Вадим Бокарев.

— Виски с содовой — это да! Детям до шестнадцати лет не разрешается. Это вам не порция клубничного мороженого. Виски с содовой — джентльменский напиток. — Вадим причмокивал языком и улыбался на особый

манер, перекашивая губы так, что один угол рта поднимался у него кверху, другой опускался вниз. Возможно, подобная улыбка была природным свойством его лица, но скорее всего он отработал ее перед зеркалом специально. Такую улыбку никак не назовешь шаблонной, она сразу выделяет человека среди других.

Ребята отлично понимали: о виски с содовой Вадим знает не больше их. Но, честно говоря, соблазнить их не составляло труда.

В этот вечер Ленины отец и мать ушли в театр. Друзья собрались в большой комнате за круглым столом. Четвертым был Виктор Семенов — закадычный приятель Вадима. Виски не достали, пришлось заменить водкой, вместо содовой купили боржом. На закуску принесли бананов и по настоящей сигаре. Словом, полный шик-модерн.

— Самая джентльменская доза, — тоном знатока объявил Вадим, наливая водку в четыре рюмки.

Выпили. Оказалась порядочная дрянь, но никто не подал вида. Запили минеральной водой, съели по банану и закурили сигары. Вадим задрал ноги на стол. Остальные тоже. Ребятам нужно было насладиться свободой и своим совершеннолетием. А прочувствовать все это можно только в случае, если удастся задрать ноги выше головы. Сидели в таких позах, чадили дымом и беседовали.

— Англичане — классная нация, — сказал Вадим, сдувая пепел с сигары. — Все лучшее создали англичане: бокс и виски.

Вадим второй год занимался в секции бокса, недавно получил третий разряд и при случае не забывал напомнить про это.

— Положим, у англичан есть и другие заслуги, кроме виски и бокса,—возразил Миша.

Вадим не уловил иронии.

— А я разве против — я и говорю, классная нация.

— А Ленька вон предпочел индийскую систему иогов.

— Иогов? — переспросил Вадим.— А, слышал. Это которые на голове стоят. Ленька, ты тоже на голове стоишь?

— И стою. Это способствует гармоническому развитию органов, укрепляет нервную систему и воспитывает волю. И вовсе здесь ничего смешного нет.

— Бокс еще лучше укрепляет волю. Если бы все занимались боксом, у нас больных бы не было и врачей бы не нужно было.

— Кроме хирургов, — уточнил Миша, — челюсти вправлять на место.

Виктор поспешно выпустил струю дыма и кашлянул.

— Вот древние греки все были здоровыми. Там делали проще: родился уродом или больным — швыряли со скалы в море.

— Это тоже недурно,— поддержал Вадим.

— Ну, ты загнул, хорошенькое «недурно», — рассердился Леня. — Это жестоко.

— Почему жестоко? Из нас четверых никого бы не выбросили.

Леня недовольно покосился на Мишу: такие остроты он не принимал. Принципиальный человек этот Леня: начнет спорить, до него никакие шутки не доходят, все принимает всерьез.

Вадим налил по второй рюмке. Миша поперхнулся и закашлялся.

— Голова у меня закружилась, — смущенно объяснил он.

— Это только чувство такое, что кружится, — уточнил Леня. — Алкоголь в малых дозах тонизирует центральную нервную систему, но нарушает координацию.

Леня, как никто другой, умел дать строго научное определение любому явлению, которое до этого казалось простым и ясным.

— Откуда ты все знаешь? — спросил Миша. — Можно подумать, что ты не спишь по ночам, а читаешь энциклопедию. Скажи, кто такой Иоахим Колабрийский?

— Не знаю... А кто он?

— Черт его знает, кто. Я не помню уж, где и слышал это имя. Просто думал, ты все знаешь.

— Можно в энциклопедии посмотреть. Я сейчас достану.

Вадим поморщился. Разговор явно не получался, уходил не в то русло.

— Ладно, сиди, — остановил он Леньку,— охота вам всякой чепухой заниматься. В школе надоело. Давайте в другой раз соберемся с девочками. Принесем магнитофон, потанцуем.

— С какими еще девочками?

— Каждый со своей.

— А я... я ни с кем не дружу, — сказал Леня. — Да и зачем их? Разве они будут пить водку?

Вадим презрительно хмыкнул, остальные промолчали.

В половине двенадцатого разошлись: скоро должны были вернуться Ленины родители.

Оставшись один, Леня расставил стулья, стряхнул со скатерти пепел и вышвырнул недокуренные сигары в форточку.

Щелкнул внутренний замок, и в коридоре послышались шаги. Леня схватил из шкафа какую-то книжку и уткнулся в нее. Отец и мать прошли в спальню переодеваться. Через несколько минут мать вернулась в гостиную.

Подозрительно покосилась на сына и открыла форточку. Потом долго, с пытливостью Шерлока Холмса смотрела на скатерть и на Ленины ботинки.

— У тебя были товарищи?

Леня кивнул головой.

— Я никогда не запрещаю вам собираться вместе, но если в другой раз вам захочется плясать на столе, снимайте скатерть.

Леня промычал что-то невнятное и уткнулся в книгу. Он готов был провалиться сквозь пол.

Мать покачала над ним головой и ушла в спальню. Дверь за нею осталась приоткрытой. Лене виден был столик возле кровати с ночной лампой в форме домика на курьих ножках и слышен разговор. Он знал, что подслушивать подло, ему нужно уйти, но сидел на стуле, словно привинченный.

— Павел, я не знаю, как быть. Мальчики собирались без нас, курили... Окурки выбросили за окно, запачкали пеплом гардины.

— Высечь.

Павел Сергеевич сторонник крутых мер, правда, только на словах.

— Павел, я серьезно. Они какие-то особенные растут — дикие.

— Мы такими же были.

— Ну, не скажи. У нас были цели, стремления, мы чем-то увлекались.

— В его годы я увлекался футболом.

— Ты всегда утрируешь.

— Ты напрасно волнуешься, ничего страшного. Надо предупредить, чтобы окурки не бросали в окно — это негигиенично.

— Я сказала. Еще они заляпали скатерть подошвами. Что они устраивали, как ты думаешь?

— Сидели, видимо, по-американски.

— Идиотизм какой-то.

— Ничего особенного: молодо-зелено, желторотые птенцы играют в больших. Это у всех было — цыплячий возраст. Пройдет.

— Ты спокоен, а мне страшно.

Больше встреч за бутылкой виски с содовой не было. Леня наотрез отказался устраивать выпивки и танцульки у себя в квартире. Как ни уговаривали его друзья, он остался тверд. Должно быть, сказывалась система иогов. Новоселов тоже особенно не настаивал. Перспектива сидеть целый вечер за столом вверх ногами и молоть разный вздор не очень соблазняла его. Хватило и одного раза. К тому же Вадим предлагал собраться с девочками, а Миша не был уверен, что Валя согласится пойти с ним.

4

Дважды в неделю, вечером после школы, наспех поужинав, Миша торопился на каток. По пути он делал изрядный крюк, заходил за Валей. Обычно она ждала его и на звонок выбегала в коридор:

— Это ты? Подожди, я сейчас.

Через минуту она возвращалась уже одетая, отдавала ему сумку, в которой лежали ботинки с коньками. На ходу застегивала пальто. Мише нравилось идти рядом с нею.

Как-то в субботу дверь ему открыла сестра Вали. Она удивленно посмотрела на него большими темными глазами и смутилась:

— Вали нет. Она недавно ушла... Вы посидите у нас, я позвоню.

Миша оставил коньки у входа, снял шапку и вслед за Верой прошел в комнату.

— Я спрошу, где Валя. Подождите.

Телефон был в коридоре. Миша слышал, как Вера разговаривала:

— Валя пришла? Нет, ничего. Я потом скажу ей. Нет. Папа не скоро будет.

Вера вернулась в комнату.

— Валя не сможет сегодня... Она ушла...

— А когда вернется?

— Скоро... Нет... Я не знаю, когда.

— Куда она ушла?

Вера, опустив голову, молча смотрела на свои руки, бледные, с тонкими нервными пальцами, и машинально теребила чистый передник. Она явно что-то скрывала от Миши. Он взглянул на ее руки и увидел свежие царапины.

— У вас злая кошка?

Девочка покраснела и спрятала руки за спину.

— Это не кошка — котенок.

— Скажи мне номер телефона, я сам позвоню ей, — попросил Миша.

— Я не помню номера, — помедлив, ответила Вера и виновато поглядела на Мишу. В глубоких темных глазах ее заблестели слезы, длинные ресницы дрогнули несколько раз. «Не заставляйте меня говорить неправду, мне больно», — прочитал Миша в ее глазах.

— Ну ладно... Я пойду. — Он едва удержался от внезапного желания коснуться Вериных рук.

Выйдя в подъезд, вспомнил про коньки. Прежде чем надавил кнопку звонка, дверь открылась — на пороге стояла Вера с его коньками в руках.

— Вы забыли, — с доброй улыбкой сказала она.

Вера вернулась в комнату, в окошко увидела Мишу. Он медленно брел по двору. Под

темным кирпичным сводом остановился и посмотрел на окна их квартиры. Вера отпрянула в сторону. Она не сразу сообразила, что он не может увидеть ее в неосвещенной комнате.

Вера была недовольна собою. Как-то все нехорошо получилось, и вела она себя глупо. Вначале она хотела сказать Мише правду: сестра ушла к маме, ее позвали на вечеринку. Но не решилась. Вера не знала, известно ли ему, что их мать живет отдельно.

Сама Вера уже больше месяца не ходила к матери. Последний раз она видела ее в одно из воскресений. В тот день и Василий Андреевич был дома. В комнате многое переменилось: старую мебель убрали, вместо нее вдоль стен разместились новые стулья, оттоманка, шифоньер, сервант. В коридоре загораживал проход вместительный книжный шкаф. В комнате ему не осталось места. На окне и на дверях, касаясь бахромою пола, висели темно-бордовые шторы. Знакомым для Веры оставался только бронзовый абажур да собранные табуном на полках серванта белые слоники и балерины.

Василий Андреевич в мягких домашних туфлях шагал по комнате неслышно, словно сытый кот. На нем была новая гуцульская рубашка с вышитым воротником и рукавами. Он с удовольствием посматривал на свое отражение в зеркале.

Мать выглядела усталой и озабоченной, морщины под глазами обозначились резче. Несколько раз она, незаметно для Василия Андреевича, разглаживала их кончиками пальцев, а как только он поворачивался к ней, испуганно убирала пальцы.

Видя мать такой боязливой и жалкой, Вера чувствовала себя неуютно. Грозно нависший над столом старинный бронзовый абажур своим видом почти физически ощутимо угнетал Веру. Воображение девочки наделило его недобрым коварным характером, словно это был не просто абажур для лампы, а живое существо.

Единственное окно в комнате занавешено. Плотные темные шторы пропускали мало света.

Сели обедать. За столом бесшумной тенью появилась Алла Александровна. Василий Андреевич достал из буфета початую бутылку коньяка, налил себе и Алле Александровне. Выпил и с благодушной улыбкой посмотрел на соседку. Она дрожащей рукой поднесла рюмку к губам, чуть пригубила и патетически закатила глаза.

— Амброзия, — прошептала она, — истинная амброзия!

— Коньяк как коньяк, — скромно возразил Василий Андреевич.

Лесть соседки хотя и была привычна, но ласкала слух.

— Я вчера был у Эдуарда Михайловича, — сказал он, взглянув поверх головы Людмилы Николаевны.

Мать не ответила. Вере отчего-то показалось, что она не хочет продолжать разговор. Алла Александровна проглотила коньяк и преданно заглянула в лицо Василию Андреевичу.

— Эдуард Михайлович обещал помочь, — продолжал Василий Андреевич. — Есть одна зацепка в нашу пользу. Очень деликатная штучка. Я бы сам ни за что не додумался — он подсказал...

— Попробуй сыру, это твой любимый, — перебила его Людмила Николаевна, тревожно посмотрев на Веру.

— Превосходный, ароматный,—Алла Александровна кончиками пальцев деликатно схватила прозрачный ломтик сыра.

На время разговор оборвался, все занялись едой. Вскоре Василий Андреевич отложил свою вилку. Должно быть, новость занимала его больше.

Вначале Вера не прислушивалась, она не понимала, о чем он говорил: о каком-то знакомом юристе Эдуарде Михайловиче, о правах Людмилы Николаевны на жилплощадь... Но мало-помалу ей стало ясно, в чем дело. Квартира, где жили сейчас Василий Андреевич и Людмила Николаевна, мала. К тому же во дворе нет места под гараж для автомашины. А в то время, когда они (то есть он и мать) теснятся в одной комнате, кто-то другой не по праву живет в хоромах. Потом Вера поняла: кто-то другой — ее папа. Василий Андреевич убеждал подать в суд. По закону Людмиле Николаевне возвратят половину жилой площади. Нужно только сделать все юридически правильно, чтобы комар носа не подточил. А Эдуард Михайлович берется уладить это щекотливое дело.

— Ты пойми одно, — убежденно говорил Василий Андреевич, переводя взгляд с Людмилы Николаевны на Аллу Александровну, — дальше тянуть нельзя. Хватит нам разыгрывать благородство. Оно у меня вот уже где сидит. — Он выразительно провел ладонью по своей шее.

Алла Александровна соглашалась и учтиво поддакивала. А между делом продолжала жевать, выбирая с тарелки остатки сыра. Людмила Николаевна болезненно морщилась и, показывая глазами на Веру, отрицательно качала головой.

— Ну, знаю, знаю. Ты опять свое: «Подожди немного, он скоро умрет, и вся квартира будет наша». Надоело ждать. Ну чего машешь руками? Девочки не маленькие, сами знают: отец болен, долго не проскрипит.

Закончив фразу, Василий Андреевич остановил взгляд на Вере. На миг в комнате стало пронзительно тихо. Вера почувствовала, как у нее мелко задрожали пальцы. Она резко убрала руки со стола на колени. У нее появилось внезапное желание запустить в сытую физиономию Василия Андреевича тарелку с остатками картофельного пюре. Он первым не выдержал ее взгляда. В короткой усмешке блеснул зубами и потянулся к бутылке с коньяком. Напротив себя за столом Вера видела испуганное лицо матери, а рядом беспечно улыбающуюся Валю. Та слышала все это уже не в первый раз. Едва сдерживая слезы обиды и гнева, Вера вскочила из-за стола. От ее неловкого движения с грохотом опрокинулся тяжелый стул. Вера выбежала из комнаты и в полутьме коридора срывала с вешалки чьи-то пальто, отыскивая свое.

— Вера! Вера! Вернись, Вера! — крикнула мать.

— Поменьше внимания на капризы девчонки. Она у вас ненормальная, — громко сказал Василий Андреевич.

— Валя, догони ее, успокой, — попросила мать.

Больше Вера ничего не слышала, она выбежала на лестницу.

С этого дня Вера не ходила к матери.

Из окна комнаты Вера видела Мишу. Он держал ботинки под мышкой и нетерпеливо ходил взад и вперед. На улице холодно и ветрено. Выйти сказать ему, чтобы не ждал зря — Валя вернется не скоро. Но тогда придется объяснять ему, что мама живет отдельно. Нет. Только не это.

Вера не любила оставаться одна в квартире. Дома время не двигалось. Большие настольные часы в папиной комнате напрасно отсчитывали секунды. Веру угнетала тоскливая тишина пустых комнат, и она убегала на улицу. Двойным поворотом ключа запирала в квартире противную тишину вместе с монотонным тиканьем маятника и запахом валерианки из папиной комнаты. Стоило девочке выйти на улицу, и время начинало двигаться в своем обычном ритме. По тротуару в обе стороны торопливо шагали пешеходы. Вере радостно было чувствовать себя среди них. На улице не было места одиночеству. Казалось, у них в квартире и вне ее совершенно разные миры. Чаще всего она уходила к школьной подруге Жене Клетковой. Они вместе готовили уроки, смотрели телевизор или играли во дворе с другими ребятами.

Но сегодня Вере пришлось весь вечер слушать унылое тиканье маятника. Пока Миша ходил у ворот, она не решалась выйти со двора.

5

Миша все-таки дождался Валю. В начале двенадцатого неподалеку от ворот остановилась «победа». Открылась задняя дверца, и он услышал Валин голос:

— До свидания.

Вслед за Валей через переднюю дверцу автомобиля спиною к Мише вылез мужчина без шапки в распахнутом пальто, полы которого раздувало ветром. Он взял Валю за руку и долго не отпускал. Потом снял перчатку и поднес руку девушки к губам. Валя засмеялась и отбежала на тротуар. Мужчина сел в машину, захлопнул дверцу. Автомобиль с выключенными фарами прокатился мимо Миши. Валя помахала вслед рукой и неожиданно остановилась, узнав Мишу:

— Здравствуй... Миша.

— Где ты была? Кто это с тобой приезжал? — спросил он.

— Ах, это, — кивнула Валя вслед укатившей «победе», — это один мамин знакомый. Я была у мамы. Он провожал меня. Ты давно здесь?

— Нет, недавно, — соврал Миша. — Я с катка, мимоходом. Ну, я пошел.

— Слушай, Миша, — остановила его Валя. — Подожди, не сердись. Ну, я виновата. Понимаешь, совсем забыла, что мы собирались на каток. Забыла предупредить тебя, что не смогу: у мамы сегодня собирались гости, и я должна...

Миша недоверчиво смотрел на нее.

— Ну, послушай, ты же ничего не знаешь: у нас мама живет отдельно... Понимаешь? Мы с папой, а она отдельно... с другим. Понимаешь теперь? Вот это он и провожал меня, у него своя «победа».

— А зачем он твою руку поцеловал?

— Глупый ты, Мишка. Ну, поцеловал и все. Давай завтра сходим на каток. Пойдешь? В пять часов?

— Ладно, пойдем, — согласился он, — только ты...

— Ну вот и хорошо,— обрадовалась Валя, неожиданно поцеловала его в щеку и убежала во двор, крикнув на ходу: — До завтра, до пяти!

Валя не хотела обманывать Мишу, все вышло случайно. Вечером ей позвонила мама и пригласила к себе, соберутся гости, будет весело. Вале не терпелось надеть новое голубое платье — папин подарок к восьмому марта. Отец всегда делал подарки заранее. Оглядев себя в зеркале, она осталась довольна. Ее всегда радовал и по-особенному волновал процесс одевания и сборов. В новом платье она станет еще красивее, мамины гости будут часто говорить ей об этом. Уже с той минуты, как Валя остановилась перед зеркалом, держа платье в руках, она мысленно слышала все будущие восторженные и лестные замечания.

Про каток и про Мишу она забыла.

На вечеринке Валя выпила немного шампанского и красного вина. Василий Андреевич, наливая в ее рюмку, нарочно для нее одной прочел надпись на этикетке. Оказывается, вино изготовлялось из отборного винограда какого-то особого сорта.

— Марочное, — пояснил он, поворачивая перед Валиными глазами бутылку с заманчивой этикеткой.

Среди гостей обращал на себя внимание юноша с худым и очень бледным, словно напудренным лицом. У него оказалось короткое и странное имя — Дод. Он и еще двое парней держались особняком. Валя никого из них прежде не видела.

После ужина танцевали под музыку, записанную на магнитофонной ленте. Дод с независимым видом сидел на диване, закинув ногу на ногу, и снисходительно улыбался, глядя, как веселятся пожилые гости. Только один раз за вечер он поднялся с дивана и подошел к Вале. На ходу ловким и точным щелчком зашвырнул окурок в массивную пепельницу на краю стола.

— Очаровательная синьорина, позвольте занять вас на пару минут. — Дод широко улыбнулся и поглядел на металлическую застежку Валиного платья на груди. Левое веко у него слегка дрогнуло.

Валя, стараясь не показать, как ей лестно его внимание, поднялась со стула.

Верхнюю губу Дода украшала модная полоска усов, такая же, как и у Василия Андреевича. Только Доду усы более кстати, они ярче оттеняли выразительную бледность его лица.

После танцев снова сели к столу.

— Валя, тебе пора, — сказала Людмила Николаевна, наклоняясь к дочери.

...Валя подходила к трамвайной остановке, когда ее обогнала «победа». Машина остановилась возле тротуара в нескольких шагах от девушки.

— Садитесь, Валя, подвезу.

За рулем был Василий Андреевич, на заднем сидении — Дод и его приятели. Валя села в машину. «Победа» мягко сорвалась с места и, проехав немного, развернулась в обратную сторону. Несколько поворотов — и она влилась в густой поток автомашин на Ленинградском шоссе. Возле Белорусского вокзала Дод и двое юношей высадились.

— Весьма рад был познакомиться с вами, мадемуазель, — сказал на прощание Дод, награждая Валю широкой улыбкой и слегка прищуривая один глаз.

Василий Андреевич показывал Вале, как переключаются скорости, обещал в скором времени научить ее управлять автомобилем. Справа и слева проносились ярко освещенные витрины магазинов и рекламы. На перекрестке зажегся красный светофор, Василий Андреевич резко затормозил; Валю оторвало от сидения, она рассмеялась и обеими руками уперлась в стекло. Из боковой улицы, пересекая центральную магистраль, хлынули два встречных потока автомобилей. Валя никак не могла узнать места, где они остановились. Это показалось забавным. Множество раз она ходила здесь пешком, ездила на автобусе, но сейчас, при вечернем ярком и пляшущем свете, все выглядело незнакомо, будто она попала в чужой город.

Она не заметила, когда сменился знак светофора и Василий Андреевич включил скорость. Легким толчком ее отбросило на податливо мягкую спинку сидения, и она снова рассмеялась. Василий Андреевич с довольной улыбкой повернулся к ней.

Больше не останавливались. Неоновая карусель реклам осталась позади. Впереди по гладкой мостовой катились полосы далекого отраженного света. В глубине площади справа зубчатым строем мелькнула кремлевская стена. Туманным видением в ночи поднялся храм Василия Блаженного, уперся неразличимыми резными куполами в звезды, на миг заслонил собою все и тотчас остался позади. Въехали на мост. От Москвы-реки поднимался жидкий туман. За Чугунным мостом повернули влево.

Здесь движения было меньше, и не стало повсюду яркого света. Василий Андреевич сделался вдруг серьезным.

— Ну вот, скоро и приедем, — сказал он.

Машина двигалась совсем медленно. Василий Андреевич управлял одной левой рукой — правой он шарил у себя в кармане пальто. Достал папиросы и, остановив машину у обочины, закурил. Они стояли в тихом переулке. Ровно светился циферблат часов.

На приборы падал рассеянный свет далеких уличных фонарей. Левый круг спидометра попадал в тень, на правом виднелись две последние цифры: единица и тройка.

«Тринадцать — зловещее число», — подумала Валя.

Василий Андреевич курил и молчал. Она видела темные глаза, устремленные на нее. Ей стало неприятно и немного страшно.

— Поедемте скорее, — попросила она, стараясь не выказать своего испуга.

— Сейчас поедем. — Его голос показался незнакомым. Он затушил папиросу и положил руку на Валино плечо. Она отодвинулась. Вдруг он сильно сжал ей локоть и привлек девушку к себе. Она едва успела отвернуть лицо — мокрые губы скользнули по щеке. Валя ладонями уперлась в его грудь. Она не ожидала, что у нее так много силы. Нащупав позади себя ручку, отворила дверцу и выпрыгнула на мостовую. Не оглядываясь, побежала, на ходу поправила измятый на груди шарфик, достала носовой платок и углом его вытерла щеку.

Скоро знакомая «победа» обогнала ее и остановилась. На тротуар вышел Василий Андреевич. Электрический свет падал на него. Легкий ветер откинул обе полы его не застегнутого пальто с болтающимся позади поясом. Он стоял, выпятив вперед грудь, и недовольно морщился, отворачиваясь от ветра.

Теперь Валя не боялась его: на улице, хотя и редко, встречались пешеходы.

— Валя, — тихо сказал он, когда она поровнялась с ним, — забудьте мою глупую выходку. До дому еще далеко, садитесь, подвезу.

Не отвечая ему, Валя подошла к машине и села на заднее сидение. Василий Андреевич облегченно вздохнул. Проехав немного, он, не оборачиваясь к ней, спросил:

— А как же наше обучение? Ведь мы не договорились, когда начнем. Только вы ничего не говорите Людмиле Николаевне — мы приготовим ей сюрприз. Я могу приезжать за вами в любое место, например, вот сюда на угол.

— Я еще не решила. Мне пока не хочется учиться. Я боюсь.

— Зря. Для начала выберем место, где мало движения. Уедем за город. Так когда начнем? Хотите, приеду завтра в пять?

— Нет, нет! Только не завтра.

— А когда?

— Я подумаю. Ой! Мы чуть не проехали. Остановите вон у той афиши.

Валя выскочила на тротуар.

— До свиданья, — сказала она.

— Так я буду ждать вас завтра в пять, — прошептал он, выйдя вслед за нею. Валя остановилась.

— Вы на меня не сердитесь? В знак примирения дайте руку.

Василий Андреевич снял с ее руки перчатку.

— Завтра на углу в пять, — прошептал он, прижимая Валины пальцы к губам.

Меньше всего Валя ожидала встретить Мишу. Вначале она смутилась, но не показала виду.

Бедный Мишка, он совсем закоченел. Врет, что шел с катка. Наверно, торчал у ворот с самого вечера. Смешной он. Все рыжие смешные. Странно, раньше она не замечала, что он рыжий, правда, самую чуточку рыжий. Если внимательно присмотреться, тогда только и заметен бронзовый отлив волос. Василий Андреевич тоже рыжий. Но он хоть признает это за недостаток и красится чем-то. Особенно усы. Рыжие усы — это не усы. Но хотя он и красится, все равно видно — рыжий. У него на пальцах растут волосы, редкие, длинные и рыжие. И тут Валя вспомнила Дола. Вот кто нисколько не рыжий — настоящий брюнет. Как он сказал: «Очаровательная синьорина...» Мишка никогда не скажет «очаровательная», разве с иронией. Его, правда, не всегда поймешь, когда он говорит серьезно, когда с иронией.

Еще Валя подумала о том, что другого такого же преданного друга, как Новоселов, у нее не будет, и о том, что она будто бы нарочно назначила свидание с ним на пять часов, чтобы не поддаться соблазну и не пойти на угол, где ее будет ждать Василий Андреевич в собственной «победе». Научиться водить автомобиль тоже неплохо. Но предложение Василия Андреевича настораживало ее. Нет, завтра в пять часов она пойдет на каток.

Дверь ей открыла Вера. На ее худеньких плечах висел папин пиджак.

— Какая ты смешная, Верка. Папа не вернулся?

— Нет. Его вызвали на какое-то совещание. Он недавно звонил. Ты есть хочешь?

— Нет, Верочка.

Валя поцеловала сестру. Вера сморщилась, подозрительно посмотрела на нее.

— Ты пьяная?

— Нет, Верунчик. Я только самую малость попробовала.

— Все равно от тебя вином пахнет.

— Ну и что? Мне скоро семнадцать лет исполнится.

Вера не ответила. Шаркая по полу большими ночными туфлями, ушла к своей постели, легла и укрылась одеялом с головой.

— Верка, не злись.

— К тебе приходил Миша Новоселов, — пробубнила Вера из-под одеяла. — Ты должна была предупредить его. Так нечестно.

— Ну и что, ну и что... — Валя закружилась по комнате, кинулась к Вере и сбросила с нее одеяло. Вера оттолкнула ее и опять укрылась с головой. Валя сдернула одеяло и начала щекотать сестру, пока та не рассмеялась.

— Ну вот, давно бы так. Знаешь, Верка, как я люблю тебя!

— Не знаю. Ты противная.

— Я противная? — Валя ушла к зеркалу. — А кое-кто думает иначе. Знаешь, как меня сегодня назвал один: очаровательная синьорина. Очаровательная синьорина, очаровательная синьорина...

Валя кружилась и напевала, кружилась и напевала одно и тоже: — Очаровательная синьорина, очаровательная синьорина...

Неожиданно она перестала танцевать, села на стул. Ей уже не было весело. Она разделась, разбросала одежду по стульям. Выключила свет и легла в постель. С ней всегда так было: весело, весело, а потом вдруг станет жалко себя, захочется, чтобы ее пожалели.

— Вера, — позвала она.

Одеяло на Вериной кровати чуть шевельнулось.

— Верочка... — В голосе Вали послышались неподдельные слезы.

Одеяло на соседней кровати взметнулось, босые ноги прошлепали по крашеному полу. Вера нырнула в постель к сестре.

На перекрестках улиц колючий ветер хлестал в лицо. Миша не отворачивался от него, не поднимал воротника. Он и верил и не верил Вале. Забыла предупредить. Как это можно забыть? Сам бы он никогда не забыл про нее. Но она девчонка. Может быть, они все такие рассеянные? Пока с ним — помнит его, другой поцеловал руку — забыла.

Вот тут-то и услыхал Миша про какого-то Иоахима Колабрийского. Двое с толстенными портфелями под мышками вынырнули из бокового проулка. Миша обогнал их.

— Иоахим Колабрийский был не столько... — прожужжал один из них за спиною.

Что он там сказал еще — унесло ветром. Но странное имя — Иоахим Колабрийский — застряло в памяти, как заноза. Интересно, кем все-таки был этот Иоахим? Монахом или святым? С таким именем только святым и быть. Миша оглянулся — двое с портфелями исчезли.

Назавтра в пять вечера Миша был у знакомых ворот. В дом он не пошел. Ждал на улице. Валя пришла через несколько минут. В метро, пока спускались вниз на запруженном людьми эскалаторе, Валя неожиданно спросила:

— Миша, говорят, я очаровательная. Это правда?

— Охота тебе слушать всяких.

— Ну, знаешь... Не всяких. Воображаешь ты о себе много.

6

На последнем уроке Анатолий Юльевич, старый учитель литературы с безобидным прозвищем Абзац, занялся разбором домашних сочинений. Стопка тетрадей лежала перед ним на столе. По-старушечьи обрюзгшее лицо преподавателя озарялось улыбкой. Улыбка его имела десятки различных оттенков. По ней можно было безошибочно определить оценку. Он порылся в стопке и достал синюю тетрадь:

— Вот перед нами сочинение Потапова.

Улыбка ехидно ироническая и чуточку добродушная.

— Три с минусом, — слышится в классе громкий шепот.

— Послушайте, какие открытия делает Потапов.

Анатолий Юльевич поднес тетрадь к очкам, нашел нужное место и прочитал:

— «Если бы Рахметов догадался перейти на вегетарианскую диету, а не питался холодной ветчиною, он достиг бы еще лучших результатов по закаливанию своей воли».

— Неплохо было бы еще на голове стоять, — сказал Миша.

— Кто это пытается острить? — Анатолий Юльевич осмотрел класс поверх очков. — Тройка с минусом, — объявил он. — Исключительно за ваши добрые намерения, Потапов.

Пока Потапов садился за парту, учитель выбрал из стопки другую тетрадь:

— Бокарев.

Добрейшая улыбка осветила морщины старческого лица.

— Пять, — подсказывает класс.

— Пять, — радостно соглашается Анатолий Юльевич. — Сочинение Бокарева — лучшее.

Анатолий Юльевич любовно перелистнул тетрадь Бокарева. Даже солнечные зайчики на стеклах его очков вспыхнули радостно. Мягким своим выразительным голосом он прочитал:

«Мой любимый герой, которому я стремлюсь подражать в жизни, — Рахметов...»

— Пижон, — раздался громкий шепот.

Анатолий Юльевич поднял очки на лоб и оглядел класс, но так и не определил, кто сказал «пижон».

— Возьмите, Бокарев, заслуженная пятерка.

Вадим, скромно потупив глаза, прошел через класс и взял тетрадь.

— А вот следующая,— объявил учитель,— тетрадь Новоселова.

Улыбка выражает крайнюю степень недоумения.

— Двойка, — шепотом предрек кто-то.

— Двойка, — согласился учитель.— Вы послушайте, как он начал сочинение: «Рахметов — настоящий герой. Его твердости и мужеству можно позавидовать, но подражать ему в жизни я не хочу. Честно говоря, я никогда не назову его своим любимым героем. Из писателей мне больше всех нравится Джек Лондон, а мой любимый герой — Кристофер Белью из книги «Смок Белью»... Вот. А дальше Новоселов на целых четырех страницах описывает похождения своего любимца. Надо сказать, этот Смок в нравственном отношении личность сомнительная. Во всем сочинении больше ни слова о Рахметове, а ведь задана тема: «Образ Рахметова — пример для подражания».

На перемене Вадим похлопал Мишу по плечу. У него была такая привычка.

— Вот тебе и «честно говоря», — передразнил он, напомнив слова из Мишиного сочинения. — Честность — она на двоечку оценивается.

— Зато лицемерие на пять.

— Ну-ну, полегче на поворотах. Причем здесь лицемерие?

— А при том, — вмешался Леня Потапов. — Ты же сам говорил, не читал книгу — скучища. А пишешь: «Любимый герой — Рахметов».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

«ОБЪЯВЛЕНИЕ (строго секретно):
Сегодня после уроков состоится товарищеская встреча по боксу между
В. Бокаревым — третий разряд
и
М. Новоселовым — новичок.
(Оба — Москва). Для мужчин девятого «Б» вход свободный. О месте встречи будет сообщено дополнительно».

Когда листок попал в руки Миши, он взялся за карандаш и подрисовал внизу боксерские перчатки и две рожи. Одну с искрометным синяком под глазом, другую с фонтаном крови, хлещущим из носу. Потом скомкал бумагу и положил в карман. Передавать объявление дальше не было нужды: о предстоящей драке знали все.

Случилось это так.

На перемене ребята собрались в коридоре у окна, на третьем этаже. У девятого «А» последнего урока не было. Ученики гурьбой высыпали во двор. Позже всех вышла Валя Грушко.

— Новоселов, гляди: твоя Валька.— Вадим толкнул Мишу в бок и подмигнул ребятам.— Ничего натура — стильная. Да ты не отвертывайся. Смотрите, ребята, он покраснел. На них только так вот и нужно смотреть: сверху вниз.

— Перестань трепаться.

Вадим будто и не слышал:

— Только ты не очень-то возносись: не ты у нее первый, не ты последний.

Дружба с Валей давно оборвалась. Миша считал, что ему наплевать на это, но вступиться сейчас за нее было делом его чести.

— Подлец ты, Вадим!

— Что, что ты сказал? А ну, повтори!

Бокарев вызывающе повел плечами, поднял небрежно кулаки на уровень груди и несколько раз переступил с ноги на ногу — напоминал про свой третий разряд.

— Не паясничай, не испугаешь. Подлец, говорю, ты. Хуже нет, когда парень начинает сплетничать.

Вадим улыбнулся кособокой своей улыбкой. На щеках выступили красные пятна. Теперь уже отступления не было: все смотрели на них.

— Хочешь получить свое? Можем после уроков стукнуться по правилам, в перчатках.

— Согласен.

«Главное — спокойствие,— внушал Миша себе.— Вадим боксер не ахти какой — больше треплется. Буду действовать, как Мексиканец из рассказа Джека Лондона. Выждать момент — и один точный удар снизу».

Под партой он сжимал кулак и мысленно делал энергичный выпад. Под пиджаком непроизвольно напрягались мышцы.

Миша верил в свои силы и драки не боялся. Правда, у Мексиканца был огромный опыт, но у него и противником был не какой-то третьеразрядник.

«И пусть это будет последняя жертва на алтарь нашей дружбы,— произнес он мысленно нарочито выспренную фразу и сам чуть не рассмеялся.— А вообще,— продолжал думать он,— если бы Вадим говорил и не о Вальке, все равно нельзя терпеть такое. Под-

лость есть подлость—иначе не назовешь. Герои Джека Лондона в подобных случаях поступали бы так же!»

Мише хотелось вспомнить подходящий эпизод из прочитанных книг, но на память ничего не приходило.

Звонок задребезжал резко, неожиданно. Ребята с заговорщическим видом отстали от девочек. Достали ключ от кабинета, где хранился спортивный инвентарь. Местом «встречи» выбрали седьмой «А». Уборку здесь уже закончили, можно не опасаться, что кто-нибудь нагрянет. Дверь на всякий случай подперли изнутри партами.

Пока противники готовились, Виктор Семенов объявил регламент встречи:

— Будет три раунда. Время по секундомеру. Победа — нокаут, нет нокаута — считаем по очкам.

Вадим и Миша сбросили пиджаки, остались в тенисках. Вадим держался с показным спокойствием. Пока ему зашнуровывали перчатки, делал разминку, переступая с ноги на ногу. Миша смотрел в окно. Рукам в огромных перчатках было неудобно. Он жалел, что согласился драться в этом дурацком снаряжении.

Леня Потапов стоял рядом. Его широкий раздвоенный подбородок с умилительной ямкой посредине двигался влево-вправо. Глаза беспокойно бегали по лицам товарищей.

— Ребята, по-мсему, чепуха это,— заявил он.— Я против! Принципиальные споры не решают на кулаках. Что мы, дети?

— А как решать споры? В шахматы?— съехидничал Виктор, — «е» два — «е» четыре, вам мат, маэстро. Вы были неправы. Так, что ли?

— Не в шахматы, но и не дракой.

— Диспут устроить на комсомольском собрании?

— А хоть бы и диспут. Я предлагаю мириться. Ты был неправ, Вадим.

— Согласен, — тотчас отозвался Бокарев, продолжая разминку. Он свободно опустил руки в перчатках и легонько встряхивал ими. Весь вид его говорил: «Я что. Мне безразлично. Для меня это даже и не тренировка. Развлечение маленькое».

— В чем же дело?

— Он оскорбил меня.— Вадим кивнул на Мишу.— Пусть извинится. Я его прошу в память о прошлой дружбе. Не ссориться же нам в самом деле из-за девчонки.

— Будем драться.— Миша оттолкнул Леньку перчаткой.— Не суйся не в свое дело.

— Как хотите, а я не согласен. Я уйду,— заявил Леня.— Деритесь хоть на шпагах.

Ребята начали отодвигать парты от двери.

— Э, нет-нет, — запротестовал Виктор. — Вы что, не поняли: этот умник побежит в учительскую и приведет Петра Алексеевича. Здесь только его и не хватает.

— Ябедником никогда не был.— Ленька обиженно сел в дальний угол и демонстративно отвернулся к стене.

— Ты, Леня, на голове постой — нервы успокоишь,— посоветовал Миша. Шутка не удалась, никто не засмеялся.

Виктор взял в руку часы с секундомером. Вадим и Миша приготовились каждый в своем углу «ринга» — квадрата, огороженного партами.

Как только Вадим, приплясывая и чуточку рисуясь, выступил из своего угла, Миша забыл о намерении беречь силы для одного удара. Гулко защелкали кожаные перчатки. Вдруг потемнело в глазах, но боли не было. Миша раз, другой ударил в пустоту — Вадим, небрежно играя руками в огромных перчатках, приплясывал уже в стороне. Из-за этих дурацких перчаток невозможно пробиться к его лицу.

Снова короткая стычка, и опять все самые сильные Мишины удары пришлись мимо цели. Во рту он ощутил вкус крови. Верхняя губа стала неповоротливой, словно чужой.

Перерыв. Миша, тяжело дыша, сел на парту. В другом углу отдувался Вадим. Виктор носовым платком вытирал с его щеки кровь.

«Значит, я все-таки доставал его?»— удивился Миша.

Виктор оставил Вадима. Внимательно со всех сторон осмотрел лоснящуюся кожаную перчатку на Мишиной руке.

— Здесь один шов распоролся,— сказал он Вадиму,— удар получается царапающий. Может, заменим перчатки? Я принесу другую пару.

Вадим отрицательно мотнул головой. Виктор ногтем заправил острый рубец в распоротый шов.

Во втором раунде Миша держался спокойнее, меньше лупил по воздуху, выжидал удобный момент. Вадим тоже не наступал, а, пританцовывая, ходил вокруг, держа руки на уровне груди, и вяло бросал их в сторону Мишиного лица. Наконец, момент показался подходящим. Миша сделал упор на левую ногу и со всей силы нанес удар, целясь Вадиму в подбородок. В тот же миг услышал, как лязгнули его собственные челюсти.

Очнулся лежа на полу.

Виктор отсчитывал секунды:

— ...Четыре... пять...

Мише все вдруг стало безразличным. Под-

ниматься не хотелось. Можно спокойно дождаться счета «десять»— и все. Сквозь приоткрытые веки увидел Вадима. Тот с вялой улыбкой на губах потряхивал руками и с деланым равнодушием глядел себе под ноги. Рядом стоял Леня и испуганно смотрел на поверженного Мишу.

— ...Семь... восемь...

Миша резко вскочил на ноги. В голове гудело, будто за стеною шел железнодорожный состав. Легкая тошнота подступала к горлу. Надо как-то протерпеть до конца раунда, потом, наверное, станет легче.

Вадим торопился покончить с ним. Загнал его в угол. Миша едва увертывался от частых ударов. Виктор, должно быть, нарочно тянет время, не объявляет конец раунда, подыгрывает Вадиму, уверен, что тот повторит сейчас свой блистательный удар. Бедро уперлось в острую спинку сидения парты. Похоже, у Вадима не две руки, а все десять. Вадим молотил его часто, будто выбивал чечетку. Но удары не причиняли боли, просто в голове гудело еще сильнее — и только. Внезапно Миша увидел лицо Вадима совсем открытым. Уперся ногой в парту и вместе с корпусом кинул руку вперед. Вадим вдруг осел и плавно выстелился на полу.

Виктор не сразу начал считать. Разинув рот, смотрел на распятого своего кумира. Наконец, вспомнил.

— Один... два... три... пять... семь...

Вадим поднялся. Виктор объявил перерыв.

Третьего раунда Миша не боялся. Вадим сидел за партой, откинув голову, и глядел в потолок. Видно, его тоже мутило, хотя он и улыбался. Боксерам положено улыбаться, даже при неудаче. Миша знал: нужно отдышаться хорошенько. Дыхание — это, пожалуй, самое главное.

Виктор не успел объявить начало третьего раунда, как в дверь требовательно забарабанили. Послышался голос директора:

— Немедленно откройте.

Ребята вмиг расселись за парты, достали учебники и тетради.

— Готовимся к контрольной по математике, — предупредил Виктор.

— Что тут происходит? — Петр Алексеевич с веселой подозрительностью оглядел притихший класс. Миша и Вадим на задних партах спрятались за спинами ребят.

— Готовимся к контрольной по математике, Петр Алексеевич, — охотно объяснил Виктор.

— Вот ведь что!.. А мы-то думали: футбольная команда тренируется — в учительской люстра чуть не рухнула.

Директор прошелся между рядами парт. Ребята молча, усердно листали учебник.

— Это хорошо, что вы математикой занялись. Но и об отдыхе не нужно забывать. Идите-ка по домам.

Леня и Миша шли молча. На углу, где всегда расставались, Миша спросил:

— Здорово заметно?

— Не морда, а футбольный мяч. Есть какая-то мазь от синяков, ты намажься. Хотя можешь и не мазать. Твоей роже синяки идут.

— Тебе полезно злиться — становишься остроумным.

— Дураки вы оба.

— По-твоему, я должен был молчать? Пусть сплетничает?

— Молчать не нужно, но драка ни к чему. Мы...

— Леня, помолчи. Ничего нет скучнее нотаций. Лучше ругайся.

— Нет, ты послушай. Ну, что ты доказал? Еще ведь неясно, кто и победил.

— Ленька, ты — голова. Завтра записываюсь в секцию бокса.

— Ну и балда. Это чтобы Вадиму отомстить?

— Нет. Человек должен уметь защищать свою правоту. Ты же считаешь: я прав. Грош цена той правде, которая не постоит за себя.

— И ты всегда будешь доказывать кулаками?

— Не всегда. Но если нужно будет, то и кулаками.

2

Неожиданным результатом драки было примирение с Валей. На перемене она сама разыскала Мишу и отозвала в сторону. Они спрятались на пустой лестничной площадке. Сюда редко ходили: выше находился чердак.

— Миша, я все знаю — слышала. Благодарю тебя.

Он не слушал ее, смотрел на ее ноги. Должно быть, обувь была тесна ей. Одну ногу Валя высвободила из туфли. Пальцы шевелились под чулком.

— Не заслуживает благодарности. «Черт знает, какой вздор я несу», — подумал он.

— Миша, не скромничай. — Неожиданно Валя поцеловала его в щеку. Он покраснел, испуганно глянул на застекленную дверь в коридор. Их могли увидеть. Но сразу ему стало стыдно за свой страх. Что он, трусливее девчонки? Миша грубо обнял ее за плечи и поцеловал в губы. Валя тряхнула волосами и удивленно посмотрела на него.

— Пойдем сегодня на каток? — спросил он.

— Пойдем, — согласилась Валя. Всунула ногу в туфлю и убежала.

Из дому он вышел на целый час раньше срока. Шел кружным путем. Все получалось как-то слишком неожиданно. Он не знал, радует его встреча с Валей или нет.

Казалось, в прошлом году они поссорились навсегда.

— Мне надоели каток и кино. Ты бы хоть что-нибудь поинтереснее придумал, — заявила тогда Валя.

Они стояли возле ворот. Миша увидел знакомую «победу». Она остановилась напротив рекламы сберегательной кассы.

— Если тебе захотелось развлечься с маминым знакомым (Миша подчеркнул последние слова), иди к нему — он ждет. Видишь, рукой машет.

— И пойду. — Валя направилась к машине.

Сумка с Валиными коньками осталась у Миши. Валя шагала медленно, неуверенно, видно, ждала, не окликнет ли он ее. Ему хотелось догнать ее, вернуть, не отпускать от себя. Но это значило бы проявить свою слабость. Он стоял и смотрел, как она уходила от него. У кромки тротуара ее поджидал новенький автомобиль.

— Скатертью дорога, — прошептал Миша и повернул в другую сторону. Ему хотелось заплакать от обиды, но это было бы уже и вовсе не по-мужски. — Скатертью дорога, — повторил он со злостью и зашагал быстрее.

Сумку с коньками отдал на другой день в школе. Больше не приходил к Вале и даже избегал встречаться в школе. Потом боль и в самом деле прошла. Ему стало безразлично, с кем она разъезжает в автомобиле. Ее дело.

...И вот все могло начаться по-новому. Радует ли его это? Он не знал.

У знакомых железных ворот на него с разбегу налетела девушка в красной вязаной шапке. Она испуганно остановилась и растерянно прошептала:

— Извините, здравствуйте.

Миша едва узнал ее — это была Вера.

— Здравствуй, Вера. Какая ты стала...

— Здравствуйте, — еще раз сказала она и медленно пошла по тротуару. Пройдя немного, оглянулась. В широко раскрытых глазах недоумение.

Миша шагнул под кирпичную арку и увидел Валю. Она легко шагала навстречу. Коньков с ней не было. Заметив Мишу, она смутилась:

— Ты пришел? Я думала, тебе передали. Я недавно звонила к вам домой. Я не смогу пойти. Я тороплюсь.

Все это она проговорила, не глядя ему в лицо. На ней новая шляпка странного фасона с большой блестящей черной пуговицей. Она смотрела на Мишины руки, говорила с ним. Но ему казалось, что ее нет рядом, с ним стояла и разговаривала другая, не прошлогодняя Валя. Для нее, для этой новой Вали, Миша — чужой, посторонний.

— Извини, я спешу. — Она прошла мимо него, отрешенно глядя перед собой.

Мишино сердце сжалось. Он остановился на краю тротуара и, как в прошлом году, смотрел ей вслед. Валя шла не быстро, словно ждала кого-то. Вскоре перед ней остановилась «волга». Передняя дверца распахнулась. Валя оглянулась. Увидав Мишу, что-то сказала водителю. Блестящий автомобиль неслышно покатился дальше. Немного проехав, повернул за угол. Валя дошла до перекрестка и тоже свернула за угол.

Миша не спеша побрел в обратную сторону. Вскоре его обогнала «волга». Машина показалась знакомой. Через стекло на Мишу, улыбаясь, глядел незнакомый парень. Острое чувство презрения к себе пронзило Мишу.

«Что ж, на этом конец — точка! — подумал он. — Опять, наверно, с «маминым знакомым» кататься поехала. «Волгу» приобрел, подлец. «Победа» устарела».

Миша долго стоял на углу. «Волга» давно скрылась из виду, затерялась в редком потоке машин. Он не знал, что делать, куда идти теперь.

«Что ж это я в самом деле раскис из-за девчонки, — сказал он себе. — Довольно. Точка. Иду на каток, будто ничего и не было. А в самом деле, что случилось? Ничего?».

Его обогнала девушка в таких же белых ботинках, какие были на Вале. Миша зашагал быстрее, чтобы не отстать.

«Одна разве Валька на свете? — говорил он себе. — Много их. Вот одна. Наверно, такая же. Что, если догнать ее и поцеловать прямо на улице — и пригласить с собою?»

На перекрестке девушка перешла на другую сторону. Миша чуть не пошел за нею. Потом одумался. В сущности, ему решительно нет дела до нее, хотя на ногах у девушки такие же ботинки, как у Вали.

Миша был уже недалеко от метро. Он нарочно улыбался. Пусть видят, какой он веселый. Наплевать ему на всех девчонок. Улыбка у него и в самом деле получалась заметная — прохожие оглядывались на него.

Навстречу попался невысокий мужчина с толстым портфелем под мышкой.

«Иоахим Колабрийский, — вспомнилось ненужное имя. Оно так и застряло в памяти с тех пор. — Надо будет спросить у Леньки, что это за гусь — Иоахим Колабрийский. Жулик, наверное».

3

В одном Миша не ошибся: мимо него действительно проехала та самая «волга», которая сворачивала за угол. Но «маминого знакомого» в машине не было.

В последнее время Валя сблизилась с Додом и его компанией. Он приезжал за нею на отцовском автомобиле. Дод называл себя вольным человеком. Он нигде не работал и не учился.

Казалось, между ними и Василием Андреевичем ничего общего: один — солидный торговый работник, второй — юноша, неудавшийся студент. И все же между ними были какие-то непонятные Вале деловые отношения. Нередко, подъезжая к зданию, где на втором этаже в отдельном кабинете сидел Василий Андреевич, Дод просил Валю обождать его в машине. Сам легкой походкой скрывался в подъезде дома.

— Я на минуту, — предупреждал он и действительно вскоре возвращался. После этого они останавливались у ближнего телефона-автомата.

— Слушай, старик, — доверительно сообщал Дод в трубку, — передай Козырному: был у Столяра, заказ есть. Вечером получим полсотни гвоздей. География прежняя. Все. Приветик!

Дод привычно бросал трубку на рычаг. Ехали дальше. Все это пугало Валю. Что-то темное крылось за невинным телефонным разговором. Валя понимала: Дод говорит на особом, непонятном ей жаргоне. Но на все ее вопросы он отшучивался.

— У тебя, крошка, повышенное воображение, — говорил он.

Однажды он пригласил Валю домой.

— Маман и почтенный батя имеют желание провести с тобой пару часов. Мать из окна автобуса видела нас. Я сказал, что ты моя невеста. Старики любят это слово. Уважим их.

Когда поднимались в лифте на шестой этаж, Валю поразило нечто новое в манерах Дода. Она пристально поглядела на знакомое бледное лицо с тонкой нитью усов на верхней губе и не могла понять, что же переменилось, почему лицо Дода вдруг потускнело, словно по нему неосторожно шоркнули мокрой тряпкой и стерли лоск самоуверенности. На лестничной площадке перед дверью в квартиру он задержался и поправил галстук.

— Может, не пойдем? — робко спросил он Валю. — Я что-нибудь придумаю. Скажу, ты заболела.

— Но почему? Ты же сам хотел познакомить меня с ними.

— Трудные они. Очень уж церемонные. При них зови меня Степаном, а не Додом.

— Ладно, — согласилась Валя.

«Что же за мумии его отец и мать?» — подумала она, приготовляясь увидеть забавных, похожих друг на друга старика и старушку. Но ожидания обманули ее: родители Степана были совсем не старые и мало походили друг на друга.

Виктор Петрович, совсем еще крепкий мужчина лет пятидесяти, ничем не напоминал церемонного старикана, каким его вообразила Валя. Мать Степана Тамара Алексеевна, полная женщина с маленьким миловидным лицом, смотрела на Валю умильно влюбленными глазами, называла «милая моя деточка». За столом, встречаясь с Валей взглядом, Дод хитро подмигивал ей, будто спрашивал: «Ну, как тебе мои мастодонты? Забавные, не правда ли?» А Валя ничего забавного не находила.

После обеда Виктор Петрович позвал девушку в другую комнату. Степана, когда тот сунулся было за ними, вытурил. Усадил Валю в глубокое мягкое кресло.

— Очень рад был познакомиться с вами, — сказал он несколько торжественно и сразу перешел на другой тон. — Хочу только предупредить... Я своего оболтуса знаю. Мы с родительницей давно отпустили вожжи. Парень свихнулся. Он способный, но как-то очень уж легкомысленно смотрит на будущее. Мне сдается, это беда всей нынешней молодежи. Нет у них настойчивости. Цель у них готовенькая, все им легко досталось. Пытался пристроить его временно на завод к станку, как сам начинал когда-то. Так куда там — мать и слышать не хочет. Я, правда, не очень за него тревожусь: поболтается да возьмется за ум. На дурное он не способен. Одно слово — оболтус.

Виктор Петрович глубокими серыми глазами смотрел Вале в лицо и чему-то про себя улыбался. Казалось, он разговаривал не с нею, а высказывал вслух свои раздумья. Слово «оболтус» произносил с удивительной любовной интонацией, будто речь шла не о взрослом парне, а о ребенке, но в то же вре-

мя в душе посмеивался над своим родительским заблуждением.

Пока он говорил, Валя смотрела на его руки. Они невольно притягивали внимание. Движения их скупы и сдержанны. Они не походили на тонкие и бледные руки Дода. Пальцы у Виктора Петровича короткие и толстые, но не пухлые. Сжатые крепко в жилистые кулаки, они оставляли впечатление грубой физической силы и почти пугали Валю. Ногти на пальцах подстрижены ровно и вычищены.

Мать Дода также нашла повод уединиться с Валей.

— Милая вы моя деточка, как я рада, — говорила она, ласково глядя на Валю, словно хотела погладить ее, как чистого, вымытого котенка. — Я знаю, Виктор говорил вам: Степа избалован. Но я мать и лучше знаю ребенка. У него доброе сердце, очень доброе, — задумчиво сказала она, будто опасалась, не есть ли доброта главный недостаток сына. — Он очень добр и благороден. Да, да. За ним водятся кой-какие шалости, но это возрастное, это пройдет. Помните: он добр!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В школе экзамены прошли без неожиданностей: те, кто были отличниками, сдали на отлично, кто занимался средне, прокатился на тройках и четверках. Неожиданности начались позднее: с отличием школу закончили семь человек, из них в ВУЗы поступили только четверо — трое срезались на приемных экзаменах. Леня Потапов в школе всегда был в числе средних, а в институт все экзамены сдал на пятерки.

Новоселов подал заявление в геологоразведочный институт вместе с Потаповым. Миша всегда мечтал о путешествиях, а геолога и геофизика сама профессия обязывает к путешествиям. Лучшего и не придумаешь.

Нетерпеливые мечты его о заманчивой работе в дальних экспедициях оборвались на первом же экзамене. Математику Миша не сдал. Как ни странно, а сам он к неудаче отнесся с холодным безразличием, словно заранее знал, чем должно было кончиться. «Экзамен — лотерея, можно выиграть, а можно и не выиграть, — думал он. — Все решает счастливый или несчастливый номер. В конце концов не один я. Во всякой лотерее пустых номеров больше, чем выигрышных. На следующий год снова попытаю счастья».

Долго он бродил по Москве без цели, выбирая отдаленные малознакомые улицы.

К вечеру проголодался, зашел в первую попавшуюся столовую. Денег хватило на порцию котлет и стакан чаю. Здесь за небольшим столиком, в окружении спешащих, жующих и громко разговаривающих людей, Миша вдруг нашел решение задачи, на которой срезался. Отставил котлету и начал торопливо писать и чертить на бумажных салфетках. До чего же все вдруг стало просто. Удивительнее всего было то, что он по-настоящему обрадовался, как будто и в самом деле нужна ему теперь эта задача. Все равно ничего уже не исправить. Но ему нужно было ее решить. Он даже и сам не сознавал, как неотвязно преследовала она его и как угнетала.

Он вспомнил, как искал решение задачи и всякий раз, дойдя до одного места, становился в тупик. Задача не решалась. А нужно было с самого начала избрать другой путь решения. Почему же его мысль так робко топталась на одном месте?

Дома Миша объявил о своем провале и сказал, что в ближайшие дни поступит рабочим на строительство и завтра же начнет готовиться к экзаменам в будущем году.

— Выходит, десять лет учился, а все-таки одного года не хватило? — спросил отец.

Первую неделю Алексей Гаврилович совсем не разговаривал с сыном, и это молчание отца, когда после работы оба они садились за стол, действовало на Мишу и на всех в семье удручающе, словно проклятие. И тем упорнее по вечерам Миша садился за учебники. Он составил себе жесткое расписание и упорно выдерживал его. Отец со стороны, иронически улыбаясь, наблюдал. Однажды сказал:

— Что же, посмотрим: может, из тебя еще будет толк.

С Леней Миша стал видеться редко. Сразу после экзаменов Потапов навестил друга. При встрече с товарищем он изобразил на лице такую печальную мину, что Миша рассмеялся.

— Ты не панихиду собрался служить по мне?

— Нет. Какую еще панихиду? — удивился Ленька. — Знаешь, Мишка, мне повезло: при-

нят, — сказал он, не в силах скрывать свою радость.

— Вижу, вижу. По физике твоей понял.

— Знаешь, Мишка, это что-то невероятное, — начал Леня, возвращаясь к взятой на себя роли утешителя, — сколько ребят нынче срезалось!

— Знаю, Ленька. Только зря ты стараешься. Я в сочувствии не нуждаюсь. Как видишь, и без того бодр.

Миша говорил то самое, что собирался сказать Лене при встрече, но сейчас собственные слова казались ему совсем неубедительными. При виде сияющей физиономии товарища Миша не мог подавить зависть к счастливому Леньке.

— В общем, так: я поступил работать и готовлюсь к экзаменам в будущем году.

— Вот это здорово. Знаешь, я даже завидую тебе. — Леня говорил настолько искренне, что и сам верил своим словам.

— Брось трепаться. Чему завидуешь? Что я на экзамене срезался?

— Да нет, Мишка, я серьезно. Точно. Ну, не тому, конечно, завидую, что провалился, а твоей твердости. Знаешь, у тебя есть воля, и ты ее еще закалишь.

— А тебе кто мешает? Возьми документы из института назад и закаляй волю. Давай лучше о другом говорить.

— Давай, — согласился Леня и начал о другом, то есть о том, как сдавал экзамены, какие были вопросы, когда в институте начнутся занятия, пересказал все, что услышал о своих будущих преподавателях.

И какая-то неловкость возникла между друзьями. Все, что рассказывал Леня, уже не было интересно для Миши. Ленька не виноват, что Миша провалился, но все равно было такое чувство, будто Потапов в чем-то обошел его. Да и сам Леня в какой-то мере сознавал это.

2

Мишу поставили на растворный узел. Так начинали все новенькие. Работа самая не сложная, даже совсем простая. Говорили, что только у них на участке она и выполняется еще вручную. Нужно было просевать песок через грохот — металлическую сетку, натянутую на деревянную раму. На одну часть цемента и одну часть извести брали шесть частей просеянного песку. Песок подвозили на самосвалах и сваливали возле грохота. Миша поддевал лопатой из кучи и кидал на сетку; мелкая галька, комки слежавшегося песка, щепки и мусор оставались по одну сторону сетки, просеянный песок накапливался по другую. Стальная сетка звенела и вздрагивала при каждом броске, сыпучий песок горсткой ложился за нею. Работа не тяжелая, если только приноровиться, найти верный ритм.

В этот день Миша возвращался домой в каком-то особом настроении. Он даже не знал, в чем состояло оно, чувствовал только, что оно было особым. Тело свое он ощущал удивительно легким, сильным и здоровым. После тяжелой лопаты с песком маленький чемоданчик, в котором он нес кое-что из робы и брезентовые рукавицы, казался совсем невесомым. Легкий запах печеного хлеба, принесенный нивесть откуда, вызвал нетерпеливый аппетит.

Нужно было переходить улицу, когда мимо одна за другой мягко прошуршали по свежему асфальту новые, сверкающие заводским лаком машины, доверху груженые набитыми под завязку большими рогожными кулями. В кузове последней машины поверх новых, еще незапачканных кулей тихонько покатывалась большая янтарно-желтая луковица. Машины проурчали и затерялись в прямой разлинованной дали проспекта. Чем-то светлым и радостным повеяло вдруг от этой только на секунду мелькнувшей одинокой луковицы, брошенной поверх рогожных кулей. За десятки, а может быть, и сотни километров от Москвы привезли ее в одну из овощных лавок. А напомнила она сразу о многом: о беспредельности сельских полей где-то там, за Москвой, о том, что наступила осень, о том, что над крышами кирпичных домов, недавно выстроенных вдоль геометрически четкого проспекта, глубокое осеннее небо, в котором летают не одни реактивные самолеты, а и журавлиные косяки. И совсем уже непонятно, почему вспомнились видения далекого детства. Радость четырехлетнего мальчишки, испытанная от шуршащих под ботинками тополиных листьев на утоптанной тропинке посреди блеклой травы. После Миша часто бывал в этом месте, но никак не хотел верить, что это был обыкновенный сквер на углу улиц невдалеке от его двора. Было потеряно чувство радости и удивления. Сквер был как сквер, как сотни других.

И вот сейчас всего лишь одна луковица вызвала в нем почти такое же, как и в детстве, чувство удивления и радости.

Правда, Миша вовсе и не думал обо всем этом. Он легко, пружинно шагал к автобусной остановке, бодро помахивая своим чемоданчиком и, запрокинув голову, глядел на исчерченное шестами и перекладинами антенн московское небо. Журавлей в нем не было.

— Здравствуйте...

Прямые крыши домов крутнулись в глазах. Миша остановился и увидел Веру Глушко.

— Здравствуйте, Вера, — неожиданно радостно ответил он, и ее улыбка отразила те же чувства, какие были в нем. Они стояли у края широкого тротуара и, беспричинно улыбаясь, глядели друг на друга.

Это продолжалось недолго. Вера вдруг смутилась, как будто почувствовала себя маленькой девочкой перед взрослым, и потупилась. «Что она делает здесь, так далеко от дома», — удивился Миша, но спрашивать не стал. Все-таки она уже не ребенок. Удивительно, до чего она совсем другая, не похожая на Валю, и, кажется, тоже красивая, только иначе, не по-Валиному, как будто красота у нее спрятана где-то внутри. Блеснет на время и опять спрячется.

— Как Валя, поступила учиться? — спросил Миша.

— Нет, не прошла по конкурсу. Она хотела в университет.

— Да, жаль, жаль, — сказал Миша, хотя ему вовсе и не было никого жаль. Просто он хотел посочувствовать Вере.

Она промолчала.

— Ну, я пойду. Мне тут недалеко, — сказала Вера.

Странная встреча. Почему странная, Миша не мог понять. В конце квартала он оглянулся. На другом углу стояла Вера и смотрела вслед ему. Едва она увидела, что он оглянулся, как тотчас юркнула за угол.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

До намеченного дня свадьбы Степана и Вали осталось немногим больше месяца. Виктор Петрович и Тамара Алексеевна сошлись мнением, что женитьба благотворно повлияет на сына, заставит остепениться, взяться за ум. Валя и Степан подчинились желанию родителей. Валя даже охотно, хотя и не признавалась в том. Как-никак, а все эти женитьбы, свадьбы — старомодные обряды. Но на самом деле она нетерпеливо ждала заветного дня. Смутно она понимала, что власть ее над Додом после женитьбы укрепится. Где-то в душе у нее гнездилась тяга к укромному собственному уголку, к тихой комнатке с занавесками и шторами, с модным трельяжем, с легкой разборной кушеткой и великолепными бра на стенах под старинную бронзу, с лампами дневного света вместо свечей. В конце концов все это можно будет назвать пещерой и тем самым сохранить престиж в прежней компании. Степана она легко представляла среди своей будущей уютной пещеры. Развалясь в низком кресле, он будет курить цейлонские (или какие там они бывают) сигары, добытые через своих друзей.

— Крошка, тебе нужна новая шляпа. Папуаски сейчас носят только парижские.

Дод отлично осведомлен о последних модах Парижа, Лондона, даже Буэнос-Айреса и всегда знает, что в моде у папуасок — так он называет московских модниц.

В квартире Тимохиных она чувствовала себя почти хозяйкой и прикидывала в уме, как следует по-новому расставить мебель в комнатах. Им со Степаном, наверное, отведут кабинет Виктора Петровича.

Неожиданно все ее расчеты провалились. Как-то в воскресенье (Валя была в гостях у Тимохиных) в квартиру решительно вошла девушка. Прежде Валя изредка видела ее в своей компании. Все звали ее просто Милой. При встрече она каждый раз недружелюбно и насмешливо глядела на Валю и Дода. Степан делал вид, будто не замечал ее.

И теперь, узнав Валю, Мила понимающе улыбнулась. Дод изменился в лице. Тамара Алексеевна и Виктор Петрович недоуменно посмотрели на гостью, потом на Валю и Степана.

— Значит, жениться решил? — спросила Мила, останавливаясь перед Додом. Он, подняв голову, прищурился и глядел мимо ее лица, пытался улыбаться. Вместо обычной едкой улыбочки получилась жалкая, натянутая.

— Подлец ты! — неожиданно выкрикнула Мила и вдруг заплакала, вздрагивая по-бабьи плечами и судорожно сжимая пальцы с выкрашенными ногтями в небольшие кулачки. Внезапно она перестала плакать.

— Жените его, скорее жените подлеца! — выкрикнула она. — А на то, что у меня будет ребенок — его ребенок — вам наплевать! Мне он говорил: любовь — свобода. Да видать, и на него нашлась управа, не такая дура, как я. Когда же у вас свадьба? Может, меня позовете?

Губы ее снова болезненно скривились, Мила круто повернулась на каблуках. На пороге она обернулась.

— Негодяи, все вы негодяи! И сынок ваш и эта гадина! — выкрикнула она и с силой захлопнула за собой дверь.

Настала мучительная тишина. Одна только последняя фраза, выкрикнутая Милой, все еще звучала в ушах у Вали со всеми оттенками и интонациями надрывного голоса. Дод

не поднимал головы, сцепил пальцы рук и сильно двигал ими, добиваясь хруста в суставах, но у него почему-то не получалось.

Виктор Петрович резко поднялся и скорым шагом прошел в коридор вслед за Милой. Валя подняла лицо и встретила взгляд Дода. Он криво улыбнулся, будто хотел сказать: не придавай значения пустякам, крошка. Валя шагнула к выходу, но встретилась с Виктором Петровичем. Он не догнал Милу и вернулся. Перекошенное лицо его напугало Валю, и она не посмела уйти. Села в дальнем углу на низкий стул.

— Что скажешь, отпрыск? — глухо спросил Виктор Петрович сына.

— Папа, оставим этот разговор. — Дод озадаченно и тревожно глянул на отца и кивнул в сторону Вали.

— Ага, тебе при ней стыдно. Жених! — не повышая голоса, зловеще произнес Виктор Петрович.

— Папа, ну ведь это еще вопрос: мой ли ребенок?

— Ага, ты и в этом не уверен?

— Конечно. Она просто шантажирует нас.

— Ага, шантажирует, — тем же голосом, лишенным всякого выражения, произнес старший Тимохин, отходя к стене и не сводя взгляда с сына.

— Виктор, оставь его! — выкрикнула Тамара Алексеевна, увидев, что муж снимает со стены плетеный из тонких ремешков собачий поводок. — Ты не посмеешь!

— Ага, не посмею! — по-прежнему бесстрастно сказал Виктор Петрович.

Он говорил, как автомат, повторяя последние слова, сказанные другими. Движения его были сдержанно вялыми, голос звучал однотонно и совсем тихо, но Вале, прижавшейся к спинке стула в углу комнаты, стало страшно. Тамара Алексеевна с быстротой, удивительной при ее грузности, сделала отчаянную попытку отобрать у него плеть. Виктор Петрович схватил ее за плечи, грубо затолкнул в соседнюю комнату и запер дверь на задвижку.

— Папа, папа, что ты? — Дод пятился от отца, рыскал глазами по комнате, старательно обегая взглядом притихшую в уголке Валю.

Виктор Петрович внезапно сгреб сына в охапку, словно малыша, поставил на колени и зажал голову между своих ног.

— Пап, папа, опомнись! — с трудом выдавил Дод. Глаза его расширились, щеки налились кровью.

— Ага, сейчас опомнишься, — сказал Виктор Петрович, занося плеть.

Дод взвизгнул и, упершись руками в пол, стал пятиться на коленях. Короткие штанины задрались, открыв полосатые шелковые носки.

Нелепая дикая расправа продолжалась больше минуты. Дод лязгал зубами и пронзительно вопил. Дверь в другую комнату дрожала под ударами тяжелых кулаков Тамары Алексеевны.

— Изверг, изверг! — вопила она.

— Сейчас опомнишься, сейчас опомнишься, — при каждом ударе свирепо повторял Виктор Петрович.

В свалке опрокинулся стул, массивная мраморная пепельница упала со стола. На паркете остался кружок пепла и окурков. Задетый плетью, над столом мерно раскачивался абажур, описывая круги и мелодично позвякивая хрусталем. Валя зажала уши ладошками, зажмурила глаза и при каждом ударе вздрагивала всем телом.

— Папа, папочка, миленький! Прости меня, я больше не буду! — Дод очумел от боли и страха и уже не стеснялся Вали, молил отца о пощаде, совсем как это делают маленькие, когда их наказывают.

Наконец он изловчился, поймал отца за руку и вцепился в нее зубами. Виктор Петрович уронил плеть, растерянно, удивленно огляделся вокруг. Дод, закрыв красные, мокрые от слез щеки ладонями, упал на диван вниз лицом. Гулко всхлипнули пружины сиденья. Дод истерично зарыдал. Валя опрометью выбежала из комнаты.

На лестничной площадке между этажами ее догнал Виктор Петрович. Валя подумала, что сейчас он и над нею учинит расправу и, внутренне похолодев, прижалась к стене.

— Валя, я знаю, вам тяжело, трудно пережить это, — сказал он, неровно дыша. — Но не забывайте, никогда не забывайте: на свете не одни подлецы. Скажите: он и вас тоже обманул? Скажите мне, как своему отцу. Вы тоже ждете ребенка? Я сделаю все, что можно... Хотя, простите, что я мелю... Будто в таких случаях можно что-то исправить. Но все-таки скажите: у вас будет ребенок?

Он часто останавливался на полуслове от одышки. Машинально достал из кармана носовой платок и, не глядя, обмотал укушенную руку.

Валя молчала, только отрицательно покачала головой.

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Впрочем, что я говорю. Почему хорошо? — Он притронулся рукой ко лбу и кулаком потер его. — Не пойму одного, как Степан вырос таким? Двадцать один год дубине, а он:

«Папочка, прости, не буду!» Тьфу! Да меня в десять отец порол — я молчал!

Валя ничего не понимала. Она видела только его руку и носовой платок. На нем выступила кровь. Вначале маленькое пятно. Потом оно увеличилось, и кровь начала капать на холодную цементную ступеньку. А Виктор Петрович ничего не замечал. Валя взглянула ему в лицо, увидела, как непроизвольно вздрагивают губы у него. Прежде ей казалось, что Дод совсем не похож на отца, но сейчас она неожиданно открыла сходство в линиях тонких нервных губ.

Наверху хлобыстнула дверь.

— Изверг! Изверг! Убил ребенка!— кричала Тамара Алексеевна.

— Простите меня, я пойду,— сказал Виктор Петрович.— Она весь дом взбудоражит.

Валя снова увидела темную лужицу крови, ей вдруг стало дурно.

2

Внезапный дождь загнал их в ГУМ. Вера и Женя остановились в центре у фонтана — традиционного места встреч всех приезжих — здесь всегда кто-то кого-то ждет. Даже в плеске воды как будто слышно нетерпение.

Женя, заложив руки за спину, с независимым видом прохаживалась вокруг. Всем своим видом она подчеркивала, что ей ничто здесь не ново, не интересно. Но если кому-нибудь охота смотреть на нее, то, пожалуйста.

Вера была здесь всего третий раз. Она не любила без цели заходить в магазины.

«Сколько людей кругом и ни одного знакомого»,— с внезапным удивлением подумала она. Совсем так же, как если бы они были в другом городе. Прежде ей никогда не приходило это на ум. В самом деле, знакомых она встречает только на своей улице да по пути в школу. Как будто есть маленький городок внутри Москвы, всего из нескольких кварталов.

И вспомнилась недавняя встреча с Мишей Новоселовым. Правда, встреча была не случайной. Вера заранее разузнала, где он работает, и поджидала его. И все равно это было удивительно: увидать знакомого вдалеке от привычных мест. Может быть, это так кажется потому, что она еще нигде не бывала.

Затея была Валина. С ней случилась какая-то неприятность. Несколько вечеров подряд, на удивленье Веры, она провела дома, была грустная и даже заплаканная. Такого с ней давно не бывало. Даже свою неудачу на приемных экзаменах в университете она встретила безразлично. Но теперь с ней творилось что-то неладное. Как всегда, в таком настроении Валя становилась ласкова и внимательна к Вере. В другие же дни она почти не замечала сестру.

Вере почему-то всегда казалось, что в семье старшая не Валя, а она, Вера. В ней рано зародилось чувство ответственности. Вера не задумывалась, отчего у нее оно есть, а у Вали нет. Просто, когда было нужно, она выступала в роли старшей, опекала Валю и помогала ей. Иначе она не могла.

— Что с тобой, Валя, почему ты плачешь?

Казалось, Валя только этого и ждала. Подсела к сестре, уронила взлохмаченную голову на ее колени.

— Верунчик, милый мой Верунчик. Какая ты добрая, славная. Почему я не могу быть такой же, как ты? Я совсем, совсем не знаю, что мне делать. Я наверно утоплюсь или что-нибудь еще придумаю.

Валя, конечно, не утопится, но все равно сестру было жалко и нужно было помочь, утешить.

— Что с тобой Валя? Расскажи,— снова попросила Вера.

— Это долго, долго рассказывать, и ты все равно не поймешь. Никто не может понять меня. Мне кажется, я куда-то провалилась и некому поддержать меня, помочь...

Если уж Валя начинала говорить о своих печалях, то делала это с чувством и даже с наслаждением. Наконец, после долгих предисловий, Валя изложила свою просьбу.

Дело было вот в чем. Раньше она любила Мишу Новоселова, и он тоже любил ее. Но она не смогла оценить его дружбу и верность. Валя не щадила себя: она и неблагодарная, и нечуткая, и, должно быть, в душе у нее гнездится извечное женское коварство. Все эти свои качества Валя перечисляла с видимым удовольствием, хотя и продолжала тихонько всхлипывать у Веры на коленях.

Словом, Вера должна увидеть Мишу и передать ему, что Валя признает себя виноватой и готова помириться с ним. Странная, нелепая эта просьба вначале не удивила Веру.

В тот же день задолго до конца смены на строительстве она поджидала Мишу на пути к автобусной остановке. В уме она повторяла первые приготовленные фразы:

—« Миша, мне необходимо поговорить с вами. Это касается моей сестры Вали».

Он, конечно, остановится, с интересом начнет расспрашивать, и тогда она расскажет, в каком удручающем состоянии находится Валя, как она казнится чувством своей вины перед ним...

Но чем дольше она раздумывала, тем сильнее собственная роль начинала казаться ей противной и фальшивой. Почему же сама Валя не может встретиться с ним и сказать, если только она на самом деле любит его и виновата перед ним? Она, Вера, не стала бы искать себе посредников в таких делах.

Новоселова она увидела издали. Он остановился на углу, пережидая поток автомобилей. Но и когда переход стал свободным, он еще долго стоял на месте, глядя вслед грузовикам. Вере запомнилось, как мерно и легко взлетал чемоданчик в его руке. Чемоданчик был маленький и совсем легкий, но все равно от каждого Мишиного движения веяло необыкновенной силой. Говорить с ним о Валиных злосчастиях показалось совсем некстати. Она так ничего и не сказала. Долго глядела вслед ему. В каждом ловком уверенном движении его проглядывала незнакомая мужская сила, надежная и притягательная. В конце квартала он оглянулся. Вера смутилась и юркнула за угол.

Валя ни о чем не спрашивала у нее, и Вера не стала рассказывать ей о встрече.

Вот это и припомнилось ей почему-то сейчас, в толчее ГУМа.

Занятая своими мыслями, Вера вдруг увидала сестру. Валя в узких брючках салатного цвета и ярко-желтом шерстяном жакете небрежно шагала мимо прилавков, словно выступала для всеобщего обозрения. Была какая-то отчаянная дерзость в ее расхлябанной походке. Валя извивалась и вихляла бедрами. Чуть-чуть приметная улыбка на лице выдавала внутреннее волнение, но вместе с тем была и вызывающей. Вале уступали дорогу, смотрели вслед. Десятки иронических, злобных, восхищенных и завистливых взглядов сопровождали каждый ее шаг. Рядом с Валей, отстав от нее на полшага, важно шествовал невысокий толстяк, обремененный двумя клетчатыми сумками, из которых торчали пакеты и коробки. Он тяжело дышал, мясисто улыбался и блаженно поглядывал вокруг. Маслянистое лицо его сплошь покрывали капельки пота. Распахнутый воротник белой рубашки намок и смялся. Необъятная пузень, обтянутая блестящим коричневым ремешком, казалось, угрожала вот-вот лопнуть.

Валя не заметила сестру, хотя прошла совсем рядом с Верой.

— Сержик, зайдем еще в обувь,— сказала Валя.

— Хоть в преисподнюю,— счастливым голосом прошелестел толстяк. Женя тут как тут, пристроилась вслед за Валей, похоже передразнивая ее походку.

— Бесстыжая,— громко прошептал разъяренный женский голос под ухом у Веры.

3

Карпунин появился недавно.

В тот день, вдоволь наплакавшись на коленях у Веры, Валя почувствовала облегчение. Толком она и не знала, что угнетало ее. Что у Дода и до нее были девушки, Валя догадывалась раньше. И не это открытие удручало ее. Видно, другая была причина. Прежде Дод в ее глазах воплощал все лучшие качества мужчин. Уже одно то, что он был дьявольски красив, стоило многого. Он был находчив, в любой обстановке держался непринужденно, всегда внушал к себе невольное почтение. Жестокая порка, которую отец учинил ему при ней, вызвали не жалость, а презрение. Истерические вопли его, казалось, все еще звучали в ушах. Темная лужица крови на лестничной ступеньке напоминала о бессильной злости Дода, о его беспомощности. У Вали было такое чувство, будто ее обманули.

Валя ушла из дому и без цели бродила по улицам. Грустное настроение уже позабылось. Она остановилась возле мрачного служебного здания и смотрела на свое отражение в затемненном окне. Все еще заплаканные глаза и бледность придавали лицу незнакомый оттенок. Валя улыбнулась своему отражению.

— Очень стройна и безумно хороша! — не вслух сказала она о себе так, как, по ее мнению, должен сказать всякий мужчина, если у него нормальное зрение.

Неподалеку остановился блестящий черный автомобиль марки ЗИМ. Из него не спеша выбрался толстый коротышка с пузатым портфелем в руке. Уверенно поднялся к парадной двери. С натугой приоткрыл массивную дверь и вдруг увидел девушку. Оставил дверь в покое, засеменил к Вале, лицо его расцвело, ожило.

— Здравствуйте,— приветствовал он ее,— вы сегодня преступно очаровательны.

Валя с недоумением посмотрела на красное, сытое лицо, на юркие круглые глазки, но решительно не могла припомнить, где видела его, и ничего не ответила.

— Вы опять не узнали меня,— с добродушной радостью сказал мужчина.

И Валя вспомнила. Это был тот самый человек, с которым она познакомилась месяц назад у матери. Василий Андреевич сказал о нем коротко: «Нужный человек, многое может, но инертен». Валя не запомнила ни фамилии,

ни имени гостя, ни сложного названия треста, где он служил, хотя позднее встречала его не раз. Он даже полушутя-полусерьезно предлагал ей место секретарши в отделе, обещал не утомлять скучными делами.

— Вспомнила,— сказала Валя,— вы Карпов.

— А вот и не Карпов,— смеясь возразил толстяк, — хотя и близко к этому.

— Значит, Ершов.

— И не Ершов,— совсем рассмеялся мужчина.

— Тогда Окунев.— Валя тоже развеселилась.

— И не Окунев. Карпунин я,—назвался он.

— Вот уж теперь непременно запомню: Карпунин.

— Вы и в прошлый раз обещали запомнить.

— Тогда я только обещала, а теперь запомню,— возразила Валя.— Кстати, а вы свои обещания не позабыли?

— Разумеется, нет. Место за вами.

— Вот, а я как раз и шла за этим в вашу контору,— бездумно солгала Валя.

— Жестоко шутите.

— Вовсе не шучу.

— Кто был обманут сто раз, может обмануться и в сто первый. Поверю. Только ведь сегодня воскресенье. Я случайно здесь. Зачем-то срочно вызвали по телефону.

— Я всегда забываю о днях недели.

— Вам простительно.

— А могу я, как ваш будущий секретарь, воспользоваться этой машиной?— лукаво спросила Валя.

На мгновение на лице Карпунина мелькнула растерянность, но он тотчас же прогнал ее широкой улыбкой.

— Конечно. Я распоряжусь.

Он что-то негромко сказал шоферу и, растворив заднюю дверцу, пригласил Валю:

— Устраивайтесь.

Податливые пружины мягко погрузли под ее телом. Валя раскинула руки вдоль спинки и довольно усмехнулась. Карпунин не уходил. Неловко нагнувшись и придерживая коленом дверцу, чтобы она не закрылась, он рылся в своем портфеле. Извлек небольшой типографский бланк, отдал Вале.

— Вот. Если не сможете зайти — звоните.

Валя удивленно взглянула на листок. Жирным шрифтом на нем было обозначено полное имя Карпунина, его должность и номера телефонов, служебного и домашнего.

— Не теряйте.— Он захлопнул дверцу и помахал ей пухлой ладонью.

— Куда вам нужно?— спросил шофер, равнодушно посмотрев на Валю.

Он был далеко не пожилым. Его безразличие к юной пассажирке немного обескуражило Валю.

— Езжайте прямо,— недовольно бросила она.

Машина бесшумно и мягко покатилась. Валя неприязненно смотрела на коротко подстриженный безучастный затылок водителя. От него веяло холодком.

Карпунин, тот хоть и не молод и уж вовсе не красавец, но есть у него какая-то чуткость. Сразу видно: умеет человек женскую красоту ценить. К тому же персональный автомобиль и визитная карточка. Это кое-что стоит.

Хорошо бы вот так, на мягких пружинах, куда-нибудь на Кавказ или в Крым.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Надолго запомнился этот вечер.

Вначале Миша ничего не помнил. Он проснулся в незнакомой комнате на скрипучем и жестком диване. Острые пружины впились в бок и грудь. В комнату падал свет луны. Круглая и бледная, она покачивалась у самого окна. Вначале это и поразило его. Потом понял: никакой луны не было, за окном на столбе покачивался круглый фонарь. В решетчатом прямоугольнике света на полу мелко тряслись тени голых тополиных веток. В комнате застыла тишина и запах табачного дыма. Только изношенный диван обиженно скрипел своими пружинами.

Потом Миша увидел, что он не один в комнате. За столом, не зажигая света, сидели двое, курили, пили чай, разговаривали. Их, видно, вполне устраивал слабый свет луны-фонаря. Он создавал искусственный, чисто городской уют.

И верилось, что открытая им радость будет всегда с ним, постоянно.

Помнится, он шел по улице и улыбался без причины.

Потом неожиданная встреча с Вадимом.

— Ба, Мишка!

Остановились посредине тротуара.

— Знакомься. Это Славка — будущий космонавт.

Миша пожал потную руку «космонавта». Славка щурился от яркого солнца. Прозрачный мундштук рубинового цвета с золотистой каемкой по срезу свисал из угла губ. Блед-

ная струйка дыма волнистым ручьем вытекала вверх от сигареты.

Вадим курил трубку, чуть заметно улыбался Мише, иронически косил взгляд на Славку.

Не виделись с весны. Вадим успел отпустить баки. В остальном не изменился. Та же особенная, собственная улыбочка, так же нет-нет да и вскинет плечи. На нем новое короткое пальто. Нетуго затянутый пояс свисает почти до ягодиц. Все это казалось до странности знакомым, как будто Вадим и не мог быть иным, без бакенбард, без заграничного пальто с незатянутым поясом. Вражды к Вадиму Миша не испытывал. Мало ли что было прежде.

Как-то само собой получилось, что он пошел с ребятами. Славка жил рядом. За восьмиэтажной громадиной притулился вросший почти в землю трехэтажный каменный домишко. Когда заходили во двор, Вадим и Миша приотстали.

— Пижонистый немного парень, но свой,— прошептал Вадим. Это он о Славке, видимо, хотел подчеркнуть, что Миша для него еще больше свой.

В полутемном коридоре было чадно. На общей кухне по случаю воскресенья шла оживленная стряпня.

Сидели двое пожилых. Миша угадал это по очертаниям темных силуэтов, по неторопливому приглушенному говору.

— Должно быть, проснулся Славкин кореш,— сказал один за столом. Поднялся, шаркая домашними шлепанцами, ушел к двери, включил свет. Миша зажмурился, сел и теперь только понял, что он пьян.

— М-да,— сказал тот же старец, шлепая войлочными туфлями назад к столу.

— Садись-ка, парень, с нами чай пить,— предложил второй.

На душе было тревожно. Как он очутился здесь с двумя незнакомыми стариками? Где он наконец? В памяти еще смутно мельтешили обрывки кошмаров, видно, навеянные ветхим пружинным нутром чужого дивана. И комната и старики — все казалось продолжением сна. Но это был уже не сон. Миша, наконец, вспомнил.

...Было солнечное утро. Эту осеннюю пору называют бабьим летом. Но воскресное утро больше походило даже на весну. Было радостно. Хорошо и здорово идти по улице, дышать прохладным чистым воздухом, в котором еще не застоялся запах бензина. Слышны еще отдельные голоса, шаги прохожих, звяканье бутылок с кефиром в прицепе проехавшего мимо мотороллера. Но главное заключалось в нем самом и было чувством необычайной свежести, как будто все, что он видел, он видел впервые и всему мог радоваться. Все было ясно и просто. Заглохло, даже совсем исчезло мучившее его чувство неудовлетворенности. Неудача? О какой можно думать неудаче, если все так хорошо, если совсем незнакомые девушки осторожно кидают на тебя внимательные взгляды. Просто он не замечал ничего этого раньше. Как будто в жизни только и есть, что одни экзамены.

Славка жил в угловой комнатушке не один. У окна на вышарканном диванчике сидел мужчина, читал газету.

— Дядя Гоша, это я с корешами.

— Вижу, вижу.

Дядя Гоша зашуршал бумагой, складывая газету, снял очки, положил в футляр и спрятал во внутренний карман. Слегка сутулясь, пересек комнату, пристально оглядел Мишу с ног до головы.

— Располагайтесь, кореша. Пойду к Василию.— Он с особым нажимом произнес слово «кореша». Видимо, оно забавляло его.

— Деликатный у тебя старикан,— сказал Вадим.

— Ехидный дьявол, но ничего. Я привык.

Славка звенел рюмками, уверенно бросал на скатерть тарелочки и вилки.

Миша чувствовал себя неловко. В сущности, ему незачем было идти сюда.

На белую стену комнаты косо ложились солнечные лучи. Неизвестно только, откуда они смогли пробиться: из окна виднелись одни стены, балкончики, чужие окна, закрытые шторами и занавесками,— каменные громады-дома заслоняли собою весь свет. Старый дом давно обречен на снос. Он пережил свое время.

Несколько голых веток маячили перед окном. Пять-шесть жалких листков еще трепыхались на них. Необыкновенное радостное чувство, которое недавно наполняло Мишу, осталось где-то там, откуда в эту комнату проникали жалкие крохи солнечного света. Разговор не клеился. Чтобы поддержать его, приходилось задавать друг другу вопросы. О Вадиме Миша узнал, что тот поступил в институт физкультуры. Дела идут неплохо. Выбрали в комитет комсомола. «Ораторские способности у меня, брат, объявились». О Славке знал, что тот не учится — работает. «Нагуливает стаж для поступления в институт».

Пили водку, и только это смогло прогнать чувство внутренней скованности.

Миша опьянел быстро, лег на диван, уснул. И вот пробуждение. Нелепейшее, дурацкое положение, какое только можно придумать: очнуться в незнакомом месте, среди чужих людей, с головной болью, да еще испытывать омерзение к самому себе. Хорош!

Хотел сразу уйти, но, едва встав на ноги, почувствовал слабость и тошноту. Чтобы не упасть, сел на свободный стул. Дядя Гоша молча подвинул стакан с чаем. Миша отхлебнул, и сразу стало лучше. Обжигаясь, пил небольшими глотками.

Старички продолжали разговор. Миша прислушался. Ему показалось, что старички обращаются не столько друг к другу, сколько к нему. Они только делали вид, что не замечают постороннего.

— Вот, Василий Лексеич, услыхал я недавно по радио интересные слова «запас прочности». Верные слова. Про какие-то машины рассказывали. Новый сплав составили ученые. Вот я думаю: нету запаса прочности у нашей молодежи.

— Это как понимать?

— А так вот. Всякая вещь свое назначение имеет. Возьми, к примеру, оконное стекло. Кинь в него детским мячиком легонько — выдюжит, а саданули футболом — и на части. А есть теперь, говорят, такое стекло, которому и пуля нипочем. Вот и выходит: разный у них запас прочности.

Дядя Гоша хлебнул чай и покосился на Мишу, видимо, проверял, слушает ли тот.

— Ну, со стеклом дело просто: где какая прочность нужна, такое стекло и поставить. А вот про человека заранее не решишь, под какую нагрузку он попадет. Значит, запас прочности должен быть наивысшим. А мы своих ростим, оберегаем, словно все они на оконные стекла пойдут.

— Выходит, незачем было и жизнь нашу по-новому налаживать. Для закалки молодых трудности нужны. Ну, а прежде-то этих трудностей хватало.

— Вот-вот. Я также подумал: зачем? И понял: глупый это вопрос.

— Уже и глупый.

— Не обижайся, Андреич. Не о тебе я — о себе. Сам я глупый, что так вопрос поставил. Разве трудности одни закаляют человека? Тяжелая жизнь, она скорее жестокость воспитывает. А нужно, чтобы человек в самом сердце закален был, да не жестокостью, а правдой. А правду-то нашу, крепкую, кровью да потом добытую, мы им на блюдечке норовим подать. А чуть попробуют они испытывать ее — грозимся: нельзя! Для нас, видишь, обидно: как это молокососы на веру нас принять не хотят? Проверить им нужно все. Да надо, видно, эту обиду переломить в себе. Пусть испытывают на огонь и на холод — выдюжит наша правда. Не нужны ей тарелочки да салфеточки. А у них вера появится не на словах, в сердце. Ведь всякую мысль-то верную выстрадать самому нужно. Тогда только и будет она собственной.

Дядя Гоша подлил чаю в Мишин стакан.

— Благо, не видит Петр Михайлович в своей братской могиле, что внук его в лакеях ходит — да радуется еще: место по блату достал.

Миша удивленно посмотрел в лицо дяде Гоше. В глазах старика блестели слезы.

— Это он про племянника своего, про Славку рассказывает,— объяснил Мише Андреич.— Парень, видишь, гардеробщиком устроился в кафе. Пальто снимет, наденет, чаевыми не брезгует — одним словом, лакей. Вот ведь какую работу нашел по блату. Там старичку еще какому или женщине посиживать за барьером, а не такому лбу. Он, видишь, понарошке хромает, чтобы посетители не удивлялись. Другой еще посочувствует, пожалеет.

— Вот-вот, и жалостью не брезгует. А этот, второй-то горлопан, Вадим, кажется, еще почище моего будет. Отсталый, говорит, ты, дядя Гоша, твой племянник на ответственном фронте трудится, людям радость приносит хорошим обращением, нашим, говорит, советским людям. Молотит, как по-писаному. Где мне такого переспорить. Только тошно мне слушать, когда лакея «фронтовиком» называют. Да еще, говорит, ответственный фронт. Ты-то, парень, извини старого, не знаю по имени-отчеству, на каком фронте? Не газировкой торгуешь?

Миша ответил.

— Ну, это другое дело,— сразу потеплел дядя Гоша. — И нравится работа?

Миша промолчал, на этот вопрос одним словом не ответишь.

На улице дул ветер, кружились редкие снежинки. В сумерках старый дом казался лучше. Не видно было его кособокой придавленности. За каждым окном горел свет.

«Словно все они на оконные стекла пойдут», — вспомнил Миша. Голова трезвела с каждым шагом, с каждым глотком холодного воздуха. Он не думал о том, что не нужно было идти с Вадимом, пить водку, что между ними нет ничего общего... Ведь это было бы и неправдой. Просто ему было противно.

«Оконные стекла только на то и годны, чтобы пропускать чужой свет. Сами они не светят», — неожиданно подумал он.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В конце смены объявили митинг. Трибуной был кузов грузовика с откинутыми бортами. Миша опоздал к началу и теперь тихонько протискивался ближе к трибуне. Выступающих после секретаря он не слушал. Все говорили по бумажкам и чуть ли не слово в слово повторяли один другого.

— А это кто?— услыхал он восторженный шепот.

— Новая секретарша в тресте,— ответил кто-то почти в ухо Новоселову.

Миша посмотрел на трибуну. На автомашине стояла Валя Глушко. Черный свитер плотно и строго обтягивал тонкую фигуру. Коротко подстриженные волосы придавали законченную четкость облику девушки. Миша и раньше поражался редкостному умению Вали изменять свою внешность. Стоило ей по-иному уложить волосы, надеть новую шляпу или сменить платье, как она сразу преображалась. И это сказывалось не только во внешности. Валя артистически входила в новую роль, которую сама придумывала для себя. Ее жесты, слова, улыбка отвечали этой новой роли, как будто с покроем платья у нее менялся и характер. Прежде в школе Валя тоже любила выступать на собраниях и всегда умела попасть в нужный тон. Как она очутилась здесь? Неужели работает на стройке?

Немного смущенная, Валя стояла посредине кузова.

— Друзья! Здесь уже многие выступали и, кажется, все уже сказано. Нам, молодым, особенно близко значение призыва. Разве сейчас можно оставаться в стороне, когда там, в Сибири, так нужны наши молодые руки и горячие сердца...

Вале аплодировали дружно, даже неистово. Она спускалась с трибуны, горделиво откинув голову. Свежий румянец был на ее щеках. Она сошла вниз, и Миша потерял ее из виду. Потом он увидел ее, окруженную девчатами из бригады отделочников. Из общего гула выделялся голос одной девушки.

— Молодчина, Валька! К шутам твои бумажки. Не дело это — быть на побегушках! Поехали с нами.

Мише показалось, что все вокруг только и делают, что поздравляют друг друга. Валя увидела его и не удивилась, будто знала, что он должен быть здесь.

— Ты тоже?— спросила она.

Он не ответил, только кивнул ей.

— Значит, опять вместе. Я всегда верила: мы будем вместе! Вокруг все куда-то спешили, толкались. Мишу оттеснили в сторону, и он опять потерял Валю из виду.

На другой день он едва удержался, чтобы не зайти к Вале. Целый час ходил он взад и вперед по знакомой улице. Бывают ведь случайные встречи.

2

Москву залили потоки солнца. Оно отражалось от снежных шапок на вокзальных киосках, зеркально сверкало на мокром асфальте. Свежий снег не успели затоптать, он не потускнел еще от копоти. На чистых, недавно вымытых вагонах, казалось, лежали все блестки солнца, собранные за долгий путь через страну.

Миша думал, что добровольцы с комсомольскими путевками поедут в отдельном эшелоне. Оказалось, нет. Поезд был обычный, пассажирский, по расписанию. Место новоселов—в самом последнем вагоне. Знакомых парней и девушек Миша разыскал еще на вокзале. Не видно было одной Вали Глушко. Возле вагонов многолюдно и, как обычно, бестолково шумно, одновременно весело и грустно. Рюкзак и чемодан Миша занес в вагон, закинул на верхнюю полку. Отец и мать ждали его.

Появилось шампанское. Хлопнул выстрел. Пробка, серебристо сверкнув, пролетела над головами. Вино лили в бумажные бокалы, еще больше себе на одежду, на мокрый от растаявшего снега асфальт платформы. Шум, смех, кто-то кричит «ни пуха ни пера», просят писать письма, телеграммы, обещают не скучать — всего, что говорится на прощание, не только понять, услышать невозможно. Мише сунули мокрый и почти пустой бумажный стакан. В толпе мелькнуло знакомое лицо. «Вера»,— узнал он.

— Побудьте здесь,— сказал он родителям, сунул в руки отцу пустой стакан, расталкивая людей, кинулся к Вере. Уж она-то знает, где сестра. Вера заметила его и неожиданно метнулась в сторону, спряталась за спинами незнакомых пассажиров.

— Вера!— громко позвал он.

Вера не оглянулась. Кремовая косынка нырнула в толпу, ярким пятном блеснула в конце соседнего вагона и скрылась за пивным киоском.

Миша вернулся. Что с Верой? Почему она испугалась его?

Валю он увидел неожиданно, за пять минут до отхода поезда. Она бежала по перрону от вокзала. Что-то торопился сказать отец, что-

то самое важное вспомнила мать. Миша кивал головой, но ничего не слышал, не понимал. А он-то думал, все кончено, забыто.

— Где твои вещи? Давай скорее!— кричали из соседнего вагона.— Мы заняли на тебя место.

Валя, жмуря глаза от яркого солнца (она только что вышла из-под вокзального полумрака) и порывисто дыша, улыбалась подругам.

— Спасибо, спасибо девочки. Только я не поеду, пришла проститься. Я вышла замуж.

Она сказала это спокойно, просто, словно отказывалась от пустячной загородной прогулки из-за насморка.

— Не едешь? Почему? Что случилось?

— Да вы не слушаете. Я же говорю: вышла замуж!

— Замуж? Ты серьезно? Шутишь?

— Да нет же, правда!

— Да как же вдруг? Ты что, ребенок?

— Нет, конечно, не ребенок, мне уже восемнадцать лет. Я имею право регистрироваться.

— А разве для этого нужно только восемнадцать лет?

— Ну конечно же восемнадцать!

— А любовь?

— Да перестаньте, девочки. Ну что она на весь вокзал станет кричать: «Да, люблю!» Не слушай их, Валя. Скажи, кто он?

— Карпунин... Ой, да вы все равно не знаете. Да поздравьте же меня хоть кто-нибудь!

— Поздравляем, поздравляем...— загалдели вокруг Вали.— Вы, конечно, приедете к нам позднее. Ты, Валька, не забудь, хоть фотографию вышли.

— Ой, уже отправку дали!

В последнюю минуту Валя увидела Мишу и подошла к нему.

— Все меня поздравили — один ты молчишь.

Валя не улыбалась, смотрела на него серьезно и немного грустно. В глубине ее знакомых глаз Миша в последний раз увидел все, что любил в ней, чего не забыл и, наверное, никогда не забудет. Он ничего не сказал ей.

Поезд тронулся. Миша торопливо обнял отца, поцеловал мать и на ходу заскочил в тамбур. Фигуры отца и матери среди толпы казались сиротливыми, покинутыми. Может быть, и не нужно было никуда уезжать?

В тамбуре тесно. Из-за Мишиной спины махали руками, кричали. Платформа медленно плыла мимо. Можно успеть еще взять свой рюкзак, чемодан и выпрыгнуть.

Провожающие шагали вслед за вагонами, наступали подошвами на яркие блестки солнца на мокром асфальте. В нескольких шагах от себя Миша снова увидел Веру. Она напряженно смотрела вслед убегающим вагонам. Миша окликнул ее. Неожиданно она радостно улыбнулась в ответ, робко подняла руку и помахала одними пальцами. Среди пестрой толпы яркая Верина косынка была заметна до последнего момента.

«Странно, зачем она пришла на вокзал, если Валя не уезжает?»— подумал он.— Или она тоже ничего не знала?»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В субботу Новоселов и Градов поехали на концерт в областную филармонию. Они едва не опоздали к началу. Уже после третьего звонка пробрались на свои места в середине ряда.

На сцене появились музыканты. В зале сдержанный кашель, шарканье, хлопанье сидений, слышны негромкие разноголосые звуки настраиваемых инструментов.

Миша со сдержанным волнением оглядывает зал — многоликую пестроту незнакомых улыбок, взглядов. Среди сотен пар нужно найти одни-единственные глаза. Он только что видел их в вестибюле, когда сдавал пальто в гардероб. Чьи это были глаза? Он не узнал. Они только мелькнули в толпе. Сейчас они здесь, в зале. Как забытый сон, вспомнилось: раньше где-то в другом месте он так же разыскивал в незнакомой толпе девушку точно с такими же глазами. Когда это было? Где?

Ни о чем другом он не мог думать. В антракте он все ходил по фойе. «Наверно, показалось»,— решил он.

Во втором отделении исполнялись популярные симфонические вальсы. После каждого номера волнение публики возрастало. Оно было стихийным и передавалось друг другу. Молодой дирижер со сдержанной счастливой улыбкой кланялся. Длинные черные волосы падали ему на лицо, он нервным движением откидывал их назад.

Концерт окончился. Дирижер трижды выходил на сцену, кланялся, пожимал руки оркестрантам, снова кланялся, улыбался и уходил за кулисы.

Аплодисменты из беспорядочных стали размеренными, подчинившись ритму чьих-то очень гулких хлопков. Дирижер пробирался к своему месту, шагая между тесных рядов музыкантов. Хлопки затихали, публика успокаивалась от собственного возбуждения, рассаживалась на места. Стало ясно: будет исполнено еще что-то сверх программы. Неожиданно раздался ломкий от смущения девичий голос:

— Просим вальс Хачатуряна!

— Вальс Хачатуряна!

— Вальс Хачатуряна!

Сразу поддержали несколько человек с разных мест. Миша перебрасывал взгляд с одного лица на другое и не мог увидеть того единственного человека, кому принадлежал голос, первым выкрикнувший: «Просим вальс Хачатуряна!»

Он узнал Веру Глушко. Почти невероятно! Здесь, в этом зале, за тысячи километров от Москвы. Но и ошибиться он не мог: человеческий голос так же неповторим, как и лицо. Миша долго не мог разглядеть ее: Веру заслоняли мужские и женские затылки. Наконец увидел, она сидела всего на три ряда впереди. Музыканты раскрыли ноты в нужном месте, дирижер поднял руки... Миша видел только часть щеки, выпуклый лоб, кончик слегка вздернутого носа, нежную мочку уха, темные, коротко остриженные волосы, гладкую бронзовую загорелую кожу на шее да приподнятое вверх плечо. Вера нетерпеливо подалась вперед, в ее позе угадывалось напряжение, хотя, возможно, такое представление у него вызывали тревожные звуки вальса. Сидящий позади Веры мужчина беспокойно двигался, его широкий затылок с редкими рыжими волосами то открывал, то закрывал девушку. Неожиданно она оглянулась, безучастно скользнула взглядом по Мишиному лицу и отвернулась. Но в следующее мгновение вторично посмотрела на него — и узнала. Миша понял это по ее расширенным от удивления глазам. Напряженная мелодия знакомого вальса на этот раз прочно слилась в сознании с выражением изумления и словно бы затаенной радости на лице Веры.

Вера не изменилась — все в ней было знакомо, как будто она не выросла, не повзрослела, а осталась той же девочкой-подростком, какой он видел ее в людской толчее на перроне Ярославского вокзала.

Он подождал ее на выходе из зала. Она пробиралась к нему через тесный проход. На ней бледно-малиновая шерстяная кофта. Короткие рукава открывали острые локти, еще не потерявшие летнего загара. В фойе они вышли вместе, в тесноте касаясь друг друга плечами. У гардероба была очередь. Они ушли в дальний угол, остановились у стенда, посвященного композиторам Могучей кучки.

— Как...

— Я не...— одновременно начали они и замолчали.

— Ну что же, так и будем молчать?— засмеялся Миша. На секунду задумался: как называть ее, на «вы» или на «ты»? и, решив звать на «ты», спросил: «Почему ты здесь и одна?»

— Я давно из Москвы. Ведь у нас папа умер. Нынче весной,— сказала она. Губы у нее дрогнули, ему показалось, что она вот-вот заплачет. Он осторожно тронул ее за руку возле локтя.

— Ничего, это пройдет,— сказала она, улыбаясь, и в глазах у нее появились слезы.— Я так рада встрече. Не обращай внимания.— Достала из рукава тонкий платок и вытерла глаза.— Я даже не пойму, отчего плачу — от горя или от радости. Ведь уже все прошло. Вначале я ревела целыми днями. Сейчас не от этого плачу. Встретила тебя — и будто кусочек Москвы увидела.

— Почему ты здесь? Почему уехала из Москвы?

Он хотел спросить еще и о Вале, но не стал. Почему-то он был уверен: Вера здесь одна, без сестры.

— Как хорошо, что я пошла на концерт,— сказала она, не отвечая на его вопросы.— Не зря у меня весь день было предчувствие, что сегодня непременно случится особенное. И верно — случилось. Не нужно на меня так смотреть. Мне стыдно, я вытру слезы. Я ведь не хочу плакать, они сами текут.

Она отвернулась к стене и приложила платок к глазам. Миша смотрел на ее плечи под малиновой кофтой. Ему хотелось положить на них руки и чуть тряхнуть ее.

В противоположном конце зала показался Градов. Он был уже одет. Новоселов смутился, он совсем забыл про товарища. Борис неопределенно махнул рукой, не то хотел сказать: «Жду у выхода», не то: «Понимаю, ты занят».

Миша взял Верин номерок. Очередь в раздевалке была уже небольшая. Бориса нигде не было видно. Вера вытерла слезы, улыбалась, и только глаза ее блестели от пережитого волнения.

Черная шапка-ушанка сделала Веру похожей на мальчишку.

Остановка автобуса, куда нужно идти Новоселову, была сразу за углом. Вера повернула в другую сторону. Пересекли трамвайную линию. Зеленый огонек светофора едва маячил вдалеке. Прошли мимо сквера. За чугунной оградой кусты протягивали заиндевелые голые ветки. Холодно освещенный электричеством город подавал редкие звуки: лязгал трамвай, шуршали колеса запоздалых автобусов, скрипел утоптанный снег под ногами. Миша не знал, где в этом городе живет Вера, и не спрашивал у нее, понимал: сейчас она идет не к себе, у нее такое же чувство, как и у него — им еще нужно о многом поговорить. А для этого нет нужды идти домой. Можно бродить по освещенным улицам где угодно.

— Неожиданное совпадение,— первым заговорил Миша.

— Да, неожиданное,— не очень уверенно подтвердила Вера.

Миша посмотрел на нее, но она ничего не объяснила. Вера шла небыстро, короткими шажками, как будто нарочно, и сосредоточенно смотрела себе под ноги. Неожиданно она подняла голову.

— У меня до сих пор в ушах звучит вальс Хачатуряна,— сказала она.

— Это потому, что его исполняли последним.— Мысленно Миша тоже услышал мелодию вальса, хотел сказать про это, но не стал: будет похоже на выдумку.

Некоторое время шли молча, и это не казалось странным, молчание не тяготило. От реки поднимался туман. Она еще не замерзла. Вода была черная. Глянцевито, холодно блестела, отражала свет далеких фонарей. Вдоль береговой кромки льда тихо шуршала шуга. В тумане чуть желтели огни прожекторов на другом берегу — там был вокзал.

— Как услышу поезд — в Москву хочется,— сказала Вера.

Не сговариваясь пошли обратно. В стороне от улицы в глубине оголенного парка огнями светилась трибуна стадиона.

— Пойдем на каток,— предложила Вера.

— Идем.

В раздевалке под трибуной народу не было, кроме двух смешливых девушек. Нужных размеров ботинок с коньками напрокат не оказалось. Из двери с надписью «буфет» соблазнительно пахнуло горячим. Там за круглыми столиками несколько человек стоя ели сосиски.

— Поужинаем?— спросил Миша.

— Обязательно.

— Кофе и сосиски. Две порции,— заказал Миша.

Отчего-то обоим стало вдруг беспричинно весело, все казалось смешным: и то, что сосиски и кофе были не горячими, а чуть теплыми, и то, что Мише досталась вилка, которой нельзя подцепить сосиску — у нее отломаны и загнуты острия — и ему пришлось брать сосиску руками, и то, что Вера дважды роняла на пол свои перчатки... Стоило им взглянуть друг на друга, и оба прыскали от неудержимого смеха. За крайним столиком четверо в спортивных трико и шерстяных шапочках выпили свой кофе и теперь уходили, осторожно ступая по дощатому полу коньками. Проходя мимо, они оглядывались на Веру с Мишей и тоже улыбались.

В раздевалке Миша снова спросил, есть ли коньки напрокат.

— Ни тридцать пятого, ни сорок второго,— сердито ответила гардеробщица,— спать нужно.

Миша и Вера одновременно посмотрели на часы. Стрелки показывали начало новых суток. Оба рассмеялись и выбежали на улицу.

— Ты где живешь? — спросил Миша. — Я провожу тебя.

— Мне на вокзал. Автобусы в Майск уже не ходят.

Миша даже присвистнул.

— Сегодня ночь чудес. Мне ведь тоже в Майск.

— Да, ночь чудес!— подтвердила Вера.

На вокзал решили идти пешком. До очередного поезда в сторону Майска оставалось больше часа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На мосту тихо, безлюдно. Всего несколько такси бесшумно обогнало их.

Удивительно, как быстро сменилось настроение.

Почему она уехала из Москвы? Разве об этом скажешь в двух словах. Вспоминался день Валиной свадьбы.

Отец достал черный костюм. Он надевал его только в торжественных случаях. Запах нафталина распространился по квартире. Этот запах оказался таким устойчивым, что Вера слышала его еще много дней спустя. В черном пиджаке, в белой сорочке, бледный, худой, с бесцветной улыбкой на лице, отец выглядел жалко. Видно, сам он еще не осознал, как сильно постарел, пытался держаться молодцом. Смотреть на него было мучительно. Вера пыталась уговорить его остаться дома, обещала немедленно привести Валю и жениха к нему, но Николай Тимофеевич замахал на нее руками, не захотел слушать.

Валя ждала их, выбежала встречать на улицу. Она раскраснелась, глаза лихорадочно блестели, было заметно, что она тоже волнуется, словно боится чего-то и заранее держит себя с вызовом.

Гости были разные: тут и юнцы, и совсем пожилые, солидные. Когда Валя представила своего жениха, Вера подумала, что с отцом будет удар.

Николай Тимофеевич весь вечер просидел мрачный и как будто ничего не замечал вокруг. Карпунин несколько раз наклонялся к нему, наполнял рюмку, чокался и любезно уговаривал выпить, но встречал только недоуменный и рассеянный взгляд.

Ни матери, ни Василия Андреевича на вечере не было (Валя пригласила их на следующий день. Она была очень благоразумна, эта Валя, и не хотела ничем омрачать веселья).

Вера хотела увести отца домой, но он не соглашался, даже сердился на нее. Продолжал сидеть за столом, как будто испытывал жгучее наслаждение от своего позора и боли. Чем мрачнее был он, тем безудержнее веселилась Валя.

В разгаре вечера она завлекла Веру в другую комнату — это была ее собственная, отдельная комната,— распахнула зеркальный шкаф, показала свои новые платья. Их было около десятка, не считая халатов и пижам.

— Бери любое, какое подойдет на тебя,— предложила она.

Вера молчала. Валя избегала встречаться с нею глазами. Она суетливо запахнула гардероб, снова открыла, достала из нижнего ящика сумочку, отыскала в ней красочный листок с заманчивой картинкой, изображающей вид на побережье моря.

— Читай: «Гагра». Это мне подарок. В мае поеду. Одна на два месяца. Понимаешь: Гагра и полная свобода! А на остальное плевать.

Валя словно оправдывалась перед сестрой.

— Зачем ты пригласила нас?— спросила Вера.— Зачем позвала папу?

— Чудачка, ведь это же свадьба. Ты всегда была какая-то странная.

Полгода Вера не виделась с сестрой. В конце зимы внезапно умер Николай Тимофеевич. Он умер в клинике, куда его привезли на автомобиле прямо со службы.

Сразу после похорон в квартиру переехала мать и Василий Андреевич. Вере оставили комнату и сделали вход через кухню.

...Как-то, вернувшись из школы, Вера не узнала своей комнаты. Не было ни знакомой старенькой кушетки, ни платяного шкафчика. Вместо них стояла необъятная спальная кровать и сверкающий лаком гардероб. Даже стулья все были новыми, в одинаковых чехлах. Все Верины вещи были на месте. Только школьным платьицам ее в новом шкафу было неуютно, вид у них был обиженный.

Появилась озабоченная чем-то мать.

— Это временно, Верочка. Надеюсь, на кровати тебе будет удобней.

Вера пожала плечами и ничего не ответила. В эту ночь ей плохо спалось. Наверно, у матери и Василия Андреевича неприятности. Но чем могла помешать им новая мебель?

А на другой день в школу прибежала Валя и вызвала Веру прямо с урока. Она была тоже взволнована и расстроена.

— Здравствуй, Вера. Ты должна мне помочь.

Она тащила за собой недоумевающую сестру и непонятно, недомолвками говорила о какой-то злосчастной ошибке, говорила, что она ни в чем не виновата, умоляла спасти ее. На улице их ожидал легковой автомобиль. Валя посадила сестру и сама села рядом.

— Куда ты меня? Что случилось? У нас же сейчас консультация по физике.— Вера рванулась из автомобиля.

— Ах, Верка, какая ты милая.— Валя удержала сестру за руку.— Поезжайте!— приказала водителю.

— Куда же мы?

— Потерпи, Вера, все расскажу. Не сейчас, не здесь.— Валя покосилась на спину шофера.— Консультация по физике,— болезненно усмехнулась она.— Как все это давно было!

Она вдруг жалко сморщилась, упала в колени сестры и заплакала, вздрагивая всем телом. Видимо, с Валей в самом деле что-то случилось.

Автомобиль остановился на малолюдной улице. За всю дорогу шофер даже не оглянулся на сестер. Сейчас он перегнулся через спинку, и, вытянув руку, помог Вере открыть дверцу.

— Можете за мной не приезжать,— сказала Валя.

Шофер ничего не ответил.

Вера огляделась и с трудом узнала место. Они были неподалеку от дома, где еще недавно жила мама. На миг Вере даже почудился приторный плесневелый запах. Вокруг все переменилось неузнаваемо: соседний квартал наступал в проулок кирпичными стенами новых строений, несколько портальных кранов возвышалось над ними, в соседнем дворе на месте двухэтажного деревянного дома зиял свежевырытый котлован. На дне его несколько человек укладывали арматурные

решетки. И на фоне всех этих перемен старинный дом с облупившейся по карнизу штукатуркой выглядел еще нелепее.

Сестры поднялись на третий этаж. Дверь, как и прежде, открыла Алла Александровна. Она совсем не удивилась, будто ждала сестер.

— Вот сюда, сюда проходите,— говорила она и бодро семенила впереди, показывая дорогу.

Комната Аллы Александровны походила на мебельный склад. Невозможно было пройти, не задевая о спинки стульев, о столы. Несколько запыленных зеркал, расположенных как попало, отражали всю эту неразбериху. Вера недоуменно смотрела вокруг.

— Чему удивляешься?— спросила Валя рассерженно.— Странная ты, Верка. Ничего не замечаешь, что вокруг тебя делается. Живешь, как слепая. Не узнаешь, что ли? Все это мамино и Василия Андреевича. Временно пришлось спрятать здесь. Там оставлять опасно.

— Опасно? Почему?

— Это не так просто рассказать.

Валя объясняла долго и длинно. Вера поняла только одно: Василий Андреевич, какой-то Дод, вернее Степан Тимохин, и другие занимались спекуляцией. А сейчас всем им грозит разоблачение. Валя прежде была знакома с Додом и тоже как-то оказалась замешана в деле. На днях Дод разыскал ее и потребовал помощи, просил, угрожал. От Вали нужно немногое: если ее вызовут на допрос, она должна все отрицать, она ничего не знает о встречах Дода и Василия Андреевича в конторе базы. А если они и приезжали иногда туда, то делалось это по просьбе Вали. И в этом нет ничего странного: ведь Василий Андреевич родственник ей.

— Вот только и всего,— сказала Валя,— и это почти правда: я тогда ничего не знала, не подозревала.

Вера, наконец, отвлеклась от своих школьных забот, слушала Валю внимательно. Старшая сестра запуталась в каких-то грязных и темных делах. Как это случилось и чем она, Вера, может помочь ей? Она расспрашивала Валю еще и еще. В разговор вмешалась Алла Александровна, помогая сестрам разобраться в сути дела. Но ни Вера, ни даже Валя так и не поняли толком всего.

Спекуляция была сложная: товары, особенно ходовые (модная обувь, одежда), предназначенные для отправки в районы, подменялись другими, недефицитными. Делалось это через один крупный универмаг и целую сеть периферийных магазинов, вернее через Василия Андреевича. Дод был звеном между дельцами и спекулянтами черного рынка. Валя служила просто ширмой, на всякий случай. Сейчас идет суд. Началось с пустяка, с ревизии. В универмаге обнаружилась крупная недостача. Собственно, это было уже совсем другое дело. Но следствие может докопаться и до них. Василий Андреевич со дня на день ждал разоблачения. А тогда пойдет настоящая карусель. Чем все это может грозить ей, Валя еще не знала. Она растерялась и, наверно, не надеялась получить дельного совета от младшей сестры, а просто по привычке искала у нее сочувствия, поддержки.

— Скажи, Вера, что теперь делать?

— Пойти и все рассказать.

— Куда пойти? Что рассказать?— удивилась Валя.

— Не знаю, куда. Ты должна лучше знать. Наверно, в милицию.

— Ты очумела, Верка! Тогда же наверняка все погорят.

— Ну и пусть горят! Пусть все это сгорит!— Составленные друг на друга мягкие стулья казались Вере безмолвными врагами.— Пусть горят. А не пойдешь — я сама расскажу.

— Дура ты, дура! Сумасшедшая! Да если ты только вздумаешь...

— Тише, девочки, ради бога, тише, — трагически прошептала Алла Александровна, прикладывая к губам сморщенный палец.— Соседям слышно. И так уже спрашивали, где я мебель достаю.

Из окна на перевернутые вверх ножками стулья падала полоса солнечного света. В ней бесновато мельтешили яркие пылинки. Все это показалось до странности нереальным, немыслимым. Незачем переворачивать стулья вверх ногами, на них полагается сидеть. Вера вдруг ощутила духоту. Она встала и пошла к двери. Никто не остановил ее.

В знакомом месте Вера не увидела трамвайной линии. Улица была перекопана, перерыта. Прибежала Валя.

— Теперь здесь трамваи не ходят,— сказала она.— Пойдем дальше, там остановка автобуса.

Сестры шли рядом. Одна из них, в коричневом школьном платье, глядела под ноги, мучительно, сосредоточенно думала. Старшая, в светлом летнем пальто, шагала рядом, на ходу застегивала пояс, сбоку заглядывала на сестру.

— Не обижайся на меня, Вера. Я еще подумаю. Если меня вызовут, я расскажу все, что знаю. Только ты никуда не ходи. Незачем еще тебе впутываться в это дело.

Целую неделю дома царила тишина. Василий Андреевич и мама ходили неслышно, не

улыбались, не разговаривали. Словно ждали покойника. Наверно, тогда и родилось у Веры желание покинуть семью. Ночью она просыпалась на краю громадной неуютной кровати. Тугой пружинный матрац не издавал ни единого звука, даже когда Вера нетерпеливо ворочалась с боку на бок или садилась на постели. Кровать словно боялась подавать признаки жизни, знала, что она куплена на ворованые деньги. И сама Вера тоже пользуется ворованым: спит на кровати, ее платья висят в новом шкафу, утром она пьет свой любимый кофе со сливками, ко дню рождения ей подарили пальто... От этих мыслей становилось страшно и было не до сна.

Каждый день, возвращаясь из школы, Вера ожидала увидеть во дворе милиционеров. Она почему-то считала, что арестовывать Василия Андреевича будет по крайней мере добрый взвод вооруженных людей.

Но кончилось все проще. Не было ни милиционеров, ни оружия. Во дворе стоял грузовик. Трое грузчиков перетаскивали диваны, шкафы, стулья. Помолодевший Василий Андреевич бойко распоряжался, куда что ставить. Вера узнала стулья, которые видела у Аллы Александровны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

На железнодорожных путях сквозь недвижимый туман едва виднелись зеленые и синие огни. Свет сильных прожекторов, установленных на высокой металлической опоре, рассеивался в густом влажном воздухе.

Миша и Вера попали почти в пустой вагон и сели у окна друг против друга. Поезд неслышно тронулся с места. Одетая паром река осталась в стороне. Линия дороги обогнула гору с рощей на склоне. Темные сосны спускались к самой насыпи. Между соснами лежала сонная синева снега. Из темноты вынырнула притихшая платформа. Несколько человек прибавилось в вагоне. Удивляла необычная тишина.

Поезд опять спешил в черноту, озаренную дальними огнями. Прямоугольники света, упавшие из окон вагона, скользили вдоль края насыпи, ломали свои формы по произволу откосов и рытвин.

Неожиданно за поворотом открылась рожденная в ночи галактика. Это была новостройка — Майск.

Несколько пассажиров, вышедших на станции, тотчас разошлись: только в разных направлениях слышался скрип подошв. Вера и Миша не торопились.

Казалось странным, что нужно обязательно идти и ложиться спать. Они шли по затихшим улицам. Дома сонно, уныло смотрели на них пустыми черными глазницами окон. Только на окраине была жизнь. Здесь горели прожектора, выделяя из ночи куски стройки. На темной синеве неба чернели стрелы кранов. В другое время Миша и сам работал в ночной смене, но тогда все казалось ему будничным, он не замечал общей картины — он сам был ее частью.

Густые тени разламывали контуры знакомых предметов. Ближний к ним рабочий в ватнике, ушанке и брезентовых рукавицах подавал знаки крановщику. Бетонный блок медленно продвигался в нужное место. По стальным тросам снизу вверх мгновенными вспышками пробегал холодный отраженный свет. Черный канатик тени вздрагивал, рассекал наискось лицо рабочего, бесшумно хлестал по земле.

— Уже третий час,— сказала Вера.

— Тебе спать пора,— спохватился Миша.— Где ты живешь? Я провожу.

— Нет, нет! Только не спать,— взмолилась она.— Если только ты не хочешь спать. Я не потому вспомнила время. Просто подумала: «А в Москве еще вечер. На Горького сейчас еще тысячи людей и огни, огни. А вон ту звезду, наверное, и в Москве видно. Только кто там станет смотреть на звезды, если внизу полно света. Здесь я чаще вижу звезды. Правда, они здесь ближе.

Они вышли на пустырь. Дорога в снегу была едва заметна, но Вера шагала уверенно. По шаткому дощатому мостику перешли овраг. Здесь снова начались жилые кварталы. Вера остановилась у подъезда нового здания.

— Зайдем,— предложила она и первая вошла в дом.

Внутри оказалось тепло от горячих батарей. Дом был почти закончен, но пока еще не сдан.

Вера уверенно шагала впереди, безошибочно отыскивая в темноте невидимые повороты. Включила свет. Перед ними был длинный прямой коридор. По обе стороны в холодном блеске никеля симметрично застыли дверные ручки. В пустоте здания гулко разносились шаги.

Поднялись на второй, на третий этаж. Повсюду Вера с озорной настойчивостью зажигала свет. Внизу хлопнула дверь, послышались неразборчивые сердитые голоса, мужской и женский.

— Попались!— прошептал Миша.

— Нет. Бежим.

Вера помчалась вдоль коридора. Он едва

поспевал за ней. Позади злобно грохотали чьи-то тяжелые сапожищи.

— Зря ты, Вера. Ничего страшного не будет.— Он решил, что она напугалась, и придумывал, как ему взять вину на себя.

— Не бойся. — Она повернулась к нему, и по ее улыбке он понял, что ошибся: она не боится, ее скорей забавляет погоня.

Вбежали в угловую комнату.

— Тихо! — Вера приложила палец к губам и, не зажигая света, на цыпочках подошла к застекленной двери на балкон. Миша так же тихо шагал за нею, сдерживая дыхание. Дом стоял на косогоре и в том краю, где они очутились, был на целый этаж ниже. Рядом с балконом кривилась старая береза.

— Я спускалась здесь уже однажды днем, — прошептала Вера. Миша перелез через перила и помог Вере. По изогнутому стволу спустились вниз.

В окнах дома один за другим гасли огни. Кто-то показался на балконе, откуда они только что спустились. Виден был один черный силуэт. Человек поднял кулак и погрозил в темень.

Вера громко засмеялась.

— Не сердитесь, Яков Кузьмич! — крикнула она.

Человек кашлянул и спросил:

— Кто это?

— Не скажу, — отозвалась Вера.

— Девчонки, я буду жаловаться, — слезливо пригрозил человек и, немного постояв на балконе, вернулся в дом.

— Это наш прораб, — объяснила Вера.— Он всегда нас путает. Никого не узнает по голосу.

2

...Пробираясь к выключателю, Миша опрокинул стул и разбудил Градова.

— А, явился полуночник, — пробормотал Борис голосом, хриплым спросонок.

— Боря, знаешь, что я тебе расскажу?

— Знаю, — Борис откинул одеяло и повернулся к Мише. — Ты влюблен.

— Вот тебе на. С чего ты взял?

— Написано на твоей вывеске. Я еще там, в филармонии, прочел это.

— Что же на ней такое написано?

— Думаешь, я никогда не видел влюбленных? У них глаза особенные.

— Какие же?

— Глупые. Спи!

...Должно быть, взошла луна или зажгли новый прожектор, только в комнате стало светлее. Над кроватью Бориса отчетливей стало видно расплывчатое пятно. Раньше там висел плакат по технике безопасности. Когда-то квартиру снимали двое бойцов из пожарной охраны. У них таких плакатов были сотни, и расклеивали они их не жалея, где только находили свободное место.

В комнате давно не топлено. Простыня холодная, как клеенка. Нужно набраться терпенья, дождаться, когда под одеялом станет тепло. Тогда можно будет уснуть. А пока лучше лежать и не шевелиться. Пожалуй, на улице и то было теплее.

Какая все-таки у них скучная комната: голые стены, две кровати, две тумбочки, стол, два стула. Стулья точно такие же, какие можно увидеть в любой конторе, в общежитии. Все безликое, как форменные бушлаты у ремесленников. Скроили их в восемнадцатом, или в каком там точнее, году, так и шьют до сих пор.

Раньше он почему-то не замечал, как уныло, казарменно у них в квартире. Особенно обидно стало ему за Веру. Он только что проводил ее в общежитие и легко мог представить, как там все выглядит у них, хотя и не был внутри. Какая разница, он был в других общежитиях.

С некоторых пор у Миши вошло в привычку мысленно вести спор. Воображаемыми противниками всегда были одни и те же люди: два безобидных старичка, с которыми он давным-давно пил чай в чужой московской квартире. Тогда он не думал, что обидные слова дяди Гоши о молодежи, о Мишином поколении так надолго запомнятся. Вот и сейчас в тишине он услышал знакомый голос, словно наяву. Память не сохранила ни лица дяди Гоши, ни одежды, ни повадок — только голос. И Миша волен был представлять дядю Гошу таким, каким хотел. Если нужно было, он заставлял его спорить даже там, где настоящий дядя Гоша скорее был бы согласен с Мишей.

— Наши отцы, а ваши деды, — сказал дядя Гоша, — сделали революцию и отстояли ее. Это, пожалуй, потруднее было, чем спать в нетопленной квартире. Да вас еще, видите ли, форменные бушлаты не устраивают. А знаете, как мы жили в ваши годы: у нас на троих одни приличные штаны были, не то чтобы модные, а просто целые, нелатаные. Запас прочности не тот был. Если нужно было, мы мирились с трудностями...

— Вот-вот, — обрадованно перебивал Миша, — если нужно было — мирились. Нам часто говорят: мириться нужно с трудностями. А почему нужно мириться, а не воевать? Разве ваши отцы, а наши деды стали бы сейчас мириться с трудностями?

Теперь наступила очередь торжествовать дяде Гоше:

— Воевать? А вы воюете?

3

Утром Новоселов задержался в столовой до закрытия. Возможно, Вера завтракает здесь же. Странно, почему до вчерашнего дня они не видели друг друга? В Майске не такое уж большое население. Они не условились с Верой о новой встрече. Это казалось ненужным. Миша знал адрес: улица Молодежная, корпус девятый. Но сегодня все представлялось сложнее. У него не было решимости запросто пойти в женское общежитие и вызвать Веру. Неужели виною Борькина болтовня о глазах влюбленных? Глупости. Просто ему нужно увидеть Веру. Они оба москвичи, у них масса общих воспоминаний. А вчера они почти не успели и поговорить как следует.

Девятый корпус (всего их больше двадцати) — длинное одноэтажное здание. Вход с улицы наглухо заперт. На запорошенном снежной пылью высоком крыльце одни следы собачьих лап. В корпус нужно попадать со двора. Да, собственно, и двора никакого нет. Позади бараков — пустырь, пересеченный множеством протоптанных в снегу дорожек. Голые столбы указывают места, где летом были баскетбольная и волейбольная площадки. Сейчас между столбами веревки с бельем.

Из девятого корпуса вышла женщина в ватнике. Дверь за ней с резким стуком захлопнулась. Женщина стала снимать с веревок ломкое белье. Когда она, неся перед собой громоздкую хрусткую охапку белья, направилась обратно, Новоселов опередил ее. На двери была сильная пружина, он едва удерживал в руке заиндевелую ручку.

— Спасибо, — сказала женщина, неловко повертывая голову над бельем, чтобы взглянуть на него.

— Будьте добры, позовите Веру, — попросил он. — Веру Глушко.

Вера выбежала в одной кофточке, даже не накинув на голову косынки.

— Миша! Ой, как хорошо. Заходи. Побудь в общей, я мигом оденусь.

Комната, куда его направила Вера, оказалась кухней. Женщина, которую он видел во дворе, была здесь. Она постелила на стол старенькое одеяло, собираясь гладить. На металлической подставке стоял нагретый электрический утюг. В комнате были еще три девушки. На негромкое Мишино приветствие они повернули головы, но только одна из них улыбнулась ему. Две других, как показалось Мише, посмотрели на гостя недружелюбно и продолжали разговаривать между собой. Знакомая Новоселову женщина переставила таз с бельем, придвинула Мише табурет.

Он сел, снял шапку и положил на колени. Одна из девушек примостилась на краю стола вполоборота к нему. У нее решительное и сердитое выражение лица. Вторая девушка сидела на стуле, вытянув перед собой ноги в домашних туфлях. Третья, та, что улыбнулась ему, особняком стояла у окна. Она только что закончила укладывать волосы, повязала голову шелковой косынкой. На ручке оконной рамы круглое зеркальце. Девушка смотрится в него и осторожно пальцами поправляет влажные еще пряди волос. Миша замечает на себе ее внимательный взгляд, отраженный в зеркале.

Куча белья в эмалированном тазу от комнатного тепла осела. Женщина, смочив палец слюной, потрогала утюг. Он отозвался негромким шипеньем.

— Нина, освободи стол, — попросила она.

Сердитая девушка, не отвечая, спрыгнула на пол. Нина стояла напряженно, словно нарочно хотела утомить себя. Девушка с прической взглянула на Мишу, покосилась на Нинины ноги и неопределенно повела плечами.

Нина и ее подруга продолжали разговор, начатый много раньше. Только в словах Нины Миша угадывал недоброжелательные нотки, адресованные ему, Мише. Должно быть, в случайном госте Нина хотела видеть по крайней мере представителя всего враждебного мужского лагеря.

— Все парни одинаковые. Нальет глаза — ему море по колено. Герой! Мы ему покажем героя! Так пропесочим — небу жарко станет.

— У вас в комитете только и дел: разбирать ссоры да мирить, — сказала девушка с прической. — Ничего серьезного — одни пустяки.

— Поведение комсомольца в общественном месте не пустяки.

Подруга Нины вдруг громко всхлипнула и убежала из кухни. Миша успел увидеть только блестящие глаза на опухшем от слез миловидном лице.

— Опять разревелась. Беда, — сказала женщина, водя утюгом по наволочке, от которой поднимался и сразу таял легкий парок. Она опустила утюг на подставку и отложила выглаженную наволочку на край стола. — И охота им каждый вечер на танцульки в этот клуб. Прибегут со смены, толком не по-

обедают — и ну завиваться да прихорашиваться. А в клубе пьяные.

— Нужно самой поставить себя так, чтобы не посмел никто оскорбить, — сказала девушка с прической. — Сама виновата: пошла с пьяным танцевать.

— Ну он ведь не чужой, — вставила женщина.

— А мы скоро сделаем так, что ноги пьяных не будет в клубе, — заявила Нина.

— Кто это мы? — спросила прическа.

— Комсомольцы.

— На собрании станете обсуждать?

— Станем и на собраниях.

— Всех или по выбору?

— Всех. Знаю, Люся, о чем ты. Всех. Ни с кем нянчиться не будем.

— Ну, ну. Посмотрим.

— А по-моему, во всем виновата наша неустроенность, — сказала женщина, обращаясь к Мише. — Живем, будто на день пристроились, — ни кола, ни двора. Они давно бы уже и расписались, да жить негде — квартир-то и многосемейным не хватает. Вот и мыкаются. Как вы-то собираетесь?

Миша растерялся. К счастью, в кухню заглянула Вера. Она была уже одета.

На улице, не сговариваясь, повернули в сторону клуба. Это было одно из первых зданий в поселке, тоже деревянное с каркасно-насыпным остовом. За три года оно осело, словно вросло в землю, обветшало и, несмотря на множество плакатов и лозунгов, имело убогий вид. Здесь была конечная остановка городского автобуса.

Весь день они бродили по улицам незнакомого города, ходили в кино, пообедали в какой-то столовой. Вечером случайно с рук достали билеты на эстрадный концерт. В фойе Вера вспомнила, что она обута в валенки, а туфли оставила дома, в общежитии. Как Миша ни убеждал ее, что это сущие пустяки, что и он одет не для бала, она ничего не признавала и в антракте никуда не выходила.

В Майск возвратились поздно и опять на электричке. Автобусы уже не ходили. Провожая Веру к девятому корпусу, Миша вдруг вспомнил, что они не ужинали, и сразу почувствовал острый голод.

— Я бы сейчас целого барана съел, — сказал он.

— Ой! И я почти то же самое подумала. Ты подожди меня. Я схожу в свою комнату — в тумбочке должна быть сайка.

Дверь открыла сердитая, заспанная сторожиха.

— Опять приблудная полуночница явилась. Ночевала бы уж где-нето.

Но, узнав Веру, она сразу изменила тон: — Ах, это ты, Верочка. Прости меня, старую, спросонья не разобралась.

Эти ласковые слова обрадовали Мишу. Ему почему-то хотелось, чтобы о Вере все были хорошего мнения.

— Не закрывайте, тетечка Уля, — попросила Вера. — Я сразу вернусь. Только сайку принесу, мы голодные.

— Как же. Найдешь свою сайку. Сегодня у вас гости были. Да вы пройдите потихоньку на кухню, а я уж поищу вам чего-нибудь.

Миша, бесшумно ступая, прошел вслед за женщиной и Верой в уже знакомую комнату. Разговаривали шепотом.

— Уж и не придумаю, чего вам дать. У меня только черный хлеб да еще холодная картошка в ватниках (она так и сказала: не в мундирах, а ватниках).

Тетя Уля ушла в свою каморку. Вернулась через несколько минут. На стол расстелили газету, положили картошку, хлеб, лук и соль. Мише казалось, что он никогда не ел с таким аппетитом. Тетя Уля принесла еще по стакану остывшего чаю и немного сахару.

После теплой кухни на улице показалось особенно морозно. Миша смотрел на холодную черноту квадратных окон. Все они были одинаковые. «Надо было спросить, в какой комнате она живет», — подумал он.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В котлован, где работала бригада, по земляной лесенке спустился рассыльный из конторы жилстроя. Новоселова зачем-то срочно вызывал заместитель начальника.

Миша поднялся на второй этаж. В приемной за небольшим столиком сидела остроносая пожилая женщина, торопливо строчила на печатной машинке. Заметив рабочего, шагающего к двери, обитой черным дерматином, она оборвала дробный треск машинки и своим худеньким телом загородила дорогу.

— Сергей Викторович занят, — почти автоматически сказала она и покосилась на Мишины сапоги, выпачканные в цементе.

— Подожду. — Миша сел на край дивана у стены.

Женщина снова начала бойко стучать по буквам. Движения пальцев были неуловимо быстрыми. Ожидание затягивалось. За таинственной черной дверью не было слышно ни единого звука. Выждав момент, когда женщина вынула отпечатанные листы и стала закладывать новые, Миша спросил:

— И долго он будет занят? Мне ведь нужно в котлован.

— Ох, а вы случайно не Новоселов? — спохватилась секретарша.

— Новоселов.

— Тогда пройдите. Сергей Викторович ждет вас.

Столы в кабинете по канцелярской традиции сдвинуты буквой «Т». За дальним столом спиною к окну в объятиях грузного кресла сидел зам.

— Меня вызвали к вам. Я Новоселов, — сказал Миша.

— Ах, это вы и есть Новоселов, — с неожиданным радушием воскликнул Сергей Викторович, поднимаясь из кресла навстречу Мише. На ходу он закрыл газетой какие-то листы на столе.

— Очень приятно. Вы садитесь.

У мягких стульев, что чинно застыли вдоль стола, был неприступный вид. Казалось, никто никогда не садился на них. Для этой обычной цели назначались два крайних стула — стулья-работяги со скромной дерматиновой обивкой. Из чувства внутреннего протеста Миша сел на один из дорогих стульев.

Выражение лица зама не то любезное, не то насмешливое. Прищурив глаза, он смотрел на рабочего, словно ждал, когда тот заговорит первым. Новоселов молчал. Сергей Викторович опустил взгляд. Порывшись в бумагах на столе, отыскал конверт и отдал Мише. Письмо было заклеено, в адресе значилось «Карпунину С. В.».

— Это не мне.

— Нет-нет, вам — Сергей Викторович энергично замахал руками. — Читайте внизу.

В самом деле, строкой ниже в скобках было указано: «для Новоселова».

— Во всем тресте ни одного Новоселова не нашли, кроме вас.

Письмо было из Москвы. Фамилию отправителя разобрать невозможно. «Карпунин, Карпунин, — повторял Миша про себя. — Где же я слышал эту фамилию?»

Конверт, видимо, уже вскрывали и заклеили снова. Письмо было написано на развернутом листе из ученической тетради.

«Здравствуй, Миша!» — прочитал он и невольно вздрогнул, узнав почерк.

Валя! Ее каракули. Такие же неразборчивые, как и раньше, в школьные годы, когда он получал от нее первые записки. Заглянул в конец письма.

«Та, которая не забыла тебя и никогда не забудет, твоя Валя», — прочитал он и сразу вспомнил, где слышал прежде фамилию «Карпунин». На Ярославском вокзале — это же фамилия Валиного мужа.

Валя писала, видимо, от нечего делать, сбивчиво и обо всем сразу. Жаловалась на судьбу, на ошибки юности, писала, что все пропало, жизнь разбита, и тут же сообщала о своем новом демисезонном пальто, которое ей «ужасно идет». Было впечатление, будто Валя случайно взялась за перо и потом писала уже по инерции, забывая даже, кому пишет.

«Письмо тебе отдаст мой благоверный (не могу без содрогания видеть его масляную рожу). Ты сам увидишь: это чучело, не человек. Но он добр и мягок. Если тебе нужна помощь, попроси, он все сделает. Я уже написала ему. Я, наверное, скоро приеду к вам в Сибирь. Мне ужасно скучно, а все друзья где-то растерялись, и никто не подает знаков. Я совсем, совсем одна».

Миша читал, поражаясь собственному равнодушию. Бегло прочитав письмо, сунул его в карман.

— Одну минуту, пожалуйста, — Карпунин неожиданно быстро, мелкими шажками забежал вперед Миши. — Посидите еще. У меня к вам дело.

Миша сел на прежнее место, Карпунин напротив него. Некоторое время он молча смотрел на Новоселова, прищурив глаза и потирая руки. Пальцы его, короткие, пухлые, казались лишенными силы. Глядя на них, невольно появлялась мысль, что руки эти давно отвыкли от любой работы и ничего не умеют делать.

— Вы, кажется, учились вместе с моей женой? — спросил Карпунин.

— Н-нет... Хотя, да. — Миша не сразу сообразил, что речь идет о Вале.

— Скажите, вы были очень близки с нею? — спросил Карпунин многозначительно.

— Мы учились вместе. — Миша посмотрел в лицо Карпунину, стараясь поймать его ускользающий взгляд.

— Да, да... Я понимаю... Видите ли... у Валентины и сейчас много друзей. Мы с ней несколько разного возраста.

«Ничего себе несколько». — Миша искоса посмотрел на Карпунина.

— Вот видите: вам даже смешно, — довольным тоном, почти с радостью сказал Карпунин. — Ну конечно же, вы правы: между нами громадная разница. Поверьте, я нисколько не удивляюсь, что Валентина ищет общества молодых. Она, знаете, иногда даже меня за своего папу выдает.

— Остальное как-нибудь в другой раз доскажете. — Миша нетерпеливо поднялся со

стула, его уже начал раздражать Карпунин. Что только ему нужно?

Карпунин вскочил и снова загородил Мише дорогу.

— Уже и обиделись. Нетерпеливая молодежь пошла. Если Валентина вам пишет, то вы не стесняйтесь, приходите. Я всегда буду рад. И так, если какая просьба, или что...

Выйдя в приемную, Миша облегченно вздохнул. Прежде чем уйти, вынул из кармана мятое письмо, разорвал. Хотел бросить в плетеную корзинку для мусора, но, перехватив настороженный взгляд секретарши, спрятал клочки в карман. Пожалуй, такая соберет и прочтет.

Миша так и не понял, зачем он понадобился Карпунину. Разве что тому хотелось поговорить о Вале с кем-нибудь из тех, кто ее знал. Шут его разберет.

2

В дверь негромко постучали.

— Войдите, — сказала Нина, но за дверью не услышали и постучали вторично.

Вера подбежала к двери и распахнула.

— У нас открыто. Вы к нам?

— К вам...

— Валя? Ты?

— Я, Веруська, я!

Голос у Вали невольно задрожал. Забытые, давние чувства спазмами сдавили горло. В воздухе словно повеяло неуловимым ароматом прошлого. Сестры обнялись.

— Верка, родная! Ой, какая ты... Не могу...

Валя достала из кармана носовой платок и стала вытирать слезы.

— Да разденься же ты, — спохватилась Вера. — Это сестра, — объяснила она Нине.

Валя сняла пальто, отдала Вере. Пока сестра убирала одежду в шкаф, Валя прошлась между кроватями. Лиловый закат смотрелся в решетки окна. Нина стояла возле своей тумбочки, с любопытством разглядывала гостью. Валя перехватила ее взгляд, улыбнулась и посмотрела на себя в зеркало. В алом шерстяном жакете и коротких брючках из синей шерсти Валя выглядела стройной и по-спортивному подтянутой.

— Где твоя кровать? — спросила она.

Вера показала. Валя сняла туфли и с ногами заскочила на постель.

— Можно, Верунь?

— Конечно, можно.

— Ну подойди же, сядь со мной. Боже, сколько мы не виделись! Ты выросла. Веруська, милая... — Валя то и дело подносила носовой платок к глазам.

Вера задумчиво смотрела на Валины руки. Ногти на руках у нее были длинные, аккуратно заостренные, покрытые бледно-малиновым лаком.

— Да что же ты молчишь? Я одна болтаю. Ну говори же! Как ты сюда попала? Почему ничего не писала мне? Ведь я так волновалась, ты даже не представляешь. Я разыскивала тебя по всем городам, везде посылала запросы. — Валя лгала вдохновенно и сама почти верила своим словам. — Хоть бы одну строчку написала! Ну ладно, ладно, — примирительно сказала она, заметив, что Вера собирается возражать. — Теперь я нашла тебя — и все хорошо. Расскажи, чем ты занимаешься? Как живешь?

— Я... в бригаде штукатуров. Вот и Нина тоже. Живем здесь, скоро в новый корпус переведут с удобствами. Да нечего рассказывать.

— Ты работаешь?! Неужели вот эти дома вы сами построили? Я знаю: их кто-то должен строить. Но никогда не думала, что это так просто. Даже ты, Вера. Молодчина! Ты всегда была молодчина.

— А ты как живешь?

Вместо ответа Валя спрыгнула с кровати и, не обуваясь, подбежала к шкафу. Из кармана своего пальто достала бумажный сверток, туго перевязанный голубой лентой. Развязала узел. На одеяло посыпались фотографии — больше сотни фотокарточек.

— Вот смотри. Я нарочно тебе привезла.

Оставшуюся в руке газету она измяла в комок, хотела швырнуть под кровать, но удержалась, положила рядом с собой. Из бумаги выкатились защитные очки с овальными черными стеклами в пластмассовой оправе.

— Вот они где, — обрадовалась Валя. — Я думала, они совсем потерялись. Это подарок.

Она надела очки. Овалы стекол сверкнули, бросив на потолок размазанных солнечных зайчиков. Валиных глаз не стало видно.

— Сними, — попросила Вера.

— Конечно. Это только для пляжа.

Фотографии различались по формату. Наверху лежали самые крупные. Вера перебирала карточки и отдавала Нине (она тоже подошла к Вериной постели). Карточки удивительно походили одна на другую, хотя надписи, сделанные в углу их, указывали на различные места: «Ялта», «Сочи», «Гурзуф», «Оз. Рица»... Море, пальмы, старинный замок, крутая скала, водопад, горное ущелье, яхта под парусами... Чего только не было на снимках! Фотографии выполнены тщательно, на

добротной бумаге. Виден каждый листочек пальмы, каждая трещина в скале, каждая отдельная волна на море. Но, несмотря на это, все снятое казалось ненастоящим, словно группы людей, заслонивших вид на море или на горы, фотографировались возле искусно нарисованных декораций.

— Это когда я в экскурсию ездила, — пояснила Валя. — А вот знакомые снимали.

Любительских фотографий оказалось еще больше. Глянцевая бумага карточек скользила в руках. Сотни Валиных улыбок запечатлел фотоаппарат: на пляже, в море, у входа в парк, на борту теплохода, в шлюпке, на фоне снежных гор, под зубчатой экзотической тенью пальмы...

— Вы долго были на море? — спросила Нина.

— Все лето. Вначале интересно было — потом надоело. Там скука.

— Скука? — Нина положила очередную фотографию, с любопытством посмотрела на Валю. Валя чуть заметно улыбнулась.

— А я не могу представить, как может быть скучно у Черного моря, — сказала Вера.

— Чудачка, ты же там не была.

— Мы еще побываем, — вмешалась Нина. — Купим туристские путевки и съездим.

В тоне, каким она сказала это, прозвучала неприязнь.

— Невеселая затея. Вас будут возить, показывать, рассказывать — поучительно, но скучно.

— Нам не будет скучно, мы будем вместе.

— Может быть, может быть. — Валю несколько озадачила непримиримость, с какой Верина подруга отнеслась к ее словам. — Мне везде скучно. Я и сюда приехала от скуки. Сейчас все говорят: «Сибирь, Сибирь! Стройки!» А здесь один мусор: горы песка, кирпич битый... Пока добралась к вам, чуть ноги не поломала.

— Ты, наверно, через стройплощадку шла, — сказала Вера. Нина тоже хотела что-то сказать, но промолчала, только фыркнула и ушла к своей тумбочке.

— Нет, скажи правду, Вера, тебе не скучно здесь? Здесь же глухая скукота!

— Мне не скучно.

— Хм, — негромко произнесла Нина. Вера посмотрела на нее и виновато улыбнулась.

— Было, Валя. Вначале, когда я только приехала, — ночи напролет ревела. Но это... Это совсем другое, это не от скуки. Я еще никого не знала здесь. Думала, все в Москве осталось. Мне даже девчата собрали на билет. Решили, что у меня денег нет обратно ехать.

— А у тебя и не было, — вставила Нина.

— Не было, — призналась Вера. — Только я не хотела уезжать.

— Ты упрямая, — сказала Валя, — всегда была упрямая.

— Нет, не упрямая. Просто иначе не могу. Я ведь и до сих пор по Москве скучаю.

— А я вот никогда не скучала по Москве, — сказала Валя, — и сейчас не скучаю. Мне просто скучно. Везде скучно. В Москве тоже.

Нина надела пальто и собралась идти.

— Вера, если за мной зайдет... скажешь, я в клубе, — попросила она.

Оставшись вдвоем, сестры долго молчали. Вера сгребла в кучу рассыпанные фотографии и у себя на коленях выравнивала углы карточек. Валя смотрела на дверь и тихо качала головой.

— Какая эта Нина... Ты давно ее знаешь?

— Нину? Мы вместе поступали работать.

— Как она поглядела на меня. Злая она, должно быть?

— Неправда. Ты ее не знаешь. Она только с виду неприветлива, а на деле добрейшая душа.

— Да, да... Не спорю. Постой, Вера, постой. Что-то я хотела спросить у тебя, самое главное.

Валя кулаком потерла лоб. Вера ждала.

— Не вспомню. Ладно, потом. Скажи, вон на той стороне дома вы строили? Они такие громадины — и ты, Вера. Ты же маленькая.

— Я не одна — нас бригада. Да мы и не строим, только отделкой занимаемся, штукатурим...

Валя потрогала ладошкой стенку над изголовьем кровати и посмотрела на Верины руки.

— Ты все время в перчатках работаешь? У тебя пальцы чистые.

— В рукавицах, — поправила Вера. — Нет, не все время. Но я ведь после смены умываюсь.

— Тебе смешно. А мне кажется, если я запачкаю руки в известке, потом неделю не отмою.

— А у нас пемза есть. Вот смотри. — Вера достала из своей тумбочки кусок камня. — Любую грязь отмоет.

— А из чего это?

— Камень очень легкий.

— Странно. Я думала, какое-нибудь французское мыло.

Валя подержала пемзу в руке и рассеянно положила на подушку. Больше всего Валю поразила мысль, что ее младшая сестра имеет

какое-то отношение ко всему, о чем сейчас пишут в газетах и говорят по радио: о Сибири, о стройках... Вот эта самая Верка. А руки у нее совсем не похожи на рабочие руки, маленькие, нежные. Валя посмотрела на свои руки, повернула ладошками к себе, потом от себя.

— Вот ты бы и в рукавицах обломала свои ноготки, — заметила Вера.

— Это так, блажь одна. Сейчас обкарнаю их.

Валя начала грысть ногти.

— Не дури. Возьми ножницы, если уж так хочешь.

Пока Валя орудовала ножницами, Вера смотрела на нее и отчего-то ей становилось жаль сестру.

— Ты надолго, Валя?

— Не знаю. Может, на пять дней, может, останусь надолго.

— Останься. Приходи к нам, когда все девочки будут. Хоть завтра. Я тебя познакомлю. Они обязательно понравятся тебе.

— А я бы смогла с вами?

— С нами?

— Ну да. Я хочу устроиться на работу. Я ведь за этим и ехала сюда.

Валя сама не знала, зачем лгала. Она угадала, чего ждет от нее Вера, и захотела хоть ненадолго оставить у сестры лучшее мнение о себе. Но, начав выдумывать, по привычке сразу вошла в роль и уже сама не отличала, где кончается ложь, где начинается правда. Вот и Вера поверила. Советует сначала поступить в контору — там тоже нужны люди, — в бригаде с непривычки покажется тяжело. Смешная! Самой-то не тяжело. Вот эта Нина — другое дело, видно, что сильная. А Верка? Ведь она же маленькая, хрупкая. И как только я могла забыть о ней, ни разу не вспомнила? На глазах у Вали выступили слезы.

— Нет. Уж если идти работать, то сразу в бригаду. Как ты думаешь: ваши девушки возьмут меня к себе, я подружусь с ними?

— Конечно, Валя! Ведь ты же хорошая. Ты очень хорошая.

Казалось, стена, возникшая между ними там, в Москве, рухнула в один миг. Сестры сидели на кровати обнявшись.

3

Два дня Вера ждала известий от сестры. Оставляла для Вали записку у тети Ули и вторую в комнате на своей постели. Валя не приходила. На третий день Вера выбрала свободное время в обеденный перерыв, забежала на квартиру Карпунина. Дверь открыл сам Сергей Викторович. Он едва узнал Веру, кисло улыбнулся, театрально приложил руки к груди, раскланялся, шаркая войлочными туфлями по полу. Меньше всего Вере хотелось встречаться с ним.

— Я к Вале. — Она хотела шмыгнуть в квартиру мимо Карпунина.

— К Вале? — со смешком переспросил Карпунин и, раскинув руки, загородил проход. — Валя тю-тю!

Вера удивленно посмотрела на него. Сергей Викторович был пьян.

— Валя тю-тю, — повторил он, изображая руками летящий самолет. — В Москву Валя...

— В Москву? Не может этого быть!

— Сергей Викторович никогда не лгал.

Карпунин ударил себя кулаком по груди и неожиданно закашлялся. Кашлял больше минуты, держась рукой за косяк двери. Лицо раскраснелось, глаза выпучились. Наконец он прокашлялся.

— Вот так, — с трудом заговорил он снова. — Имею доказательства. Прошу-с.

Широким жестом пригласил Веру идти за собой. Но она осталась у двери. Карпунин принес бланк телеграммы и, размахивая перед Вериным лицом, говорил:

— Валя тю-тю. Вчера-с. Шустра пташка, но и я не дурак. Вот где она у меня. — Он показал Вере зажатый кулак. — Дал две тысячи — остальные погожу. В ножки поклонится, прилетит назад.

Вера выхватила телеграмму из рук Карпунина и прочитала: «Москву прилетела благополучно. Послезавтра еду дальше. Деньги высылай Кисловодск до востребования. Скучаю целую. Валя».

4

В этот же час в Москве на Курском вокзале ранним утром Валя Глушко с небольшим чемоданом в руке через подземный тоннель поднялась на платформу, где стоял поезд «Москва — Кисловодск». Ее никто не провожал. В купированном вагоне пассажиров было немного. Валя поставила чемодан на нижнюю полку, не раздеваясь, села у окна. На платформе возле освещенного киоска прощались три девушки. Они чему-то смеялись и наперебой говорили. Редкие пассажиры проходили мимо, покупали в киоске бутерброды с икрой, лимонад, вафли и разбегались по своим вагонам. До отхода поезда оставалось около четверти часа. Валя в тревожном раздумье смотрела через окно. Девушки, видимо, замерзли, особенно одна из

них, которая пришла провожать подруг. Она была в легком демисезонном пальтишке и клетчатой косынке. От холода она поеживалась и начинала приплясывать. Изредка она бросала мимолетный взгляд на окошко, за которым сидела Валя. Внимательные глаза ее под ресницами, четко обведенными белым пухом инея, казались веселыми.

«Счастливая ты? — спрашивал ее взгляд у Вали. — В Кисловодск едешь. Там тепло и много солнца, даже теперь, когда в Москве стынут ноги...»

Возможно, она думала совсем о другом, о своем, но Вале казалось, что она думает именно так.

«А разве я в самом деле счастливая?» У Вали было такое чувство, будто она заняла не свое место, у нее каждую минуту могут потребовать билет и высадить из вагона.

Вале вдруг вспомнился незначительный случай.

Прошлым летом она с компанией курортников ходила на прогулку в глубь ущелья по берегу небольшого, но бурного и шумного ручья. Шли неторопливо, гуськом по узкой тропе. Переходя подвесной мостик с канатными перилами, старичок пенсионер, в прошлом школьный учитель, достал из кармана коробок и высыпал спички в воду.

— Каждая из этих спичек может достигнуть моря, — сказал он.

Этот наивный опыт заинтересовал Валю. Два дня спустя она случайно была неподалеку от того места и вспомнила о спичках. Она нашла несколько спичек, которые кружились в небольшой воронке на изгибе ручья. У них уже отстали головки. Должно быть, им суждено сгнить, так и не достигнув моря. А ведь каждая из них могла «достигнуть моря».

Объявили отход поезда. Девушка сняла перчатки и стала прощаться, говорила что-то отъезжающим подругам, смеялась, но Валя не слышала, не могла слышать через стекло — она смотрела на ее руки. Чем-то они походили на Верины. В последние дни Валя все время ловила себя на том, что смотрит каждому на руки, особенно на руки молодых женщин и девушек. Раньше она не замечала чужих рук. Мысленно она спрашивала себя, чем занимаются эти руки, пачкаются ли они в извести или машинном масле, нужно ли их после работы оттирать пемзой? Если Валя думала о ком-нибудь из знакомых, старалась вспомнить, какие у него руки. В памяти всплывало множество различных рук: одни с изящными длинными пальцами (на мизинце большой ноготь) — руки Дода; нервные жилистые руки его отца, сжимающие в кулаке ременную плеть; пухлые, вялые, словно без костей руки Карпунина; веснушчатые, с редкими длинными рыжими волосинками на пальцах, всегда потирающие одна другую — руки Василия Андреевича; но поверх всего, застилая прочие, вспоминались руки сестры с тонкими и такими чуткими пальцами, что по одному движению мизинца, казалось, можно считать ее чувства.

Вот и у этой девчушки тонкие руки. На холоде они сразу покраснели. Она сжала пальцы в детские кулачки и распрямила. Подышала в перчатку и стала натягивать ее на непослушные пальцы. Она снова мельком бросила взгляд на Валю и улыбнулась ей. Подруги стали прогонять ее, должно быть, уговаривали скорее идти в тепло, а не мерзнуть понапрасну. Вот они поднялись в соседний вагон, и Вале не стало их видно.

Девчушка в клетчатой косынке махнула им ладошкой, что-то крикнула и побежала вдоль перрона.

Валя поддавалась внезапному желанию. Схватила чемодан и побежала догонять девушку. Можно еще успеть. Молодая проводница в форменной шинели удивленно посмотрела на Валю, но ничего не сказала. Светлое пальто уже юркнуло в дышащий клубами пара вход тоннеля. Валя бегом пустилась вслед за девушкой. Она догнала ее под землей в светлом длинном коридоре с кафельными стенками. Отдать ей свой билет? И вдруг Валя поняла, как это глупо. Как же это можно так вдруг сесть и поехать в Кисловодск? Может, у девушки дела в Москве? Может, и ее подруги едут вовсе не в Кисловодск. Мало ли куда можно ехать! На миг клетчатая косынка дрогнула, девушка оглянулась. Валя испуганно отпрянула в сторону и побежала назад. Впопыхах вышла не на свою платформу. Нужно было спускаться в тоннель и идти на соседний путь.

«А куда я спешу? Что мне нужно в Кисловодске?» — подумала Валя, не двигаясь с места. Поезд почти неслышно тронулся. Зеленые вагоны со сверкающими прямоугольниками окон, за которыми стояли пассажиры, медленно уплывали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Неуклюжую фигуру с высоким горбом рюкзака за спиной и шахматной доской под мышкой Новоселов заметил, едва вышел в город на привокзальную площадь. В этот раз они приехали с определенной целью: Мише нужно купить ботинки, а Вере лыжный кос-

тюм. Человек с шахматами стоял у автобусной остановки, читал расписание поездов. Щеки его покрывала короткая нестриженная бородка.

— Ленька,— неуверенно позвал Миша, подойдя ближе.

Бородач резко повернулся, тяжелый рюкзак едва не повалил его набок; шахматная доска выползла из-под мышки, но он успел поймать ее за угол свободной рукой.

— Мишка! Вот это да! Да какой дьявол тебя занес сюда?

— Скорей тебя дьявол занес, а я почти здешний. В Майске на стройке.

— А я проездом с практики. Только вот задержался очень. Нагорит от декана. У нас ведь после первого курса полевая практика не обязательна — это я добровольцем подался.

— Каким поездом едешь?

— Не поездом — самолетом. Приезжал за вещами в камеру хранения.

— Мы тебя проводим. Знакомься, Вера. Она из нашей же школы. — Леня смущенно потрогал хилую свою бородку и протянул руку.

— Оброс я ужасно.

— Вам борода к лицу,— постаралась утешить Вера.

— Правда?— воссиял он.— Мишка, идет мне борода?

— Идет, идет, как балерине копыта.

Подошел автобус. Заняли места недалеко от двери. Леня снял рюкзак, бросил его под сидение, небрежно подтолкнув ногою. Глядя на товарища, Миша невольно улыбнулся: в этом непроизвольном движении он сразу узнал прежнего Леньку. В автобусной толчее было не до разговоров, а в аэропорту Леня сразу побежал оформлять билет, сдавать вещи в багаж. Но оказалось, что спешить некуда: вылет самолета по неизвестным причинам откладывался на час. Все трое облегченно вздохнули. Поднялись в ресторан. Пока ждали официантку, Миша писал письмо.

Леня смущался, ерзал на стуле, неодобрительно поглядывая на свое отражение в зеркале. В чинной обстановке ресторана, сверкающего лаком новых буфетов, никелем люстр, накрахмаленными скатертями, мерцающими, словно настоящий хрусталь, рюмками и фужерами на столах, Леня и в самом деле казался странной фигурой. Однако экзотический вид его не привлекал ничьего внимания: в этом зале привыкли видеть и не такое. Вера пыталась рассеять смущение Мишиного друга. Он казался ей немного забавным со своей беспорядочной бородкой, в измятой, хотя и новой спортивной куртке. Вера была в своем любимом ярко-малиновом джемпере, и от этого все вблизи нее, от скатерти и рюмок до крохотных искорок в ее глазах, приобрело тоже радостный малиновый оттенок. Леня смотрел на нее и смущался еще сильнее.

Зато когда выпили шампанского, он раскраснелся, смущение прошло. Он стал попрежнему, как в школьные годы, чуточку хвастлив.

— У нас этого не было,— сказал он, показывая на шампанское,— пили коктейль «Медвежий букет».

— Это еще что за коктейль?

— Спирт, вода, один к одному.

— И ты пил?— усомнился Миша.

— Конечно — я крепкий.

Но Леня хвастал, у него и от шампанского начал заплетаться язык. Он рассказывал, как они месяцами жили безвыездно в тайге, в палатках, вспомнил о каком-то отчаянном путешествии на плоту по горной реке, о том, что научился ездить верхом на олене, видел сохатого, медведя...

— Геологи — народ правильный,— говорил он, вертя между пальцами фужер.— У нас замечательные ребята подобрались: ни одного нытика. Уезжать не хотелось. Осенью убили оленя, пельмени делали, настоящие пельмени — с кулак! Мясорубок нет. Мясо разбивали на валунах у реки.

Миша с невольной завистью смотрел на товарища, на жидкую его бороденку. Именно она сильнее всего поражала. В рыжей Ленькиной бороде воплотились и собственные Мишины детские грезы. Когда-то и он мечтал вот так же возвращаться из самой медвежьей глухомани, с обожженным ветрами и солнцем лицом, обросшим бородой на зависть всему прилизанному цивилизованному миру. Пусть видят: шагает бывалый человек, за плечами у него сотни километров нехоженой тайги, уйма приключений. Пусть сейчас эти мечты кажутся наивными, ребячьими — все равно это были хорошие мечты. И можно простить Леньке небольшое бахвальство, честное слово, он заслужил на него право.

— Мы даже северное сияние видели,— вспомнил Леня.— Невероятное зрелище — все небо пылает! Только... только я сам не видел — проспал. Ребята не смогли добудиться. Но они рассказывали: это потрясающе!

— Эх, ты. «Потрясающе», — передразнил Миша.— Такое проспать.

— Ну что ты придираешься? Человек, наверно, устал,— заступилась Вера.

— Да нет, я всегда крепко сплю, а в палатке особенно. Это, конечно, свинство — проспать северное сияние! Знал бы, так вовсе не ложился в ту ночь.

— Вот бы куда съездить,— сказала Вера.— Я тоже хочу видеть северное сияние.

— А в самом деле, что вы тут окопались. Просидите в этой дыре и света не увидите. В вашем Майске, наверно, и кино, и столовые, и парикмахерские есть?

— Есть.

— Так разве это жизнь? Нормальному человеку нужен спальный мешок и палатка — все остальное от нежного воспитания.

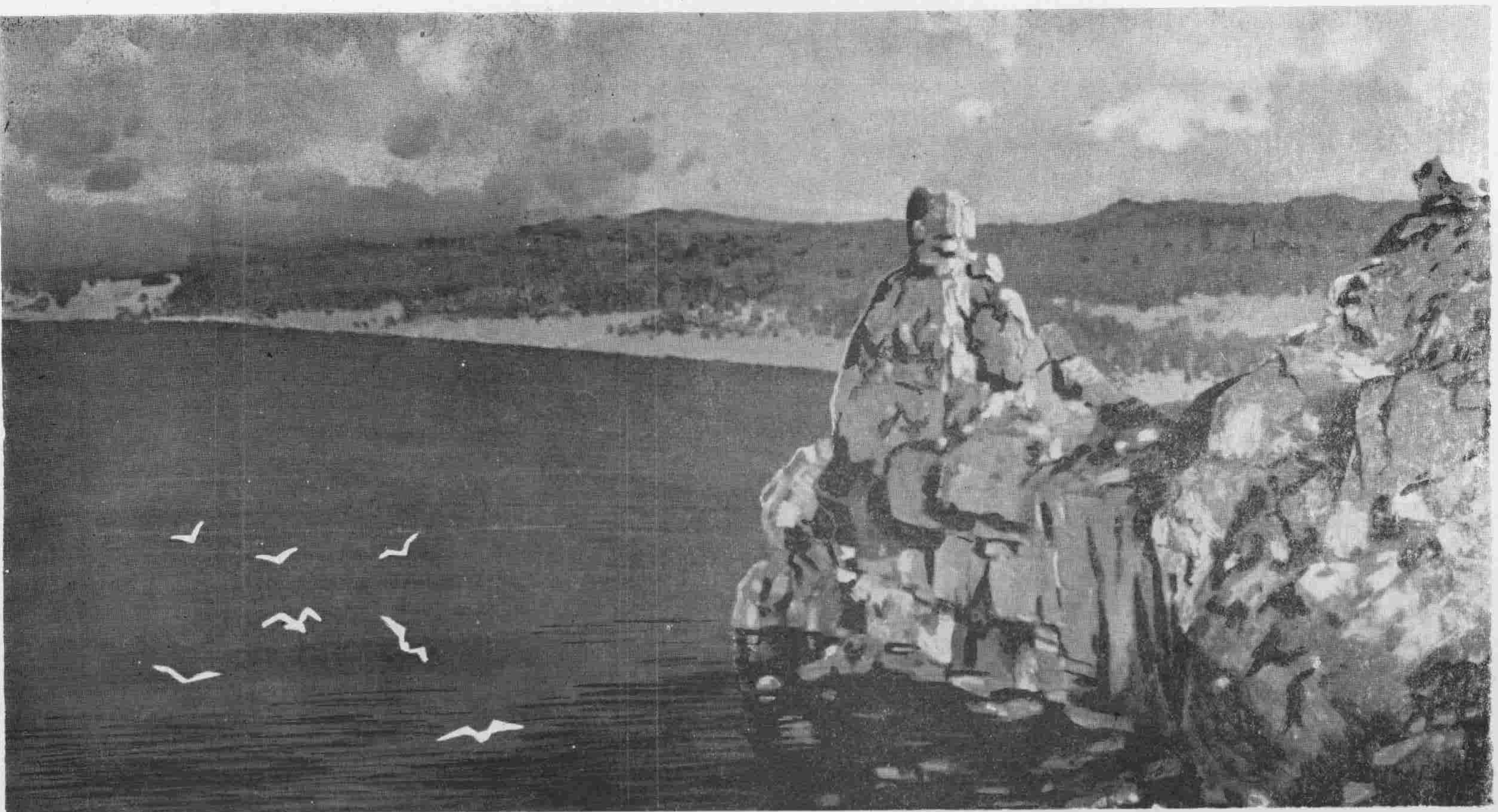
— Да ты совсем спартанцем стал,— заметил Миша.— Но в Москву полетишь все-таки на ТУ в мягком кресле.

По радио объявили посадку.

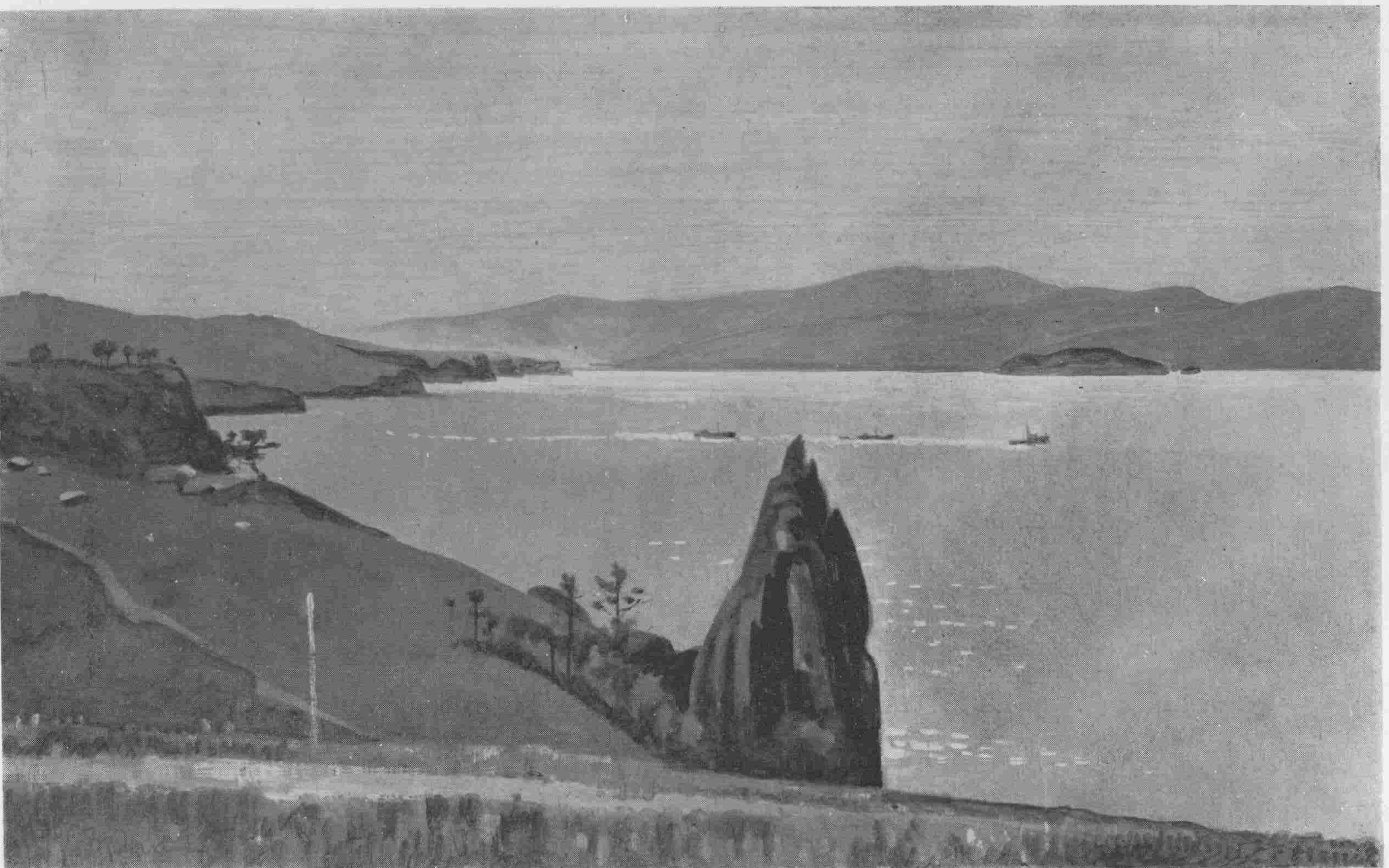
...Потапов со своей рыжей бородкой, с рюкзаком и шахматами был уже в добром десятке километров — только на небе вился облачный след реактивного гиганта,— а Миша и Вера долго еще стояли на месте.

Ленька сейчас ходит по самолету, ищет, с кем бы сразиться в шахматы. Странно, больше года не виделись, а он совсем не изменился — одна бородка. Но она-то как раз меньше всего придает ему солидности. Может быть, это и есть самое лучшее. Мы-то ведь тоже не изменились. Смешно было бы измениться за один год.

По радио объявили посадку на самолеты, улетающие в Ташкент, в Хабаровск, в Пекин и в мало кому известные северные порты. Здесь все казалось доступным и близким.



В. С. Рогаль. **Бухта Одония — Байкал.** Масло.



Е. С. Рогаль. Малое море — Байкал. Масло

СЛОВО ХУДОЖНИКАМ

Вл. Фалинский

В мастерской В. Рогаля

Зайдите в мансарду дома 18 на улице Российской. Вам покажется, что вы попали в выставочный зал.

Но вот мольберты. Их четыре и на всех начатые полотна. Это мастерская заслуженного художника республики Виталия Сергеевича Рогаля.

Рогаль — участник больших смотров советского изобразительного искусства — республиканских и Всесоюзных художественных выставок. Произведения его имеются в музеях Российской Федерации.

В 1941 году Виталий Сергеевич окончил Иркутское художественное училище. Мечтал об Академии художеств. Но академию заменили окопы. Как ни сурова была фронтовая жизнь, молодой художник не расставался с альбомом. Прямо в траншеях он устраивает выставки. Людям нужно было искусство. Оно согревало души, закаляло волю. Помогало воевать. Бойцы узнавали тех, кто отличился... Вот гвардии рядовые А. Березкин, Н. Каргин, А. Кокоурин, старший сержант Дынник. Рядом сапер Плотников. Это он разминировал ночью подступы к вражеским укреплениям.

А о том, что ночью было жарко, рассказывает рисунок «Разрушенный ДОТ противника».

— Славно поработали!

— А вот задание для новой атаки,— шутит кто-то, указывая на рисунок «Немецкие укрепления».

— Сработаем и этот!

Эти небольшие выставки переносились из роты в роту, из окопа в окоп. Лучшие рисунки попадали на армейские и фронтовые выставки военных художников, некоторые приобретены для Центрального музея Советской Армии в Москве.

Боевой путь на западе закончился в Кенигсберге. Затем Восточный фронт, война с Японией, поход через Большой Хинган, освобождение Порт-Артура. Много этюдов и рисунков сделал художник в Порт-Артуре. Здесь в 1945 году была устроена выставка его работ, созданных в военные годы.

После демобилизации В. Рогаль вернулся в Иркутск.

В 1947 году он показал свои фронтовые работы на Всесибирской выставке в Новосибирске, был принят в члены Союза художников. Много и упорно работал художник над новыми произведениями. Он пробовал силы и в бытовом жанре, и в портрете. Лучше удавались пейзажи. Они и принесли первый успех. Картины «Ангара» в 1952 году и «Вечер на Байкале» в 1953 году были приняты на московские выставки.

Великие стройки в Сибири, особенно строительство электростанций Ангарского каскада, помогли художнику увидеть иную Сибирь. Тема строительства Иркутской и Братской ГЭС — новая страница в творчестве художника. В индустриальном пейзаже он по-настоящему нашел себя. Уже нет грусти в картине «Ангара. Первый снег». Ранняя зима. Берег реки в снегу, только стебли травы торчат. Они пересушены морозом до стеклянной хрупкости, кажется, тронь — и рассыплются осколками. Хрустит снег, скрипит уплотненный стужей воздух. Ангара кипит, катит волны наперекор всему...

Первозданную красоту Ангары воспевает художник и в картине «Весна на Ангаре». На пейзаже то место, где позже легла плотина ГЭС и разлилось море Иркутское.

Бурлит могучая река. Но уже работают экскаваторы, ведется отсыпка плотины.

Следующее полотно из этой серии — «Рассвет на Ангаре». Зимнее утро. На первом

плане большой шагающий, за ним — горы гравия. Все еще окутано синей дымкой ночи, но из-за гор розовеет восход. Симфонию нового трудового дня начали лебедки и взлеты стрел экскаваторов.

В котловане строящейся Иркутской ГЭС Рогаль работал с упоением. Почти ежедневно восход солнца заставал его на стройке. Все тут было интересным. И укладка бетона, и отсыпка плотины, и перекличка клаксонов больших МАЗов. Много этюдов написал художник.

В 1957 году Рогаль создал большое полотно «Покорение Ангары» с почти панорамическим показом событий. Момент последнего штурма, когда строители работали по графику с учетом секунд. Рев МАЗов, скрежет экскаваторов, всплески воды. И тут же ярко, по-праздничному одетая толпа народа.

На перекрытие люди пришли как на праздник, оделись в лучшие одежды. Ведь укрощали Ангару. Этой картине о мужестве строителей, их героическом труде выпал особый успех. Она была в экспозициях республиканской, Всесоюзной и заграничных выставок.

Рогаль одним из первых обратился в своем творчестве к новому для Сибири жанру — индустриальному пейзажу. Лейтмотивом лучших его произведений является преобразование Сибири, этого древнего седого края.

Сибирь... Землепроходцы проложили по ней первые дороги. Не было страшнее слова в ту пору, чем «Сибирь». Так повелось со времен Грозного. Все «государевы преступники» несли свои головы или на плаху, или в Сибирь. Мерили под кандальный звон длинные сибирские версты пугачевцы и Радищев, декабристы и Чернышевский. О новой Сибири мечтал в верхоленской тайге и первый русский революционер-марксист Н. Е. Федосеев.

А строить новую Сибирь пришли энтузиасты с комсомольскими сердцами. Пришли из московщины и Орла, из харьковщины и Брянска. О разбуженном к новой жизни крае и рассказывает художник в своих полотнах. «Новая Сибирь»— так назвал он одно из своих полотен, написанное в 1960 г. Электрифицированная транссибирская дорога. Слева, на фоне темного силуэта гор, светлое здание новой станции, у платформы электровозы. В высоком небе — кружева контактной сети. Дорога в новую жизнь... Эту же тему развивает художник и в картине «В глубь тайги». Новое содержание врывается и в полотна чисто пейзажного жанра.

Былинной могутностью веет с картины «Дорога на Байкал» (1959 г.). В праздничном наряде «Золотое Прибайкалье» (1959 г.). Расцветила осень тайгу: вызолотила березу, зажгла кумачом осину, и потянулся пожар по склону. Только вековые кедры чернеют на синеве далеких гор, и как будто слышен их басистый говор: «А мы не боимся, зима нас не разденет. Мы сибирские. Мы вечные».

Пейзажи Рогаля ярки и суровы.

С романтическим настроем написаны картины из Братской серии: «Падунские пороги», «Шумит Падун», «Здесь будет Братская ГЭС». Последняя — одно из лучших пейзажных произведений Рогаля. В картине отчетливо слышится назревающая борьба человека со стихией. Пенит воду Падун; небо насупилось, вьются чайки с криком. А у подножия сурового Пурсея прилепились первые палатки строителей.

В мастерской Рогаля много начатых работ. Среди них новые полотна об Иркутской и Братской ГЭС. Осень 1961 года Виталий Сергеевич провел на северном Байкале. Здесь он написал серию пейзажей «Легенда о Байкале». На вкладках даны две картины из этой серии.

В мастерской Рогаля до десяти начатых полотен, над которыми он работает одновременно.

В его композициях всегда есть элемент фантазии. В «Дороге на Байкале» состояние, колорит — Прибайкальские. Но точно такого места по композиционному рисунку вы не найдете. И оспорить невозможно. То же можно сказать о композиции картины «Панорама Братской ГЭС», над которой сейчас работает Рогаль. Таких гор, как на картине, вы не найдете в районе Братска и Братского моря. В то же время не возникает сомнений в подлинности изображенного. Это и вымысел и в то же время все конкретно и достоверно. Такова сила обобщения. Иногда можно слышать, что произведения Рогаля не колористичны, что живопись его жестка. Верно, в картинах Виталия Сергеевича нет тонкой цветовой гармонии, валера, как, скажем, в пейзажах А. К. Руденко. Рогалю присуще декоративное видение цвета. Живопись его контрастна, пишет он чаще чистыми, открытыми цветами. Его любимые тона сине-фиолетовые и серебристо-серые. И произведения его выделяются на выставках, их не спутаешь с работами других авторов. У художника свой стиль, свое лицо. Есть и вещи, выполненные в тонкой, нежной цветовой гамме, таковы многие байкальские этюды, написанные в прошлом году. Очень интересной обещает быть лирический пейзаж «Байкальские кружева». В нем сочная лазурь байкальских вод просвечивает сквозь кружевное плетение молодой поросли берез.

ПИСЬМА. ДОКУМЕНТЫ

М. К. Азадовский

УЧЕНИЦА ПОЛИНЫ ВИАРДО В СИБИРИ [1]

Осенью 1923 г. я случайно узнал, что одна из преподавательниц местного (Иркутского) музыкального техникума Екатерина Осиповна Репчанская в молодости была ученицей Полины Виардо и что годы ее ученичества и пребывания в Париже относятся ко времени, непосредственно следовавшему за кончиной Тургенева. Разумеется, я немедленно же просил через общих знакомых разрешения посетить ее. Я встретил очень живую и бодрую женщину, на вид гораздо моложе своих лет — очень любезную и приветливую. Она охотно откликнулась на мою просьбу поделиться теми из своих воспоминаний, которые так или иначе касались Тургенева, вернее не самого Тургенева, которого она уже не застала, но живой памяти о нем в доме Виардо. Мы пробеседовали несколько часов, и я ушел, очарованный прелестью ее рассказа и взволнованный вызванными ею из прошлого образами. Тогда же она дала мне слово записать свои воспоминания, связанные с Тургеневым.

Дома я по свежей памяти поспешил схематически записать то, что слышал от своей собеседницы. Я сделал это и потому, что не очень рассчитывал на скорое выполнение — известно, с каким трудом и как редко выполняются такие обещания,— и потому, что поздняя запись и первоначальный рассказ никогда не совпадают, и таким образом какие-нибудь детали могли оказаться упущенными.

К моему удивлению и удовольствию, Екат. Осип. чрезвычайно быстро сдержала свое слово и примерно дней через 7—8 я уже имел в руках небольшую рукопись, озаглавленную «Мои воспоминания о Виардо и ее отношениях к Тургеневу». Но второе мое предположение оказалось правильным, и хотя текст самой Екат. Осип. был гораздо полнее того, что восстановил по ее рассказу я, но все же в моей записи оказались некоторые любопытные детали, которые позже она забыла отметить в своих рукописных воспоминаниях. Таков, напр., рассказ об одной из размолвок Тургенева с Виардо и о создании романса «J'en mourrai». Этот рассказ в ее первоначальной передаче носил более драматический характер и был более полон. (Напр., «Тургенев разрыдался и остался»). Точно также в рукописи опущен ряд деталей и черточек, существенно важных для характеристики самой Виардо: «Бесплатные уроки с Екат. Осип., после того как последнюю обокрали, выговор за участие в концерте русской колонии» и пр. Ввиду этого ниже я привожу как текст самой Е. О. Репчанской, так и свою первоначальную запись.[2]

Мы встречались с Екат. Осип. еще несколько раз. Весной 1924 г.[3] Тургеневским Семинарием был устроен большой публичный вечер, посвященный Тургеневу и озаглавленный устроителями «Тургенев и музыка». Одно из отделений было посвящено специально романсам Виардо. В вечере очень охотно приняла участие и Екат. Осип., хотя она уже давно отказалась от всяких публич-

---

[1] Публикуемые ниже заметки печатаются с рукописи М. К. Азадовского, написанной им в Иркутске в феврале 1928 г., находящейся в его архиве. Подготовка текста и примечаний осуществлена Л. В. Азадовской. Примечания, написанные М. К. Азадовским, отмечены звездочками.

[2] Из настоящей публикации исключена запись рассказа Е. О. Репчанской, сделанная в 1923 г. М. К. Азадовским, ввиду почти полной идентичности содержания, тем более, что самые интересные расхождения оговорены М. К. Азадовским.

[3] 4 июня 1924 г. в помещении педфака состоялся вечер, устроенный «Комиссией по оказанию помощи пролетстуденчеству». Вечер состоял из трех отделений: 1) музыка в творчестве Тургенева, 2) творчество Полины Виардо и 3) Тургенев в музыке. Вступительное слово произнес М. К. Азадовский (см.

ных выступлений. Она исполнила с большим блеском и мастерством этот самый романс «J'en mourrai», который имел такое значение в жизни Тургенева.

Под впечатлением этого вечера она опять вернулась к воспоминаниям молодости и дала слово написать также и воспоминания о своей учительнице и о своей жизни в Париже. Но этого слова она уже не сдержала. И наша беседа с ней и ее публичное выступление были последними. Весной следующего года она отправилась погостить к своей дочери в Верхнеудинск и там скончалась на 62-м году жизни.[1]

Конечно, воспоминания Е. О. Репчанской не являются сколько-нибудь значительным и крупным вкладом в биографию писателя, но они сообщают много любопытных и трогательных мелочей его личной жизни и жизни близких ему лиц — и, думается, они будут вполне уместны в сборнике, посвященном памяти человека[2], который сам так любовно и бережно относился ко всякого рода мелочам, связанным с жизнью и творчеством Тургенева.

Несколько слов о самой Екат. Осип. Репчанской.

Ее девичья фамилия — Коляновская; родилась она в 1864 г. в Кобелянском уезде Полтавской губ., затем училась в Харькове. В 1881 г. окончила Харьковскую женскую гимназию С. Н. Фишер, там же окончила музыкальную школу. Решающее значение в ее жизни имела встреча со знаменитым Тамберликом[3], который посоветовал ей поехать в Париж в школу Виардо.

По возвращении в Россию выступала в концертах в родном ей Харькове и Москве. В Москве принимала участие в симфонических концертах проф. Эрдмансдерфера[4]. Также с большим успехом дебютировала под фамилией С. Bogoria в Италии, на сцене Равенского театра имени Allighieri — в роли Микаэлы («Кармен» Бизе), пела также в Ницце. На русской сцене ей петь не пришлось, т. к. встреча с инженером Репчанским круто изменила ее дальнейшую жизнь. Она вышла за него замуж и, по его настоянию, навсегда покинула сцену. Последние годы занималась преподавательской деятельностью в Полтаве и позже в Иркутске.

Об ее выступлениях в Харькове и Москве (в 90-х гг.) сохранился ряд печатных источников. Рецензент «Южного Края» писал: «...своим голосом, очень звонким лирическим сопрано, певица владела мастерски. У нее прелестное piano, которым она блеснула в Колыбельной песне Чайковского».

Рецензент «Московских Ведомостей» находил, что ее талант близко подходит к таланту знаменитой певицы Ван-Зандт.[5] Об этом свидетельствуют, писал рецензент, «ее голос, как материал, его постановка и школа, блестящая вокализация, легкость и серебристость звука, богатство и разнообразие оттенков, изящество фразировки и темпа, лирическое чувство...».

Иркутск. 20 февр. 1928.

«Власть Труда», № 127 (1362), от 4 июня 1924 г., стр. 3).

Об этом же вечере сохранилось свидетельство в письме А. А. Богдановой (ныне доцент, завед. кафедрой литературы в Новосибирском государственном педагогическом институте) от 24 ноября 1924 г: «...В моей душе, как музыка, звучат Ваши глубокие проникновенные слова о Тургеневе, научившие нас наслаждаться красотою слова. И как венец всего встает в памяти тот Тургеневский вечер, когда я последний раз слушала Вас. Ах, этот вечер, он создал тогда какое-то хрустальное настроение, он весь дышал грацией и изяществом!».

[1] Точную дату смерти Е. О. Репчанской установить не удалось. Но литературно-музыкальный архив ее не погиб, а в 1938 г. был приобретен Государственным Литературным Музеем (Москва). Приводим появившуюся тогда же в печати заметку: «Письма Полины Виардо». Знаменитая певица Полина Виардо была также и музыкальным педагогом. Об этом свидетельствуют 5 неопубликованных писем П. Виардо к ее ученице Е. О. Коляновской, приобретенные на днях Государственным Литературным Музеем. Письма эти на французском языке, датированы 1885—1887 гг. и содержат ряд ценных советов в области вокальной техники. Кроме писем Виардо, в Музей поступило письмо французского композитора Делиба к той же Коляновской. Делиб пишет о постановке «Лакмэ», а также шлет на память своей корреспондентке нотный автограф, являющийся открывком из оперы. В письме Делиба содержится много интересных указаний об исполнении главной роли в опере «Лакмэ» (см. «Советское Искусство», № 128, от 26 сентября 1938 г., стр. 4). Подробное описание фонда Е. О. Репчанской см. Центральный Государственный Литературный Архив СССР. Путеводитель. М., 1951, стр. 422: Коляновская-Богорию Е. О.

[2] Эта публикация готовилась М. К. Азадовским для сборника, посвященного А. Ф. Кони (сконч. 17 сентября 1927 г.), «Памяти Анатолия Федоровича Кони. Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. Л.— М., 1929», но не была включена в издание. А. Ф. Кони (1844—1927) — судебный, общественный и литературный деятель. С 1900 г.— почетный академик. Был в дружеских отношениях с Толстым, Тургеневым, Достоевским, Некрасовым, Гончаровым и др.

[3] Энрико Тамберлик (1820—1889) — певец-тенор. Неоднократно гастролировал в России, последний раз приезжал в 1884 г.

[4] Макс фон Эрдмансдерфер (1848—1905) — дирижер, капельмейстер, композитор; в 1882—1884 гг. руководитель Русского Музыкального Общества в Москве, профессор Московской консерватории.

[5] Мария Ван-Зандт (1861—1919) — оперная певица; в 1885—1895 гг. гастролировала в России (Петербург и Москва).

Е. О. Репчанская

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВИАРДО И ЕЕ ОТНОШЕНИЯХ К ТУРГЕНЕВУ

К сожалению, я не многое могу сообщить о данном вопросе, т. к. приехала в Париж учиться спустя два года[1] после смерти Ивана Сергеевича. Все же воспоминание о нем, как о человеке и писателе, было еще очень свежо в памяти близких ему людей, а также в парижских литературных и художественных кружках.

Сама Виардо избегала говорить с нами о Тургеневе и отделывалась общими фразами. Высокая, стройная, с проницательным взглядом в глубоком трауре, она казалась моложе своих лет[2] и внушала мне, робкой провинциалке, страх. Но, когда я ближе узнала ее, страх мой прошел и я поддалась обаянию ее личности. Однажды после урока она взяла меня за руку и сказала: «Ma petite, я поведу Вас в свое святое святых». Мы вошли с ней в ее уютный кабинет. Там висели три портрета в дорогих, золотых рамах. Портрет Тургенева, старика Виардо[3] и портрет m-me Виардо (в молодости). Какая странная игра случая — эти два человека имели между собой какое-то неуловимое общее сходство. Между ними портрет женщины, скорее некрасивой, с резкими чертами лица, но глаза... Сколько властной страстности таили они в себе; глядя на них, можно было понять, что такая женщина могла захватить всю жизнь человека.

«Вот мой лучший друг, — сказала она, — не в том пошлом значении этого слова, как болтают праздные языки, а в самом благородном и чистом смысле этого слова. Нас связывала любовь к искусству и общая работа в этой области. Мы пережили с ним много незабвенных часов». Вот все, что она мне говорила, больше я ничего от нее не слышала».[4]

Одна моя товарка по классу пения кое-что рассказывала мне о Тургеневе, так как была близка с семьей Виардо и при жизни Тургенева часто бывала в его обществе. Тургенев нежно любил дочерей Виардо, в особенности младшую Жанну, или Диди[5], как он ее называл. В детстве он очень их баловал, за что получал выговор от Виардо. Дети делились с ним своими горестями и радостями, а когда девочки выросли, он знал все их маленькие тайны. Семья Виардо жила в доме Тургенева на улице Друо[6], лето проводила на его даче в Буживале. Как в городе, так и в деревне Тургеневу был отведен самый скромный уголок. Обстановка была незатейливая и даже бедная. Это глубоко возмущало его друзей. Часто они заставали его очень небрежно одетым — не видно было заботливой женской руки.[7]

Тургенев часто сидел без денег и очень смущался, когда его соотечественники приходили к нему за помощью. Все свободное время он проводил в семье Виардо. После обеда садился за обычную партию в шахматы с г-ном Виардо или между ними завязывался оживленный спор на политические или злободневные темы(Виардо был публицист). Когда Тургенев уезжал, больше всех по нем скучал г-н Виардо.

Мне говорили, что Иван Сергеевич любил присутствовать во время уроков m-me Виардо. Он сидел в соседней комнате с книжкой или газетой в руках и, когда ему что-либо особенно нравилось, он не выдерживал и бурно врывался в комнату, говоря: «Как это хорошо, как хорошо. Спойте, прошу еще раз».

Мне часто хотелось спросить m-me Виардо, чей портрет у нее в медальоне, который она носила на груди, но каждый раз язык прилипал к гортани.

---

[1] Е. О. Репчанская приехала в Париж в 1885 г., И. С. Тургенев скончался 22 августа 1883 г.

[2] Полина Виардо (урожд. Гарсиа) родилась в Париже 18 мая 1821 г., умерла в Париже 18 мая 1910 г. В 1841 г. вышла замуж за Луи Виардо, в 1843 г. познакомилась в Петербурге с Тургеневым.

[3] Луи Виардо (1800—1883) — директор парижского «Théâtre italien»; с 1841 г. антрепренер своей жены; историк и критик искусства; переводчик с испанского и русского языков. Умер за 4 месяца до смерти Тургенева.

[4] Сводка всех материалов о взаимоотношениях Тургенева и Виардо сделана в недавней работе И. М. Гревса «История одной любви». И. С. Тургенев и Полина Виардо. М., 1927. Из наиболее ранних работ: Н. Гутьяр. Иван Сергеевич Тургенев и семейство Виардо-Гарсиа. Вестник Европы, 1908, № 8, стр. 417—460 и Всев. Чешихин. Виардо и любовь к ней Тургенева. Русская Музыкальная газета, 1916, №№ 6—25.

[5] Это ошибка Е. О. Репчанской. У Виардо было три дочери: старшая — Луиза (1841—1918), в замужестве Геррит, средняя — любимица Тургенева Клавдия (Диди), в замужестве Шамеро, и младшая — Марианна, в замужестве Дювернуа.

[6] Это ошибка Е. О. Репчанской. Надо — Rue de Douai.

[7] Аналогичные наблюдения сообщают М. Г. Савина, А. Ф. Кони и др. мемуаристы, наблюдавшие Тургенева в этот период.

Виардо была всесторонне образованная женщина, она была прекрасная пианистка (ученица знаменитого Листа)[1], знала много иностранных языков, хорошо читала и писала по-русски. Тургенев ей первой прочитывал свои произведения и часто советовался с ней. Он сочинял или переводил тексты для ее романсов.[2]

Русские в Париже не любили m-me Виардо и говорили, что она эксплуатирует Тургенева и держит вдали от родины из корыстных целей. Я этого не думаю. Конечно, материальная сторона играла некоторую роль, но главное, мне кажется, она боялась потерять власть над великим писателем, т. к. гордилась тем ореолом, которым она была окружена благодаря дружбе с ним.

У Тургенева часто бывали приступы тоски по родине, по русскому лесу и деревне; его тянуло неудержимо в Россию. В минуты хандры m-me Виардо утешала его, говоря, что не стоит тосковать о неблагодарной стране, которая не умела ценить такого художника-писателя. Нельзя сказать, чтобы она очень любила русских, в особенности ее антипатией пользовалась колония русских эмигрантов (душой которых был Лавров).[3] Она называла их «les nigilistes», людьми беспринципными и непригодными ни к чему. Очень ревниво оберегала Ивана Сергеевича от их влияния. Однажды после бурной сцены Тургенев собрался уезжать в Россию. Под влиянием этого Виардо сочинила лучшую свою вещь — романс (Я умру). В нем слышится крик отчаяния и угрозы и в аккомпанементе мастерски передан тихий звон погребальных колоколов.[4]

[1] Ференц Лист (1811—1886) — пианист, композитор, дирижер.

[2] Об оригиналах и переводных текстах для романсов Виардо см. М. Гершензон. Русские Пропилеи. Т. 3. Писания И. С. Тургенева, не включенные в собрание его сочинения. М., 1916, стр. 78—86; 302—308. Там же приведены и тексты. Романс «J'en mourrai» у М. Гершензона отсутствует.

[3] Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — идеолог народничества, революционер, философ, социолог, публицист, критик. С 1870 г. находился в эмиграции.

[4] Приводим полный текст этого романса. У М. К. Азадовского приведены последние 16 строк романса на французском языке. Кому принадлежат слова, установить не удалось. Екат. Осип., основываясь на устной традиции, предполагает авторство самого Тургенева. Имеется как будто и печатное издание этого романса, но мне видеть его не пришлось. У Екат. Осип. была сделанная ею рукописная копия.

В Библиотеке Ленинградской Консерватории нам удалось обнаружить нотную тетрадь из собрания известной певицы Зои Лодий «Стихотворения Гейбеля, Гете, Кольцова, Лермонтова, Морике, Поля, Пушкина, Тургенева, Тюркети, Тютчева и Фета, положенные для пения с аккомпанементом фортепиано Полиною Виардо Гарсиа. Спб., А. Иогансон, 1880. (Народные Тосканские Песни. Canti Popolari Toscani)».

Романс носит название «Morirò», текст дан параллельный — на русском и итальянском языках.

В библиотеке Ленинградского научно-исследовательского института театра, музыки и кинематографии нами была обнаружена другая нотная тетрадь: «Pauline Viardot. Six Mélodies et une Havanaise variéé à 2 voix. Poesies de m. m. Theophile Gautier, xavier de Maistre, Louis Pomey, Henry Charles Read, Armand Silvestre et Victor Wilder. Paris, au Menestrel, Heugel et Fils, s. a.».

Перед нотами название романса: «J'en mourrai! «Morirò». Poésie toscane. № 3. Mezzo-soprano u bariton. Paroles francaises de Victor Wilder. Musique de Pauline Viardot.

Текст дан параллельный — на французском и итальянском языках. Приводим полный текст романса только на русском языке.

Я умру, я умру,
Ты будешь рада!
Я умру, я умру,
Ты будешь рада!
Ты скажешь: Наконец!
Прошла досада!
Ты скажешь: Наконец!
Прошла досада!
Ты звон услышишь
Тихий, погребальный,
То колокольчик прозвенит
Печальный.
Ты ведать будешь.
По мертвому голосят..
Спрячься скорей!
Меня то проносят.
Я умру... я умру,
Меня не станет!
Я умру... я умру,
Мне сердце говорит
И не обманет
Мне сердце говорит
И не обманет.
Но хоть тогда,
Услышав звон унылый,
Приди и помолись
Ты над могилой.
И вспомни, вспомни,
Как вдвоем мы жили.
Вспомни меня
И как мы любили!

Сравнивая эти три перевода, сразу устанавливается различие в их содержании и совершенно свободная интерпретация текста. После того, как стал известен автор французского текста (Vicror van Wilder, 1835—1892, бельгийский поэт и музыкальный критик; в 1860 г. переехал в Париж, где составил себе имя многочисленными французскими переводами романсов и опер. Сотрудник «Ménestrel» в 1871—1884 гг.), а итальянский текст является тосканским фольклором, то встает вопрос, кто же был переводчиком на русский язык? Е. О. Репчанская, «основываясь на устной традиции, предполагает авторство самого Тургенева», и так же общеизвестно, что Тургенев выступал как автор, переводчик и либреттист для Виардо, то естественно предположить, что и данный текст принадлежит Тургеневу.

Еще при жизни Тургенева у m-me Виардо устраивались по «четвергам» музыкально-литературные вечера. В ее салоне можно

было встретить известных музыкантов, художников, артистов и литераторов. Душой этого общества была m-me Виардо и Тургенев. После смерти Тургенева у Виардо собирались уже реже. Там я слышала игру Антона Рубинштейна[1], Гуно[2], Сен-Санса[3], декламацию Рипшена[4] и знаменитого Ренана[5]. Но прежнего оживления не было, Виардо была одинока.

Мне часто приходилось бывать в русском художественном клубе[6] — детище Тургенева. Он основал его вместе со своим другом художником Боголюбовым.[7] Здесь можно было встретить соотечественников, узнать свежие новости, читать русские газеты и новые журналы, послушать музыку, пение, рисовать и даже попить чаю из русского самовара. При клубе библиотека-читальня, устроенная Иваном Сергеевичем, и художественная студия, устроенная Боголюбовым. Здесь все еще как будто бы витает дух писателя. О нем много говорили и часто вспоминали.

Все свое имущество Иван Сергеевич оставил семье Виардо: большое состояние, дом на улице Друо и дачу в Буживале, кроме того, право издания всех своих сочинений. В мою бытность в Париж приехал Анненков[8] для переговоров с m-me Виардо о переуступке права издательства. Она и слышать не хотела об этом, сердилась и нервничала ужасно.[9]

К сожалению, должна ограничиться этими немногими строками, т. к. больше ничего не могу сообщить об этих двух, так загадочно сплетенных, жизнях.

---

[1] Антон Григорьевич Рубинштейн (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, первый директор С.-Петербургской консерватории.

[2] Шарль-Франсуа Гуно (1818—1893) — композитор.

[3] Шарль-Камил Сен-Санс (1835—1921) — композитор, дирижер, органист, пианист.

[4] Жан Ришпен (1849—1926) — поэт, писатель.

[5] Жозеф-Эрнест Ренан (1823—1892) — историк, филолог, семитолог.

[6] Екат. Осип. неточно передает название этого учреждения. Его именование: «Sosieté de Secours mutuels, et de bienfaisance des artistes russes á Paris». Тургенев первое время был в нем секретарем (см. М. П. Алексеев. Материалы к Тургеневской библиографии (1918—1919). Сборник «Тургенев и его время». М., 1923, стр. 323).

[7] Далее Екат. Осип. упоминает в качестве главных деятелей «клуба» художников Боголюбова и Харламова (последний упоминается в моей записи). С обоими этими лицами Тургенев был довольно близок в последние годы. Алексей Петрович Боголюбов (1824—1896), внук А. Н. Радищева, известный художник-академик, маринист, был одним из основателей упомянутого общества. Русское краеведческое литературоведение очень многим обязано Боголюбову: по его инициативе создан музей имени Радищева в Саратове. Алексей Алексеевич Харламов (1842—1922) — академик, участник товарищества передвижных художественных выставок. Ему принадлежит известный портрет Тургенева (в Русском Музее, Ленинград), а также портретов Виардо, считающийся одним из лучших портрет певицы. Тургенев очень ценил работы Харламова и считал его одним из лучших русских художников.

[8] Павел Васильевич Анненков (1812—1887) — писатель, критик, первый пушкинист. Был в дружеских отношениях с Белинским, Герценом, Грановским, Бакуниным, Тургеневым и др.

[9] См. письмо П. В. Анненкова № 157 от июня 1885 г.: «M-me Viardot уже намекала мне о гонораре: это женщина добрая, но и цифровая по преимуществу. Она не позволяет шутить ни с собой, ни с тем, что, по ее мнению, ей следует, но вместе понимает и принимает к сведению соображения ответчика». — «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. III, 1912, стр. 440».

Л. Любимов

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА П. Ф. ПАРНЯКОВА

Всю свою короткую, но славную жизнь отдал борьбе за дело коммунистической партии П. Ф. Парняков (1895—1919 г.) — комиссар Центросибири, секретарь подпольного Сибирского обкома партии, редактировавший в 1918 году газеты «Власть труда» и «Центросибирь».

Журналистская деятельность П. Ф. Парнякова началась гораздо раньше в 1911—1916 гг., когда он был гимназистом, а затем студентом Петроградского университета. Этот период его деятельности довольно слабо отражен в известной нам литературе. Поэтому представляют особый интерес два письма П. Ф. Парнякова, переданные нам для опубликования Александрой Ивановной Шустовой, проживающей ныне в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

А. И. Шустова познакомилась с П. Ф. Парняковым и Ф. М. Лыткиным[1] зимой в 1913 году, когда она училась в частной Иркутской гимназии. К этому времени П. Ф. Парняков руководил социал-демократическим молодежным кружком. Хотя А. И. Шустова не была членом кружка, но ей оказывалось полное

---

[1] Ф. М. Лыткин (1896—1918 гг.) — один из первых поэтов Советской Сибири, комиссар Центросибири и редактор фронтовой газеты «Красноармеец».

доверие, и она выполняла небольшие партийные поручения. Она хранила марксистскую литературу и укрывала шрифт подпольной типографии. В помещении усольской библиотеки благодаря ей несколько раз устраивались нелегальные собрания местных социал-демократов. Позднее, в декабре 1918 г., П. Ф. Парняков укрывался у нее на квартире, пробирался в Омск, где его ждала работа в большевистском подполье.

Упоминаемые письма были написаны П. Ф. Парняковым в первой половине мая 1915 года, когда он отправился в столицу Монголии Ургу для того, чтобы заработать немного денег репетиторством великовозрастных неучей, детей русских купцов и чиновников. Строки первого письма наполнены едким сарказмом по адресу духовного монгольского феодала, который оказался попутчиком П. Ф. Парнякова.

Во втором письме П. Ф. Парняков зло высмеивает распутную паразитическую жизнь многочисленных лам, которые, по его мнению, ничем не отличались от русских монахов. С возмущением пишет он о русских колонизаторах, грабящих местное монгольское население и наживающихся на продаже ненужных товаров, о том, что «русская свинья заведует тюрьмой и застенками». Великолепное описание внешнего вида г. Урги, которое дается в письме, также представляет большой познавательный интерес.

В заключение хочется отметить, что материалы наблюдений из поездок в Монголию в 1915—1916 гг. дали П. Ф. Парнякову возможность позднее, в 1918 г., написать статью «Монголия»[1]. Статья была не только обзором политического положения страны, но и выдвинула целую программу мероприятий по оказанию интернациональной помощи монгольским аратам в их борьбе против местных феодалов и иностранных капиталистов за социалистическое переустройство Монголии.

Ниже публикуется текст второго письма с незначительным сокращением.

---

[1] «Власть труда», № 65, 12 апреля 1918 г.

22 мая 1915 г.

Любезная Александра Ивановна!

Когда я тащился в тарантасе по монгольскому «тракту», я представлял себе город Ургу, как кучу разбросанных в хаотическом беспорядке грязных юрт, но мои ожидания не оправдались: я въехал в настоящий город — понимая, конечно, это слово в русском смысле. Длиннейшая широкая улица, на одной стороне которой расположены монгольские строения — юрты и фанзы, на другой магазины, лавки, постоялки, кабаки и школы. На конце улицы — здание русского консульства и десяток русских домов, в числе которых и дом моего отца.

Если бы не было юрт, фанз и кумирен, то Урга могла бы очень близко «смахивать» на обыкновенный русский уездный городишко с обычной антисанитарностью и мещанщиной последнего. Только обилие монголов и китайцев придают азиатский вид. Ужасная антисанитария и миллионы собак придают ей «национальный» монгольский колорит.

Главная часть населения состоит из Лам-Монголов, живущих в монастырях. Этих лам здесь до 12 тысяч. Они носят красную одежду, обжираются, пьянствуют, развратничают, дебоширят по ночам, устраивают религиозные шествия, воскуряют по утрам какую-то вонь, ездят по куреням за поборами, поддерживают среди богомольцев и «верующих» всякие идиотские предрассудки... ну одним словом ничем не отличаются от наших монахов.

Русские и китайцы занимаются торговлей самых разнообразных товаров, но главным образом торговлей всего того, что совершенно не нужно монголам, как-то: спичечницами, будильниками, картами, электрическими зажигалками, игрушками и т. п. ерундой, за которую они берут самые дьявольские цены. Так, например, за электрическую зажигалку, которую вы даже в Кяхте купите за 1 р. 50 к. они просят 10—15 руб., за баночку варенья (в Иркутске — 50 к.) — 5—8 руб.

Зато водку и вина здесь продают ужасно дешево. Притом вина исключительно заграничные. Я конечно, этим широко пользуюсь и «выпиваю» при всех удобных случаях. Меня научил этому папаша. Он выпивает при следующих случаях: 1) при К. Н. неприятности, 2) при хорошем исходе дела, 3) «с горя», 4) «с радости», 5) «для аппетита», 6) «для сна» 7) «для компании», 8)... и т. д. и т. д.

Русские здесь почти все хорошо «выпивают», но выпивают, конечно, «солидно». Другое дело монгольская знать: богдыхан и министры. Те, если сядут за стол, то надрызга-

ются иной раз так, что их выносят на руках. Богдыхан же, которого м. прочим, монголы считают за божество, почти никогда не бывает трезв. Говорят, что с десяти лет (а сейчас ему 40) он все время находился в состоянии положения риз. Кроме пьянства у монгольского правительства никаких дел нет. За них все делают русские. Русский полковник обучает 400 оборванцев, называемых «монгольским регулярным войском», русские учителя (буряты) заведуют единственной одноклассной школой, русская свинья заведует тюрьмой и застенком и т. д. и т. д.

Как-нибудь я вам напишу про общ.-политический строй Монголии, про здешнюю тюрьму — этот азиатский феномен жестокости, про груды черепов, валяющихся по горам, наконец про мои занятия с здешними «двоечницами» и «двоечниками», сейчас же пожелаю вам пока всего, чего вы себе желаете и не желаете и закончу письмо. С тов. приветом Поль Пар.

P. S. Если встретите в У. Войтинского или Вайнберга[1], то передайте им мою просьбу сообщить мне через вас лично свой адрес, для того, чтобы я мог найти их по приезде в Иркутск».

[1] Войтинский, Вайнберг — ссыльные социал-демократы.

ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОГО СИБИРСКОМУ ПИСАТЕЛЮ В. Я. ЗАЗУБРИНУ

«Я с огромным удовольствием прочел первую часть Вашего романа «Два мира»[1] и очень прошу Вас прислать мне как можно скорее вторую часть хотя бы в рукописи. Пока мною предпринято следующее: во-первых, я напишу рецензию на Ваш роман в журнал «Печать и революция». Во-вторых, я предложил т. Воронскому, редактору журнала «Красная Новь», перепечатать Ваш роман в ближайших трех номерах этого журнала. В-третьих, я сообщил роман, как очень любопытную эпопею, В. И. Ленину, который его прочитал, но мнения его пока не знаю; когда узнаю — напишу вам.

Лично я считаю роман чрезвычайно удавшимся. Какие можно сделать замечания критического характера? — Может быть, роман перегружен ужасами, но, с другой стороны, как не перегрузить его, когда он отражает столь полные ужаса события. Я думаю, что для человека враждебного или кисло равнодушного этот роман все-таки представит собою скорее нечто отталкивающее от революции, но на это не следует обращать внимания, ибо революция должна агитировать не при помощи замаскирования своих событий, не при помощи обертывания их в золотые бумажки. Мы, конечно, имеем полное право говорить всю правду. Вы это и делаете. Для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции, роман будет крепким призывом.

В художественном отношении есть блестящие главы и страницы».

П Р И М Е Ч А Н И Е: Письмо А. В. Луначарского к автору первого советского романа «Два мира» В. Я. Зазубрину было написано, по-видимому, в 1921 г., вскоре после появления романа в печати. «Два мира» впервые изданы были в 1921 г. в Иркутске Пуармом 5 и ВСВО к четвертой годовщине Октября. Писатель предполагал написать продолжение романа. На титульном листе первого, иркутского издания значилось: «Роман в 2 частях. Часть первая». В 1922 г. в журнале «Сибирские огни» появились фрагменты из второй и третьей частей книги. Но вскоре Зазубрин отказался от продолжения «Двух миров».

Оценка книги В. Я. Зазубрина В. И. Лениным дана в предисловии Горького к роману «Два мира».

[1] Владимир Зазубрин. Два мира. Роман. Иркутск, Пуарм 5 и ВСВО.

Публикация и комментарии *В. П. Трушкина*

З. Тагаров

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

(к 90-летию со дня рождения И. В. Бабушкина)

В августе 1910 г. в Париже поселился один из первых русских марксистов, видный ученик и соратник В. И. Ленина, активный участник Читинского вооруженного восстания В. К. Курнатовский. Он добрался до Парижа совершенно больным: годы каторги, ссылки и изгнания сделали свое дело. Здесь состоялась встреча с В. И. Лениным. Необычная товарищеская чуткость В. И. Ленина и Н. К. Крупской глубоко взволновала В. К. Курнатовского, и он не раз говорил об Ильиче: «Зачем он тратит на меня свое время? К чему так заботится обо мне! Ведь я совершенный инвалид и не сегодня-завтра должен умереть...» В те годы Владимир Ильич внимательно расспрашивал Курнатовского о событиях в Сибири, проявляя большой интерес к Читинскому вооруженному восстанию. Когда речь зашла о брошюре участника революционного движения в Чите Браиловского, В. И. Ленин заметил: «Меня так заинтересовал самый рассказ о событиях... Да, факты так интересны, что жаль — они недостаточно полны».[1]

В декабре 1910 г. на страницах «Рабочей газеты» — популярном органе большевиков, издававшемся в Париже, появился некролог «Иван Васильевич Бабушкин». В нем В. И. Ленин писал: «Мы живем в проклятых условиях, когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что сталось с ним: мается ли он где на каторге, погиб ли в какой тюрьме или умер геройской смертью в схватке с врагом. Так было с Иваном Васильевичем, расстрелянным Ранненкампфом. Узнали мы об его смерти лишь совсем недавно».[1]

Мы еще не знаем, от кого узнал В. И. Ленин о гибели И. В. Бабушкина. Но время беседы Курнатовского с Лениным наводит на мысль о том, что именно Виктор Константинович сообщал Ильичу о И. В. Бабушкине. Известно, что Курнатовский выехал из Читы вслед за Бабушкиным и был арестован в ту страшную ночь на 19 января где-то в районе ст. Посольской. Так Курнатовский попал на поезд барона Меллер-Закомельского. Здесь и мог он узнать о расстреле на ст. Мысовой. Ведь в ленинском некрологе имеется такое место: «Об их смерти рассказали солдаты-очевидцы и железнодорожники, бывшие на этом же поезде». Вполне возможно, что через океаны и моря, годы эмиграции в Японии и Австралии Курнатовский донес до Ленина, до рабочего класса России весть о гибели своего друга по Читинскому восстанию, народного героя И. В. Бабушкина.

Революционная биография Ивана Васильевича началась в Петербурге, в колыбели нашей революции, на Семянниковском заводе. Безрадостным и горестным было его детство. Он родился 3(15) января 1873 г. в глухом селе Леденгском, Вологодской губернии, в бедной семье. Отец его был полупролетарием, работал на солеварне и умер,

[1] Ленинский сборник, т. XXV. М., 1934, стр. 300—301.

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 331 (4-е изд.).

когда маленькому Ивану было пять лет. С семи лет И. В. Бабушкин надрывается на непосильной ему крестьянской работе. В десять лет он испытал весь ужас работы мальчиком в мелочной лавке. Затем работает учеником в торпедной мастерской Кронштадтского порта, а летом 1891 г. поступает на Семянниковский завод (Невский механический завод). Здесь И. В. Бабушкин под влиянием революционной деятельности В. И. Ленина становится на путь борьбы за дело рабочего класса.

Осенью 1894 г. И. В. Бабушкин под руководством В. И. Ленина принимает участие в составлении первой в истории рабочего движения в России агитационной листовки к рабочим Семянниковского завода и сам же распространяет эту листовку. Когда в 1895 г. возник ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Бабушкин становится одним из видных его членов. Он ведет революционную работу за Невской заставой, организует рабочие кружки, библиотеки, распространяет листовки, раскрывающие правду о тяжелом положении рабочих и выдвигающие политические требования. В то же время Бабушкин упорно учится, овладевает теорией марксизма в кружках В. И. Ленина. В 1914 г. в статье «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин указывает, что рабочая печать в России возникает с 1895—1896 гг., со времени знаменитых петербургских стачек, со времени начала массового рабочего движения при участии в нем социал-демократии. При этом Ленин подчеркивает, что эта печать не могла существовать без самого активного участия передовых рабочих. В их числе Ильич называет имена петербургского рабочего В. А. Шелгунова и И. В. Бабушкина — «горячего «искровца» (1900—1903) и «большевика (1903—1905)[1].

В 1896 г. И. В. Бабушкин был арестован царским правительством и выслан в Екатеринослав. Здесь он продолжает неутомимую революционную деятельность среди рабочих. Иван Васильевич организует «Союз борьбы» по образцу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», основывает подпольную газету «Южный рабочий». Высоко оценивал В. И. Ленин этот период деятельности И. В. Бабушкина. Он писал: «Десятки и сотни рабочих (подобных покойному Бабушкину в Петербурге) не только слушали лекции в кружках, но сами **вели агитацию** уже в 1894—1895 годах, а затем переносили организации рабочих в другие города (основание екатеринославских организаций высланным из Питера Бабушкиным и т. п.)».[1]

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 226.

И. В. Бабушкин — один из основателей ленинской «Искры», первой общерусской марксистской газеты, сыгравшей выдающуюся роль в истории нашей Коммунистической партии. Почти все корреспонденции из рабочих центров России — Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева проходили через руки Ивана Васильевича. Он поддерживает самую тесную связь между «Искрой» и рабочими. Сам активно сотрудничает в газете. Ведет оживленную переписку с Ильичем.

В ночь на 24 декабря 1901 г. Бабушкин был арестован и вновь очутился в Екатеринославе, в губернской тюрьме. Через полгода Бабушкин удачно бежал из тюрьмы и тайно уехал в Лондон. Здесь он встретился с В. И. Лениным и, по его предложению, написал свои известные «Воспоминания». «Много переговорено было там, много вопросов обсуждено совместно»,— вспоминает Владимир Ильич. С путевкой Ленина И. В. Бабушкин возвращается в Питер, работает петербургским агентом ленинской «Искры», становится членом Петербургского комитета РСДРП, ведет ожесточенную борьбу против «экономистов» и «зубатовцев». В. И. Ленин особо подчеркивал заслугу Бабушкина в борьбе с зубатовщиной. «Когда Зубатов, охранник, устраивал черносотенные рабочие собрания и рабочие общества для ловли революционеров и для борьбы с ними,— пишет В. И. Ленин,— мы посылали на эти собрания и в эти общества членов нашей партии (я лично помню из числа их тов. Бабушкина, выдающегося питерского рабочего, расстрелянного царскими генералами в 1906 году), которые устанавливали связь с массой, изловчались вести свою агитацию и вырывали рабочих из-под влияния зубатовцев».[2]

Царские жандармы вскоре нападают на след И. В. Бабушкина и 20(7) января 1903 г. его арестовывают. Это был третий по счету арест. Он окончился далекой якутской ссылкой.[3] В августе 1903 г. Бабушкин навсегда покинул Питер. Долог и тяжел был путь по этапам и пересыльным тюрьмам до Верхоянска. Царское правительство решило продержать отважного революционера в течение пяти лет на полюсе холода под гласным над-

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 354.

[2] В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 37.

[3] Государственный архив Иркутской области, ф. 25, опись 10, св. 9, д. 199. «О высылке в Восточную Сибирь по политическому делу Бабушкина Ивана Васильевича (18 января 1903 г. — 11 января 1905 г.)».

зором полиции. Не все выдерживали полярные ночи, 60-градусные морозы, одиночество и страшную оторванность от мира, нужду и голод. Ссыльные часто сходили с ума, спивались, кончали самоубийством. Такая участь вполне устраивала самодержавие. Однако ничто не могло сломить воли Бабушкина к жизни и революционной деятельности. И в трудных условиях он продолжал свое марксистское образование, занимался с рабочими — товарищами по ссылке, вел борьбу против произвола самодержавия.

В начале весны 1904 г. политические ссыльные, находившиеся в г. Якутске и ближайших пунктах, организовали под руководством В. К. Курнатовского, А. К. Костюшко и других большевиков вооруженный протест против произвола царских сатрапов. Он вошел в историю как романовский протест и получил большой общественный резонанс в России. Группа политических ссыльных в Верхоянске во главе с И. В. Бабушкиным в знак солидарности с якутскими товарищами послала 23 марта 1904 г. коллективный протест и заявление прокурору якутского окружного суда. В нем говорилось: «Ввиду постоянно повторяющихся фактов насилия над нашими товарищами в тюрьмах, дороге и в местах ссылки, мы, революционеры, сосланные в город Верхоянск, не имея фактической возможности присоединиться к нашим якутским товарищам в их открытой борьбе против диких фактов насилия администрации, особенно участившихся в последнее время, заявляем о своей полной солидарности с товарищами, смело выступившими за наши общие требования, и о своей готовности всегда дать должный отпор на всякое насилие над нами»[1]. Заявление первым подписал И. В. Бабушкин. За ним следует еще 19 подписей.

Наступил незабываемый 1905 г. Революционная буря распахнула двери тюрем и ссылок. 23 октября 1905 г. в Якутске был получен указ об амнистии. Вскоре И. В. Бабушкин с другими верхоянцами приехал в Якутск. Здесь собралось свыше 100 политссыльных, все они рвались в Россию, в рабочие районы, где разгоралась борьба против самодержавия. Но местная администрация не торопилась их отправлять. Тогда 5 ноября 1905 г. бывшие ссыльные явились к губернатору и решительно потребовали ускорить их выезд. Это возымело свое действие. Политические ссыльные стали выезжать из Якутска партиями в 4—6 человек[1]. С одной из партий выехал и И. В. Бабушкин. «И в Сибири в это время кипела борьба, и там нужны были такие люди, как Бабушкин»,— писал В. И. Ленин.

[1] Документы о революционных событиях 1905—1907 гг. в Якутске. Якутск, 1957, стр. 38.

Поэтому, приехав в Иркутск в конце ноября или в начале декабря 1905 г., Бабушкин включается в революционную работу. Он входит в состав Иркутского комитета РСДРП и участвует в организации вооруженного восстания против самодержавия. Еще не разысканы документы, подробно рассказывающие о кипучей деятельности Бабушкина в Иркутске. Но дошедшие до нас отрывочные сведения говорят о выдающейся роли И. В. Бабушкина в деле революционной мобилизации сибирских трудящихся на вооруженное восстание.

В дни бурных революционных событий иркутская охранка собирала сведения о большевиках, исподтишка готовилась к расправе над ними. Так появился «Список известных иркутскому охранному отделению лиц, находившихся, по сведениям, в г. Чите и других местностях Забайкальской области». В нем под пунктом № 4 записано: «Бабушкин — рабочий (по сведениям, находится в Чите, вращается среди рабочих масс, намерен возвратиться в Иркутск)»[2]. Да, агенты охранки не ошиблись.

В декабре 1905 г. по заданию Иркутского комитета РСДРП И. В. Бабушкин выезжает в Читу для установления тесной связи с читинскими большевиками и организации отправки оружия для иркутских рабочих. Здесь он активно включается в работу Читинского комитета РСДРП, показывает себя опытным организатором масс, пламенным оратором и пропагандистом. Это был период наибольшего подъема революционной борьбы читинского пролетариата. Эту борьбу возглавили ученики В. И. Ленина — И. В. Бабушкин, В. К. Курнатовский и другие.

В ноябре в Чите под руководством большевиков был образован Совет солдатских и казачьих депутатов, частично захвативший власть в городе в свои руки. Рабочие Забайкальской железной дороги образовали Совет рабочих депутатов, носивший название «Смешанный комитет рабочих и служащих железной дороги». Эти Советы явились органами вооруженного восстания. На всех предприятиях города и на железной дороге был введен революционным путем восьмичасовой рабочий день. Начала выходить с участием И. В. Ба-

[1] ГАИО, ф. 245, оп. I, д. 323, л. 4.

[2] Карательная экспедиция в Сибири в 1905—1906 гг. Подготовил к печати. В. Максаков. М.— Л., 1932, стр. 239.

бушкина газета «Забайкальский рабочий»— боевой орган читинских большевиков.

Социал-демократам и большевикам приходилось в период Читинского вооруженного восстания защищать чистоту своего учения от нападок меньшевиков и эсеров. Жаркие споры разгорались вокруг важнейшего вопроса первой русской революции — аграрного. Так было и 18 декабря 1905 г. в зале общественного собрания, где часто устраивались политические диспуты.

Обсуждение аграрного вопроса проходило очень бурно. Однако председатель, враждебно относившийся к борьбе рабочих, закрыл собрание и не дал до конца выслушать ораторов социал-демократов. «Забайкальский рабочий» по конспиративным соображениям не назвал фамилии социал-демократов, выступавших на этом собрании. А вот газета «Забайкалье», выходившая тогда в Чите, сообщает следующее: «После чего возражал г. Бабушкин, защищавший теоретическую и политическую программу социал-демократов и опровергавший в соответственных пунктах программу социалистов-революционеров» [1]. Это он, И. В. Бабушкин, спокойно и убедительно, без лишних фраз разоблачал мелкобуржуазную сущность идеологии эсеров. В те дни очень нужны были политически закаленные и страстные ораторы-большевики. И не случайно в письме члена Читинской организации РСДРП в Иркутск особо отмечается: «Из Иркутска приехал еще рабочий Бабушкин — тоже говорит на митингах» [2].

И. В. Бабушкин уделял большое внимание профсоюзному движению. Как свидетельствует активный участник революционных боев 1905 г. в Забайкалье М. К. Ветошкин, И. В. Бабушкин вместе с В. К. Курнатовским участвовал в работе учредительного съезда профсоюза Забайкальской железной дороги, который проходил в Чите с 3 по 6 января 1906 г. [3] Представители Читинского комитета РСДРП И. В. Бабушкин, В. К. Курнатовский и другие показали на съезде, что профсоюзы являются не только средством защиты цеховых интересов рабочих, но и массовым орудием воспитания их классового самосознания, что профсоюзы должны оказать партии огромную помощь в революционной борьбе. На съезде была принята замечательная резолюция, свидетельствующая о политической зрелости забайкальских рабочих. В ней говорилось: «Съезд профессионального союза рабочих заявляет, что при политических выступлениях он будет идти под знаменем Российской социал-демократической рабочей партии как единственной выразительницы интересов рабочего класса».[1]

Тем временем положение в Иркутске было близким к вооруженному восстанию. Вслед за Бабушкиным едет за оружием в Читу железнодорожник Минак [2]. На ст. Иркутск рабочие насильно захватывают оружие на материальном складе [3]. Иркутский комитет РСДРП в октябре-ноябре 1905 г. израсходовал на приобретение оружия около 2700 рублей. Местная администрация и полиция чувствовали себя неуверенно, власть на железной дороге оказалась фактически в руках рабочих и служащих. В конце 1905 г., как свидетельствует участник революции в Сибири Н. Н. Кудрин [4], И. В. Бабушкин и В. К. Курнатовский приняли решение вернуться в Иркутск для подготовки восстания в районе Иркутска и Черемхово. События заставляли торопиться. В ночь под новый 1906 г. был арестован весь актив иркутских революционных сил. С запада и востока двигались генералы-каратели.

И. В. Бабушкин выехал из Читы в Иркутск с транспортом оружия в двух вагонах. Один из вагонов был отцеплен, и оружие раздали рабочим на ст. Мысовая. Однако Бабушкину не удалось доехать до Иркутска: на ст. Выдрино он был схвачен карателями из поезда Меллер-Закомельского.

С поразительной звериной злобой, по-каннибальски была решена судьба И. В. Бабушкина и его товарищей — рабочего депо Слюдянка большевика Бялых, телеграфистов Савина, Ключникова, Ермолаева. Фамилия шестого товарища осталась неизвестной. Над ними не был устроен суд, их даже и не допрашивали. Один из приближенных барона Меллер-Закомельского поручик Евецкий с циничным спокойствием рассказывает: «Возник вопрос, что делать с арестованными. Барон решил: «Ну что нам с ними возиться? Сдать их к черту жандармам». Разговор происходил за обедом и, услыхав это решение Меллера, Марцинкевич просит разрешения барона доложить ему об одном арестованном. Рекомендует его завзятым революционером, чуть ли не устроившим всю российскую революцию, отказав-

---

[1] «Забайкалье», 22 дек., 1905 г., № 261.

[2] ГАИО, ф. 245, оп. I, д. 1414, л. 129.

[3] М. К. Ветошкин. «Забайкальские большевики и читинское вооруженное восстание 1905—1906 гг. Чита, 1949, стр. 167.

[1] «Забайкальский рабочий», 1905—1906 гг., стр. 140.

[2] «Сибирские огни», № 6, 1935.

[3] ГАИО, ф. 245, д. 1395, л. 289.

[4] Виктор Константинович Курнатовский. Биографический очерк составила Е. Окулова. М., стр. 147.

шимся передать высочайшую телеграмму и силою заставлявшим делать то же других.

— Ну что ж? Так расстреляем его!— говорит спокойно Меллер, попыхивая сигарой и отхлебывая Марго. Все молчат. Марцинкевич докладывает еще о двух.

— Ну трех расстреляем,— так же невозмутимо говорит барон. Вмешивается Ковалинский и докладывает еще о двух революционерах.

— И их расстрелять» [1]. Так 31 (18) января 1906 г. царский палач вынес И. В. Бабушкину смертный приговор на ст. Мысовая.

Ночь выдалась морозная. Слабый огонек керосинового фонаря едва освещает маленькую площадку. В глаза врагам смотрят шесть революционеров. Среди них стоит в черном полушубке и И. В. Бабушкин. Они не просят пощады у палачей. Раздается недружный залп, пьяные окрики, еще залп. Расстрел длился четверть часа...

Так оборвалась жизнь замечательного революционера-ленинца, неутомимого борца за дело рабочего класса.

Революционеры были похоронены недалеко от берега Байкала. В 1906 г. кочегар Лукьянов совместно с двумя деповскими слесарями поставил на могиле героев столб. На братской могиле Бабушкина и его товарищей происходили нелегальные собрания мысовских железнодорожников.

«Бабушкин пал жертвой зверской расправы царского опричника,— писал В. И. Ленин,— но, умирая, он знал, что дело, которому он отдал всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие товарищи рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не победят...» [2]

В. И. Ленин очень высоко оценивал революционную деятельность И. В. Бабушкина и назвал его народным героем. Людям, подобным Бабушкину, Ильич дал замечательную характеристику: «Это — люди, которые не год и не два, а целые 10 лет перед революцией посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Это — люди, которые не растратили себя на бесполезные террористические предприятия одиночек, а действовали упорно, неуклонно среди пролетарских масс, помогая развитию их сознания, их организации, их революционной самодеятельности. Это — люди, которые встали во главе вооруженной массовой борьбы против царского самодержавия, когда кризис наступил, когда революция разразилась, когда миллионы и миллионы пришли в движение. Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин.

Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации» [1].

Гениальное предвидение великого Ленина сбылось. Дело, за которое И. В. Бабушкин отдал свою прекрасную жизнь, восторжествовало.

Сибиряки свято чтут память выдающегося революционера-ленинца. В Верхоянске в 1951 г. был сооружен памятник-монумент, на котором выгравированы ленинские слова о революционной деятельности И. В. Бабушкина. В Иркутске, Чите, Улан-Удэ центральные улицы носят имя Ивана Васильевича. На берегу Байкала, там, где погиб народный герой, стоит юный город Бабушкин. Жители города, железнодорожники ст. Мысовой, чтят память неутомимого борца за дело рабочего класса.

Образ И. В. Бабушкина нашел яркое отражение в сибирской литературе. Бурятский драматург Д. Батожабай написал драму «Барометр показывает бурю». Пьеса с успехом шла на сценах театров страны.

Надолго запоминаются волнующие строки из поэмы Н. Молчанова-Сибирского «Народный герой».

Поэт пишет:

Стою у могилы героя.
Доносится рокот прибоя...
По небу молнии чертят
Мгновенный след огневой.
Лежит, не подвластный смерти,
В граните народный герой,
Не вянут цветы на могиле
Листва не желтеет на ней...
Родной, в нашей крепнущей силе
Величие жизни твоей.

Кипучая, славная жизнь и деятельность И. В. Бабушкина — пример беззаветного служения делу рабочего класса, образец жизни и борьбы для строителей коммунистического общества.

---

[1] Карательные экспедиции в Сибири в 1905—1906 гг. Документы и материалы. Подготовил к печати В. Максаков. М.— Л., 1932, стр. 164.

[2] В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 332—333.

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 334.

ДАТЫ. ЮБИЛЕИ

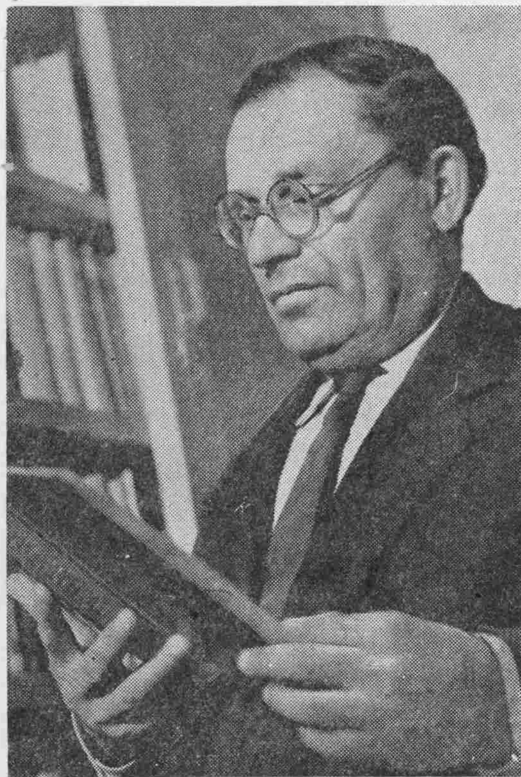
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

(к шестидесятилетию Г. Ф. Кунгурова)

Хорошо и просто назвал свою последнюю книгу писатель — «Так велит сердце». Это живой рассказ о молодых людях наших дней, первых их самостоятельных и совсем не легких шагах в жизни, призвании и творчестве, огорчениях и дерзаниях. Властный голос сердца помогает Тоне Карцевой, героине повести Кунгурова, побороть и растерянность, и горечь попранного только что пробудившегося большого чувства к недостойному такого чувства человеку, и робость перед неизведанным, ожидающим ее в таежной глухомани, далеком северном поселке, куда добровольно едет она, чтобы учить ребятишек.

По зову сердца другой его герой Ерофей Сабуров из повести «Албазинская крепость» отправляется с отрядом смельчаков на исследование неведомых земель и доходит до Амура, строит там казачью крепость и распахивает девственные приамурские земли. Горячее сердце бьется и в груди Наташи Брусковой, человека трудной судьбы, одержимого заветной мечтой украсить цветами сибирские города, сделать жизнь человека красивой и радостной.

Так, от пытливого и отважного русского землепроходца XVII столетия Ерофея Сабурова до наших современников — одаренного молодого ученого Наташи Брусковой и скромной сельской учительницы Тони Карцевой, до искусного умельца, вдохновенного в своем мастерстве художника монгола Чагдара писатель настойчиво, вновь и вновь возвращаясь к излюбленным мотивам, стремится выявить это драгоценное человеческое начало в характере своих героев: смелый поиск, горение беспокойного сердца, согретого любовью к человеку и родине.



И право же, задумываясь над судьбами и характерами целой вереницы персонажей, вызванных к жизни воображением и трудом художника, мы невольно обращаемся к личности самого автора и творца этих по-своему неповторимых человеческих образов и характеров, чем-то обязательно обогативших нас, приоткрывших нам какой-то новый, незнакомый доселе уголок жизни. В самом деле, как бы ни был писатель объективен в сво-

ем творчестве, как бы он ни старался скрыться за своими персонажами, его авторское «я», его кредо и мир художника, пристрастия и антипатии, его жизненная философия обязательно прозвучат в произведении, ибо в любом из героев его есть частичка писательского сердца.

Все многообразное и многогранное творчество Гавриила Филипповича Кунгурова, исторического романиста и бытописателя современности, публициста и очеркиста, критика и исследователя литературы, этнографа и фольклориста, педагога и общественного деятеля, в конечном итоге отражает разносторонность его интересов как человека и художника, неугомонную пытливость мысли и сердца беспокойной писательской натуры.

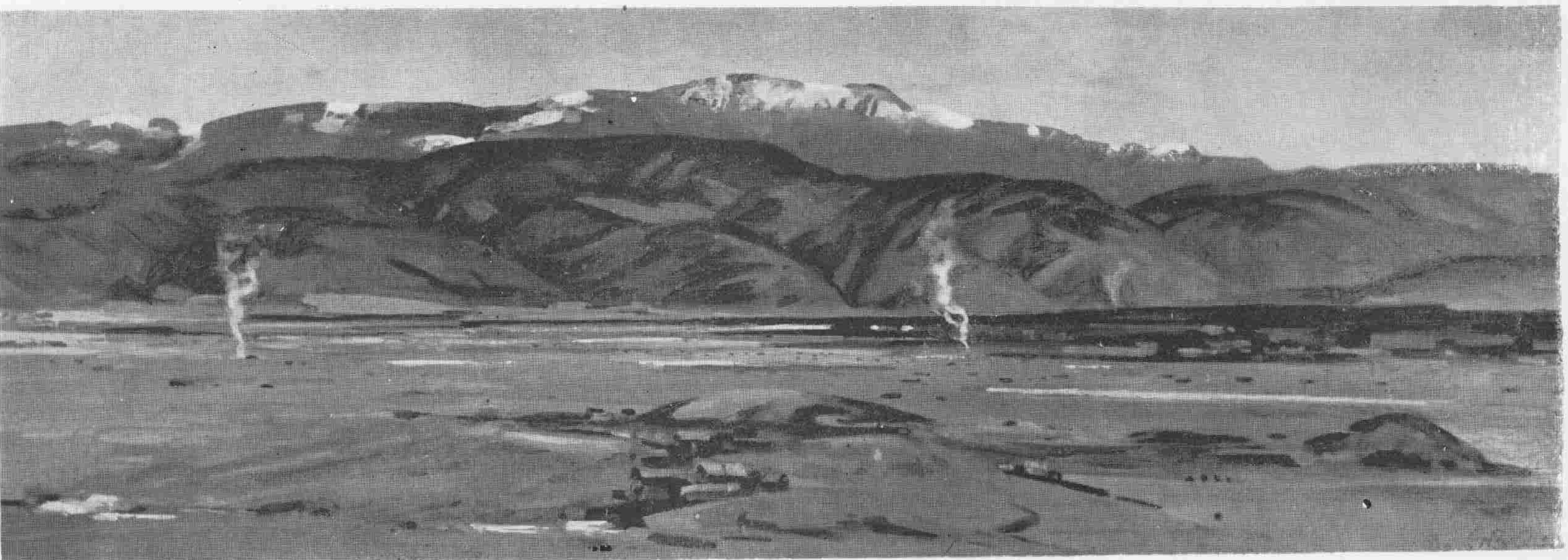
О чем и о ком только не писал и не пишет он в своих очерках, статьях, книгах! Иркутск семнадцатого века и Иркутск современный, история монгольской революции и современная Монголия, седой былинный Байкал и его исследователи, сады Восточной Сибири и проблема разведения зеркального карпа, сказки сибирских народностей — эвенков, ненцев, бурят, якутов, культура и писатели старой, да и новой Сибири, публицистические выступления по животрепещущим проблемам современной литературы, долге и призвании художника в наши дни — все это в разное время и по-разному привлекало его внимание, было предметом взволнованных выступлений в печати. А кроме того, многолетняя, изо дня в день, педагогическая работа среди студенчества, многочисленные представительства во всевозможных комитетах, обществах, пленумах, президиумах, собраниях, заседаниях и пр. Писатель возглавляет кафедру литературы Иркутского педагогического института, является ответственным секретарем Иркутского отделения Союза писателей РСФСР, членом комитета в защиту мира, председателем иркутского отделения общества китайско-советской дружбы, членом Облисполкома, входит в редколлегию альманаха «Ангара». И так всегда, на протяжении многих, многих лет.

Казалось бы, при такой перенасыщенной общественно-политической деятельности трудно выкроить время для спокойной творческой работы, для вынашивания и обдумывания заветных писательских замыслов. Вероятно, трудно. Однако гражданская активность писателя имеет и свои преимущества. Она помогает ему острее чувствовать пульс времени, зорче и проникновеннее делает его художническое зрение. Сказывается здесь, несомненно, и незаурядная работоспособность, та ставшая второй натурой привычка и любовь к труду, которая вырабатывалась у него чуть ли не с отроческих лет.

Г. Ф. Кунгуров, родившийся в Забайкалье, на станции Сретенск, в семье железнодорожного рабочего, еще в юности хорошо познал сам процесс труда, сменив немало профессий. Был он телеграфистом и музыкантом, художником и учителем. В годы гражданской войны он красногвардейцем исколесил почти весь Дальний Восток. Позднее он много сил и времени отдал изучению быта и культуры народов Севера. Еще будучи студентом Иркутского университета, Кунгуров опубликовал в 1925 году в студенческом сборнике свою первую работу по этнографии северных народностей. Эта ранняя работа надолго определила круг его научных и педагогических интересов. Организация первых школ на Севере, создание алфавита, принципы и методика преподавания — всем этим будущий писатель занимался вдумчиво и подолгу. В 1934 году он выпускает отдельной книгой большую работу, посвященную вопросам политехнизации в школах Крайнего Севера.

Многолетние увлечения жизнью, бытом, устной поэтической культурой северных народностей, особенно бурят и эвенков, проявились не только в собирании и обработке народных сказок, но и надолго предопределили направленность творческих устремлений писателя. Уже в первом своем художественном произведении, повести «Топка», изданной в 1935 году, Кунгурову удалось передать национальный колорит, своеобразие миросозерцания, мыслей и чувств эвенков. Рассказывая в этой небольшой повести о судьбе эвенкийского мальчика Топки, писатель развернул живые картины жизни маленького народа, затерянного в пустынной тундре. Без нажима и утрировки, с соблюдением художественной и жизненной правды, не разрушая естественности повествования, он рассказал о тех поистине огромных изменениях, которые внесла Советская власть в существование этих первобытных народностей, простодушных и наивных, не тронутых цивилизацией, истинных детей природы.

Как известно, тридцатые годы были годами бурного социалистического преобразования страны. Этот процесс захватил и далекие окраины, где обитали лишенные царизмом своей истории вымирающие малые народности. Разительные перемены, которые нес с собой социализм, особенно заметно сказались на судьбе именно этих маленьких народов, в прошлом обреченных на гибель. Вполне понятно поэтому и то пристальное



В. С. Рогаль. Богатая степь (Тункинская долина). Масло.



В. С. Рогаль. Вглубь тайги. Масло.

внимание, с каким отнеслись к этой новой в литературе теме многие художники слова того времени. Именно в те годы создал свой роман об алтайцах «Великое кочевье» А. Коптелов. Другой сибиряк красноярец Михаил Ошаров написал повесть об эвенках «Большой аргиш», созданию которой так же, как и в творчестве Кунгурова, предшествовало собирание сказок народов Севера, заинтересовавших в свое время Горького. О судьбе северных малых народностей писали в те годы Ис. Гольдберг и П. Петров, Тихон Семушкин вынашивал замысел своей «Чукотки».

Как видно, первая повесть Кунгурова отвечала интересам времени и вносила свою лепту в разработку и освещение чрезвычайно актуально тогда звучавшей темы, темы только-только что начинавшей завоевывать права гражданства в литературе.

Две последующие свои книги, повести «Артамошка Лузин» и «Албазинская крепость» (в первых изданиях она названа «Путешествием в Китай»), писатель построил на материале далекого прошлого своей родины. Очевидно, и в данном случае обращение к истории России XVII столетия не было случайной прихотью художника. Не следует забывать, что эти произведения создавались в самый канун войны, когда в воздухе начинало уже пахнуть порохом. Литераторы, большие и малые, обратились к художественному познанию и переосмыслению важнейших исторических этапов в многовековых судьбах своего народа. В это время и в этих условиях история открыто и прямо вставала на службу современности.

Кунгуров в своих повестях, построенных на хорошем знании архивных материалов, рисует картины далекого прошлого. Он создает яркие, врезающиеся надолго в память образы отважных и вольнолюбивых русских землепроходцев, простого русского люда, который приумножал просторы родной земли, боролся против воевод и иноземных нашествий.

С большой симпатией и любовью пишет автор об исторически сложившейся дружбе русских и эвенков, русских и бурят.

Исторические повести Кунгурова отличает и еще одно драгоценное качество — занимательность повествования, искусство развертывания действия, хорошее чувство времени, языка и самой атмосферы изображаемой эпохи.

В годы Отечественной войны писатель публикует целую серию очерков и рассказов о работниках далекого тыла — сибирских рабочих, колхозниках, охотниках, выезжает с группой земляков на фронт, чтобы вручить Советской Армии подарки сибиряков.

После войны он создает повесть «Свет не погас», посвященную трудной судьбе человека, потерявшего на фронте зрение. В это же время выходит из печати и его «Золотая степь», книга рассказов о людях Монголии, рассказов живописных и сочных, хорошо принятых читателем. «Золотая степь» выдержала немало изданий у нас и за рубежом.

Около десяти лет трудился писатель над своим романом «Наташа Брускова». Это широкое полотно о людях наших дней, молодых ученых-энтузиастах. Пафос книги в утверждении красоты советского человека, богатства его нравственного облика, смелости научного поиска и дерзаний, направленных на то, чтобы украсить нашу жизнь, сделать ее радостной и яркой.

Так, не зная душевной усталости, пером художника и словом публициста и общественника служит родному народу сибирский литератор и ученый Гавриил Филиппович Кунгуров, встречающий свое шестидесятилетие в расцвете сил и творчества.

Так и впредь держать, наш дорогой, неутомимый и беспокойный Гавриил Филиппович!

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Абрамович

ГЕРОИ СИБИРСКОЙ ЗАКАЛКИ

В 1959 году вышел в свет первый роман Н. Чаусова «Далекие рейсы». Он привлек к себе внимание читателей очень своеобразной и интересной трактовкой темы. Большое произведение молодого по опыту писателя не было лишено известных просчетов, но каждому, кто его внимательно читал, бросалось в глаза: автор хорошо знает то, о чем пишет. Центральная сюжетная линия, раскрытая на основе реальных героических дел сибиряков, построивших ледяную дорогу на Лене для братской помощи народу Якутии, объединила вокруг себя немало живо выписанных персонажей.

Новый роман Н. Чаусова [1] издан как самостоятельное произведение, но он бесспорно является продолжением предыдущего не только потому, что на его страницы «переселены» герои, с которыми читатель познакомился ранее, но и потому, что дальнейшее развитие характеров этих героев происходит на основе тех черт и свойств, которые были показаны в романе «Далекие рейсы».

Вот почему нужно сразу же дать ответ на такой важный вопрос: является ли новое произведение Н. Чаусова шагом вперед, обогащает ли оно наше представление о героях, стоящих в центре его внимания, о тех явлениях действительности, которые воспроизведены в новом произведении? Ответ может быть только положительным, хотя и в «Сибиряках» есть слабости и недочеты, характерные для «Далеких рейсов», а некоторые из них в условиях, когда писателю пришлось развязывать все сюжетные узлы, завершать характеристики всех персонажей, даже усилились.

Прежде всего роман «Сибиряки» более широк по своему идейному замыслу. К этому обязывали автора новые исторические события, на фоне которых развертывается действие произведения — Великая Отечественная война. Заранее можно сказать, что эпизоды, изображающие непосредственно фронтовые дела, менее удались Н. Чаусову, да они и не занимают решающего места в «Сибиряках». Его, видимо, более интересовали события, развертывавшиеся вдали от фронта и прежде всего в Сибири. Вот почему в романе развивается очень острая, далеко еще не исчерпанная советской литературой тема великого политического и трудового подъема людей, считающих свое дело столь же важным для судеб советской страны, как и непосредственное участие в боях.

Идейно-художественная позиция писателя является совершенно верной. Н. Чаусов создает в своем романе очень смелую в идейном и, следовательно, сюжетном плане ситуацию. Неудовлетворенный своей работой в тылу, Евгений Павлович Житов просится на фронт, полагая, что в этом и состоит высший акт геройства в военное время. Парторг Танхаев в присутствии начальника Северотранса Позднякова и секретаря райкома партии Теплова с гневом обрушивается на Житова: «— Сказка о белом бычке!.. Так можно до сумасшествия довести! Так можно до белого каления довести кого хочешь!» И Теплову: «— Вот полюбуйся, какие у нас еще есть комсомольцы!» И снова Житову: «— Да вы знаете, как это называется, дорогой? Ведь это дезертирство, дорогой мой! Дезертирство!»

На первый взгляд такая ситуация может показаться очень странной: человек дезертирует из тыла... на фронт! Но если пристально

---

[1] Н. Чаусов. «Сибиряки». Роман. Иркутское книжное издательства, 1962, стр. 426.

присмотреться к тому, что и как, в каких именно условиях действуют герои романа, еще раз подтверждается неоспоримое положение: в современной войне действительно очень условно деление на фронт и тыл. Только общие всенародные усилия могли привести и привели нас к победе, а общие лишения и невзгоды еще прочнее спаяли людей всех наций страны в могучий коллектив, с неимоверной быстротой подвинувший нас в послевоенные годы к преддверию коммунизма.

Однако выдвинуть тот или иной правильный тезис еще недостаточно. Перед нами писатель, и очень важно поэтому выяснить, какое художественное претворение нашла его идея.

Роман «Сибиряки» выгодно отличается от романа «Далекие рейсы» картинами сибирской природы, которых здесь и больше, и которые здесь гораздо ярче. Даже открывается новый роман писателя очень точной и живописной картиной «золотой» иркутской осени. Но нам сейчас важнее обратить внимание читателей на пейзаж, дающий представление о суровой и очень трудной военной поре. А он, этот пейзаж, есть у Чаусова, пейзаж, как бы оттеняющий внешне простые и обыкновенные, но в действительности подлинно героические дела сибиряков:

«Темень да тишь в поселке. Лишь редко-редко где выплеснется свет из неплотного ставня, из-под угла заваленной тесовой крыши. Вывернется из-за горы и, ослепив, прошумит Качугом иркутская машина, мигнет на свороте красным глазком и растает. Спохватится, кинется ей вдогонку вспугнутый ветерок, хлестнет в лицо путнику жесткой морозной пылью и опять свернется клубком, уляжется под забором. Не хрустит, не воркует снежок под ногами влюбленных парочек, не поет, захлебываясь в тягучем медовом счастье гармонь, не гудит на Лене-реке веселая круговушка. Пусто, мертво в поселке. Тявкает, зайдется в истошном вое голодный пес. Ответит ему второй, третий. Подхватят другие — и вот уже по всему поселку перекликается, гремит псиная ругань. И смолкнет. Тишина. Темень».

Пейзаж — очень многозначительный, достоверно воскрешающий наши впечатления военных лет, когда в суровые годы как бы вдвойне посуровела и сама природа: и морозы стали злее, и зимы тянулись дольше для людей, живущих на скудном пайке, а работающих вдвое больше, чем в довоенные времена. Это ощущение холода, буйных снегопадов и буранов сопровождает нас на протяжении всего романа и еще рельефнее подчеркивает дела героев поистине сибирской закалки.

Парторга ЦК Танхаева в первые военные дни глубоко волнует проблема сплочения коллектива тружеников Северотранса в новых условиях: «Что еще может сблизить людей разных характеров, возрастов, опыта, знаний? Что сделает их вдесятеро сильнее, способнее, выше?» В сущности, лучшие страницы и главы романа и являются ответом на этот вопрос.

Работая над новым произведением, писатель не растерял, а обогатил свое уменье создавать жизненных героев в не менее жизненных обстоятельствах. В столкновениях, борьбе или содружестве, в сложном взаимодействии предстают перед нами труженики Северотранса. На их долю выпадает тяжелая задача — обеспечивать бесперебойное движение автотранспорта по дорогам Сибири, снабжение городов, сел, приисков, предприятий Бодайбо и Якутии. А условия труда резко изменились. Лучшие машины отданы фронту, чувствуется острая нехватка бензина и запасных частей. Сколько изобретательности, смекалки, упорства, энергии нужно полуголодным людям, чтобы спокойна была их совесть перед фронтовыми товарищами, перед жителями дальних районов Восточной Сибири!

В новом романе продолжается развитие характера Алексея Позднякова. Он и в новой обстановке выступает как умный руководитель, умеющий организовать, сплотить огромный коллектив водителей автомашин, инженеров, техников. Человек риска, неукротимой энергии и цепкой практической хватки, он кажется внешне суровым, чрезмерно взыскательным, но в романе не только сказано, а именно показано, что человек, наделенный такими свойствами, может быть одновременно глубоко справедливым и добрым, оправдывать то ласковое прозвище, которое ему дали шоферы,— «Батя».

Из многих эпизодов, где хорошо показана деятельность Позднякова-руководителя (о его семейно-бытовых делах следует говорить особо), можно сослаться хотя бы на один, где он разоблачает бездушие и холодность своего главного бухгалтера. Тот додумался до такой системы учета расхода топлива водителями автомашин, что они должны были платить штрафы даже тогда, когда экономили бензин. Так как за экономию платили 50 копеек, а за пережог взыскивали 1 рубль с килограмма, то ежедневный, а не ежемесячный (как полагалось) подсчет всегда оставлял шоферов в накладе.

Для Алексея Позднякова это не мелкий факт. Если главбуху кажется, что он не совершил никакого преступления, поскольку штрафные деньги идут не к нему в карман, а достаются государству, то начальник Северотранса справедливо видит в махинациях главбуха оскорбление чести и достоинства рабочих, нарушение их законных прав.

Остается лишь пожалеть, что интереснейшая проблема взаимоотношений руководителей и народа, нашедшая свое верное решение и в связи с изображением характера парторга Танхаева (жаль, что он выступает в романе лишь эпизодически), иногда внезапно как бы вырывается из верных замыслов писателя и находит извращенное разрешение. Директор автобазы Евгений Павлович Житов никак не может найти общего языка с водителями. Ему помогает Николай Степанович Рублев. Но как! Раскидав в сугробы с помощью богатыря-водителя Николаева шоферов, не желавших в трудную минуту расчищать дорогу, он дает такой совет Житову:

«— Вот и разговор весь, Евгений Палыч. Морды бить за такие дела следует, а не уговаривать!»

Правда, Рублев этого не делает, но все же автор не заметил, как «наговорил» лишнего на своего героя, в других случаях умного, весьма тактичного. Кстати, «теорию» мордобоя осуществляет в романе и фронтовой командир, занимающий большой пост, причем и в данном случае, вместо прямой отрицательной авторской оценки таких приемов «воспитания», мы обнаруживаем лишь краткое упоминание, что по приказу свыше эту практику военному чину пришлось отменить.

Об этом пришлось говорить особо потому, что в основном своем направлении роман «Сибиряки» утверждает совершенно иную и бесспорную идею: не по принуждению, не по административному окрику, не по формальному приказу совершали наши люди свои героические подвиги, а во имя любви к своей родине, своему социалистическому строю.

Очень удался, например, в таком плане писателю образ инженера Гордеева. Человек, получивший извещения о смерти двух сыновей (второе, как выяснилось впоследствии, ошибочное), он сумел наступить на горло собственному горю, проявил смелую изобретательность для того, чтобы Северотранс в военных условиях работал еще более по-боевому, чем в довоенных. Можно сказать больше: трудные испытания очистили характер Гордеева от многого наносного, помогли ему ощутить себя среди тружеников как человека им очень нужного и полезного. И читатель всем сердцем верит тому, как расцвела его душа после удачного оригинального изобретения санного поезда. Жена спросила Гордеева, вернувшегося с победным известием домой: «Что с тобой, Игорь? Можно подумать, что ты нашел новое сердце». Ответ инженера очень многозначителен: «— Нашел! Я нашел тысячу новых чудесных сердец! Я никогда еще не был так счастлив, Соня!»

Здесь нет возможности подробно останавливаться на всех удачно изображенных в романе характерах. Очень привлекательна в своей детской непосредственности озорная и иногда смешная Нюська Рублева. Очень хорош Лешка — приемный сын Танхаевых. Колоритен образ водителя Николаева.

Вероятно, не будет ошибкой сказать, что массовые сцены романа, где участвуют самые разнообразные по характерам герои, наиболее удались Н. Чаусову. Таков, например, эпизод строительства вагранки, таковы трудные и мучительные поиски новых приемов работы в военных условиях, связанные с переходом машин на газогенераторные установки, на гусматики — танковые шины и пр. Думается, что история о том, как автоколонны под водительством голодных, коченеющих от холода шоферов пробивались к замерзшим на Лене баржам и везли продовольствие еще дальше на многие сотни километров, раскрыта в романе с подлинно высоким пафосом, большой авторской взволнованностью и теплотой. Она особенно запоминается потому что писатель не скрывает противоречий и трудностей. Он показывает нам, как человеческая воля к победе преодолевает и то слабое, мелкое, сугубо личное, что еще оставалось в душах тружеников. В этой связи достаточно вспомнить эпизоды, где показано, как некоторые водители отказывались участвовать в прокладке дорог, как двое из них украли с машины мешочек муки и как едва не подверглись самосуду остальных участников рейса С исключительной напряженностью даны в романе две кульминационные сцены, где жители Бодайбо на руках вынесли участников первой автоколонны на берег, а якуты с изумлением и гордостью повели на баржи отогревать участников второй автоколонны.

Герои прочной сибирской закалки встают перед нами на многих страницах романа. Правда, и в развитии этой главной темы далеко не все тщательно обдумано, взвешено и изображено автором «Сибиряков». Налет известной торопливости, хрониальной скорописи заметен во многих эпизодах, особенно завершающих произведение. Можно и нужно было больше внимания уделить образу Тан-

хаева, доказательнее раскрыть характеры Теплова, Житова. Но главный недостаток романа Н. Чаусова обнаруживается в решении семейно-бытовой, лирической темы. В принципе интерес писателя к ней не только понятен, но и заслуживает одобрения. В самом деле, ведь война во многих случаях по-новому определила судьбы многих семей, но не сняла и не могла снять проблем бытовых, лирических, тем более, что они очень тесно соприкасались со всеми иными сторонами жизни людей. Дело лишь в том, что эта тема в романе решена неудачно либо потому, что у автора не хватило запаса реальных наблюдений, либо потому, что он не приобрел еще достаточного опыта.

Любой беспристрастный читатель обратит внимание на тот факт, что в «Сибиряках» много говорится о любви, однако, если иметь в виду героев первого плана, которые наиболее значимы для писателя и близки ему, то нельзя пройти мимо парадоксального явления: да, в романе именно много говорится о любви, но подлинно прекрасной любви почти не видно.

Проследим три основные лирические линии: Нюся — Житов, Ольга Червинская — Алексей Поздняков, Клавдия — Алексей Поздняков, — и мы увидим, что, как это ни странно, дело обстоит именно так, хотя в каждом из названных характеров, взятых в иных сферах деятельности (труд в тылу, иногда фронтовые дела), есть много живого, верного.

Бывают ли такие люди, как Ольга Червинская, натура очень сложная, капризная, неустойчивая? Конечно, бывают. Можно понять и принять и ее искусство хирурга, можно понять и объяснить ее постыдное самоубийство. Но ни на одной странице «Сибиряков» не показано и не доказано, что она любит Позднякова. Напротив, она отказывается даже от переписки с ним. И лишь авторским произволом можно объяснить тот факт, что в самый неподходящий для него момент, когда он вернулся к Клавдюше, Ольга вновь и совершенно внезапно объясняется ему в любви и пишет в письме с фронта: «Твоя, твоя Ольга». Таким образом, писателем «придуман» внешне «увлекательный» сюжетный момент, явно не вытекающий из предыдущего повествования.

Нарушена художественная логика развития характера и самого Алексея Позднякова. Что он не любит Клавдию — это совершенно ясно. Ведь не случаен его разрыв с семьей, так мучающий сыновей Вову и Юрика. А вот любит ли Алексей Ольгу — опять-таки неизвестно. Скорее всего — нет. Достаточно сослаться хотя бы на такие рассуждения героя:

«Теперь он думал об Ольге. «Ни мне не пишет, ни Романовне. Что с ней?.. И чего дурит. Себя мучает и других тоже. Что ей моя семья, мое собственное горе? Ангела из себя строит, благодетельницу? А свое счастье?.. Да счастье ли? Могу ли я и теперь принести ей счастье? Встретимся, наглядимся друг другу в глаза, а дальше? Верну ли я ей того, кому она отдала первые чувства, молодость, годы?.. И не семья моя, брошенная жена и дети отпугивают тебя, Оля, а я сам, потрепанный, постаревший. А дети? Дадут ли они мне забыться в нашем с Ольгой счастье?..»

Следовательно, как будто есть мечта о счастье? Но разве может такой сильный, волевой человек, как Поздняков, так резонерски рассуждать о любви, если он действительно любит? Разве можно так думать о любимом человеке, даже если этот человек, подобно Червинской, далеко не идеальный? Нет, здесь не может быть и речи о подлинно сильных, искренних чувствах.

Показательно, что резонерство, очень схожее с поздняковским, проявляет в своей любви к Нюсе и Житов. Нюська со своей толстой косищей — девушка взбалмошная, непостоянная, ищущая. И в этом нет ничего предосудительного. Н. Чаусову удалось показать, что ее поверхностное увлечение Житовым быстро выветривается, как только Нюська попадает в новые условия жизни, встречает новых людей. Она «разлюбила» Житова еще до того, как полюбила фронтовика-героя Онищука. Кстати, заметим, что в романе нет сцен, которые бы показали расцвет и этой любви, хотя страстное увлечение самого Онищука открывается читателям во всей реальности. Но характер самого Житова, как будто и влюбленного в Нюську, если верить одним страницам произведения, не проявляет на других страницах тех искренних чувств, которых справедливо ждет от него девушка. Автор снова что-то не додумал, не раскрыл какие-то мотивы человеческого поведения в их развитии, и получилось так, что в проявлениях своей любви Житов — дубликат Позднякова.

Однако вернемся к Позднякову, ибо его лирическая история главным образом связана с авторским представлением о том, как должны решаться очень важные и очень сложные семейно-бытовые конфликты. Н. Чаусов «возвращает» Алексея Позднякова в семью. Следовательно, в романе торжествует мораль упрочения семейных отношений, мораль, охраняющая и защищающая детей от страшного несчастья — безотцовщины. Благородная мораль! У любого писателя есть неотъемлемые права на ее защиту. Однако опять важно

определить: сумел ли автор художественно доказать, мотивировать победу именно такого морального установления, наделил ли своих персонажей чертами и признаками, которые находили бы соответствующее выражение в определенных поступках, а те, в свою очередь, убедительно разрешали конфликт?

Возвращение Алексея Позднякова в семью автор мотивирует несчастьем, едва не приведшим к гибели его сына Вову, попавшего под автомашину. Может ли эта причина потрясти Алексея, совершить поворот к жизни по-новому? При известных условиях — да. При известных — потому что катастрофа с сыном может служить толчком, пусть даже очень сильным. Но ему должны предшествовать все же какие-то обстоятельства, ведущие к примирению Алексея и Клавдии. А их в романе нет. Напротив, все попытки Клавдюши найти дорогу к сердцу Позднякова (к чести Н. Чаусова надо сказать, что это единственный персонаж, чья искренняя любовь и привязанность к мужу действительно мотивированы) Алексей решительно отклоняет. Он даже переезжает жить в пустующую квартиру Ольги. Он объясняет матери своих детей ее ошибку, когда она поверила наивной записке маленького Лешки, уверявшего, что ее муж готов вернуться в семью и лишь не решается попросить прощения.

При таких условиях угроза гибели Вовы и его возвращение к жизни не может быть единственной и решающей причиной, заставившей Позднякова «вдруг» разлюбить Ольгу и «вдруг» снова полюбить Клавдию. Вот почему сцена в больнице, якобы приведшая к разрешению конфликта, является очень искусственной:

«— Папочка!.. Ты прищел? Ты вернулся? Это правда?..

Мягкий теплый клубок подступил к горлу Позднякова-отца. С болью выдавил из себя:

— Правда. Если ты этого хочешь, Вова.

— Факт, хочу. Папочка!.. И ты больше никогда не уйдешь от нас?..

И вдруг спохватился, вспомнил о матери:

— Мама, а ты простила папе? Простила?

— Конечно, Вова,— смутилась от неожиданности Клавдюша.

— Навсегда?

— Да, Вова.

— Тогда поцелуй папу!

Клавдюша испуганно взглянула на мужа, но Поздняков сам обнял ее и поцеловал так, как, может быть, не целовал никогда за всю их супружескую жизнь».

Только что приведенная сцена сокращена по необходимости, но любой читатель заметит, что сокращения даже смягчают ложно патетический, сентиментальный характер эпизода. Если Поздняков до встречи с Клавдией в больнице не любил ее, то каким образом к нему внезапно вернулись прежние чувства? Понимание обязанностей отца могло, конечно, заставить героя вернуться домой. Такая развязка дана, например, в романе Галины Николаевой «Битва в пути», где Бахирев порывает с Тиной, заботясь о будущем своих детей, хотя и продолжает любить ее. Можно спорить (и об этом спорят), верно ли поступил Бахирев и будет ли счастье в его семье, если нет любви? А. Н. Чаусов идет еще дальше— стремится доказать, что увидев вырванного из когтей смерти Вову, Поздняков мгновенно обрел старую любовь. Следует напомнить еще раз: «Поздняков сам обнял ее и поцеловал так, как, может быть, не целовал никогда за всю их супружескую жизнь».

«Перерождение» героя произошло столь неожиданно, что невольно создается впечатление: его поступки — одно, а моральные выводы автора — другое, они насильственно «притянуты» писателем для доказательства мысли, абстрагированной от того изображения Позднякова, которое дал сам же Н. Чаусов.

Помимо просчетов, связанных главным образов с лирическим направлением романа, в нем, к сожалению, встречаются и стилевые погрешности, которые так же портят читательское впечатление: «А ведь у него, Позднякова, лежит еще один удар по Гордееву...» (стр. 290); «Гордеев поцеловал жену, прошел в комнаты, веруя, что жена будет следовать за ним неотступно» (стр. 198); «...Гордеев, нанаблюдая за катанием мальчиков с горки, вернул рублевские сани к жизни...» (стр. 143); «Дверь тихо приоткрылась, на миг показалась испуганная физиономия посыльной и, стрельнув в Житова любопытством, тотчас исчезла» (стр. 45); «...— Воля ваша, Ольга Владимировна. А чаек душу греет,— подчиняясь Червинской, перешел на общечеловеческое обращение санитар в потрепанной, непомерно большой шинели» (стр. 30) и т. д.

Иногда авторская небрежность в отработке стиля, вызывающая досаду сама по себе, приводит писателя к ошибочной трактовке образов и характеров. Персонажи начинают говорить и поступать не так, как это в принципе задумано и осуществлено Н. Чаусовым на отдельных страницах. Иначе говоря, небрежно относясь к слову, автор снова явно «наговаривает» на своих героев.

Уже выяснено, что собой представляет характер парторга Наума Бардымовича Танхаева. И вдруг на стр. 13 можно прочитать об

этом умном, культурном и очень тактичном руководителе, что он, высказывая досаду на военкомат, забирающий у автохозяйств автобусы, «кипел, плевался». Начальник Северопродснаба — фигура в романе «проходная». И хотя писатель рисует этот персонаж развязным, болтливым, вряд ли было уместно наделять его высказываниями уже совершенно нетактичными. В разговоре с Алексеем Поздняковым он заявляет: «— Вот еще чудо природы! Так ведь я же тебе толкую: в самолетах отказ? Отказ. Прииски, Якутия с голоду сдохнут? Сдохнут» (стр. 266).

Большие и мелкие просчеты в романе «Сибиряки» вовсе не означают, конечно, что выступление Н. Чаусова с новой книгой является неудачным. И важно не только то, что писатель, очевидно, исправит те упущения, которые он признает. Еще важнее перспективы, которые перед ним открывает издание двух больших произведений и книжки для детей («Черная борода»). Читатели доброжелательно приняли то, что им уже сделано. Однако и им и самому писателю очень важно, чтобы за «Далекими рейсами» и «Сибиряками» появились произведения еще более глубокие по идейному замыслу и художественному исполнению. А для этого Н. Чаусову нужно со всей объективностью оценить слабое и сильное в своем творчестве. Судя по тому, чего он достиг, у него есть большой запас впечатлений, фактов, мыслей. Теперь самое важное — взыскательная работа над превращением их в явления художественные, где композиция, сюжет, глубокая мотивировка характеров составят неразрывное единство, где логика и диалектика изображаемых событий приведут к полноценному раскрытию идеи и темы задуманного произведения.

В. Трушкин

БЕСПОКОЙНАЯ «ТИШИНА»

Новый роман Юрия Бондарева представляет собою заключительное звено единого в своем авторском замысле идейно-художественного повествования. Внутреннее единство его книг вы ощущаете уже в узловых, ударных моментах, вынесенных писателем в само название произведений — «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и, наконец, «Тишина». Но если на долю первых двух выпало единодушное признание, то «Тишина» разбила гармонию оценок, вызвав разноречивые суждения. В ранних повестях писателя «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» критика так же, как и в произведениях Григория Бакланова, охотно отмечала свежесть и новизну в освещении темы войны, зоркость художнического взгляда, психологическую достоверность и острый драматизм изображаемых автором событий.

Казалось бы, все хорошо. Но вот писатель публикует новый свой роман и озадачивает некоторых критиков, привыкших писать спокойно о произведениях столь же спокойных и бесспорных. Как отнестись к такой книге? Похвалить?! — как бы чего не вышло, замолчать — вроде бы неудобно. А не лучше ли все-таки попытаться найти изъяны и просчеты — мол, нельзя не заметить, но нельзя и не признать. Так-то оно будет и спокойней и надежней. Именно о таких критиках пишет К. Паустовский в своей рецензии на роман Ю. Бондарева в газете «Известия». «Кисло встретить талантливую и редкую по своей правдивости книгу — это еще полбеды. Хуже, когда о ней думают: «Хоть бы ее и вовсе не было, этой книги, пропади она пропадом! Тогда не надо было бы на нее откликаться. Куда спокойнее следовать прописным истинам: «Моя хата с краю», «на рожон не лезь», «не выноси сор из избы». Эти низменные и якобы народные истины — закон для трусов».

И в самом деле, отзывы отдельных рецензентов романа вызывают недоумение.

Удивительна позиция, скажем, рецензента из журнала «Октябрь». По его словам, роман читается с интересом, читателя волнует тема его, книга подкупает точностью деталей, интересно задуманными образами, правдивостью ситуаций. Спрашивается, если и ситуации правдивы, если и тема интересна, и образы, и читается она с волнением, так чего ж недостает? И вот тут-то и начинается «пленной мысли раздраженье». Послушаем критика: «отход от жизненной правды», «ложны мотивы поведения героев», «сколок с западных образцов». Идет перечисление западных писателей, которых чуть ли не копирует Бондарев. Здесь и Ремарк, и Пристли, и Генрих Белль, и Брэйн, раздаются упреки в мелодраме, в отсутствии «ясности взгляда и глубины психологического анализа». Ю. Бондарев, видите ли, идет «не от глубокого осмысления жизненного материа-

ла, а от готовых литературных решений, да еще родившихся на почве, принципиально чуждой материалу романа»[1].

Спрашивается, почему же тогда эта книга, где жизнь подменяется «заемными схемами», где нет «поисков собственных решений» и много иных авторских грехов, почему она так волнует, по признанию самого же критика?

Поистине, рецензент уподобляется тому горе-редактору из известного стихотворения Твардовского, который поучал незадачливого автора: а вдруг читатель прочитает справа налево?! К слову сказать, по этому мудрому принципу читать «справа налево» рецензент сделал и свой заголовок статьи, назвав ее «Но если задуматься»...

Точно под копирку с только что разобранной рецензии писался и отзыв о романе для журнала «Звезда». В адрес романиста раздаются те же упреки в ремаркизме, в «сером, гнетущем фоне» повествования, в отсутствии «общей мысли, ясной авторской позиции», в «дешевой мелодраме». Здесь и язык-то никудышный, и образы-то нечетки, и вообще «автор поторопился»[2].

Поражает в этих отзывах не только разительная уклончивость оценок, когда рецензент не может решить, успех это или неудача, не только их бьющая в глаза противоречивость и отсутствие логики, но и полная бездоказательность суждений.

Ни один из них не дал себе труда проанализировать характеры героев романа и обстоятельства, в которых они проявляют себя, действуют.

Может быть, вдумчивей и серьезнее, чем другие, подошел к произведению Виктор Бакинский, признавший, что «при всех авторских просчетах роман «Тишина»— произведение очень серьезное и значительное, в самой основе своей проникнутое суровой правдой».

Интересные и верные, на наш взгляд, наблюдения над структурой романа Ю. Бондарева содержатся в статье З. Богуславской, соотносящей нравственные коллизии «Тишины» с углублением и обогащением гуманистических тенденций в современной нашей литературе. По мнению Богуславской, «Бондарев как художник смело сказал новое слово о горьких и трагических явлениях жизни». И не просто сказал, а показал и силу идей, принципиальность, веру в партию, позволившую... выстоять, остаться несломленным».

---

[1] Юрий Юдашкин. Но если задуматься. «Октябрь», 1962, № 9, стр. 212.

[2] В. Гусаров. Успех или неудача. «Звезда», 1962, № 9, стр. 209—211.

Размышляя над моральными проблемами, поставленными автором «Тишины», мне думается, следует не только и не столько говорить о гражданской мужественности художника (она несомненно есть!), а скорее о действенном, животворном гуманизме книги, своим острием обращенной не в прошлое, а в будущее, книги, ратующей за чистоту отношений между людьми, осуждающей всякие моральные компромиссы и сделки с совестью.

Всем нам памятны слова Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!» Во имя этой любви к людям и написана книга, вышедшая из-под пера советского писателя, коммуниста Бондарева.

Что же происходит в этом произведении, вызвавшем столь разноречивые толки, какова атмосфера его?

Роман Бондарева возвращает нас к тем, говоря словами Н. С. Хрущева, «тяжелым для нашей партии и страны временам, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий». Средствами искусства воссоздавая живую картину времени и обстоятельств, писатель ведет своего героя по пути серьезных нравственных потрясений, в которых выявляются лучшие качества души рядового советского человека. Надо ли было об этом писать, ворошить давно отжившее и переболевшее, не лучше ли обратиться к другим темам, может быть, более важным и современным? Очевидно, надо. Ведь понятие «современное» в искусстве очень емко, и в этом плане роман «Тишина» и современен и злободневен. Более того, не следует забывать, что герои писателя живут среди нас, им теперь всего лишь по сорок лет. Они несомненно как-то для себя оценивают, как и все мы, это пережитое прошлое, оно вошло в их жизнь и просто отмахнуться от него не так-то легко, это было бы фарисейством. Нельзя жить дальше, не прояснив своего отношения к тому, что было вчера.

Н. С. Хрущев, с высокой трибуны XXII съезда партии говоря о культе личности, в условиях которого «погибли тысячи ни в чем не повинных людей, а ведь каждый человек — это целая история», обратился с призывом восстановить правду об этом времени, какой бы горькой и трагичной она ни была. ...«Мы можем и должны,— говорил он,— многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени пройдет после этих событий, тем труднее будет восстановить истину... это надо сделать для того,— подчеркивал он,— чтобы

подобные явления впредь никогда не повторялись».

Несомненно, это относится не только к историкам, но и к художникам слова. Не случайно к трагическим событиям недавнего прошлого так или иначе обращаются наиболее чуткие и вдумчивые писатели современности. О них пишет, размышляя о судьбах народа, украинский писатель М. Стельмах в своей «Правде и кривде», целую главу своей поэмы «За далью-даль» посвящает им А. Твардовский, ибо

С той правдой малого разлада
Не понесет моя строка,
И мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

Отличие Бондарева от названных здесь авторов, говоривших в книгах своих о культе личности, заключается прежде всего в том, что он сделал эту тему фокусом, к которому стягивается все повествование, все сюжетные и идейно-эмоциональные перипетии произведения. Подобного освещения очень сложной и ответственной темы в нашей литературе действительно еще не было. Эта бескомпромиссность художника и озадачила некоторых критиков.

Уже само название книги по мере развертывания действия все более приобретает полемическое звучание. Поначалу перед нами как будто типичный бытовой роман, повествующий о неустроенной жизни вчерашних фронтовиков. Капитан артиллерии Сергей Вохминцев, со школьной скамьи еще мальчиком ушедший на фронт, после четырех лет окопной жизни никак не может привыкнуть к резко изменившейся обстановке — тишине, покою, потрескивающим дровам в печи, морозным узорам на окнах, уютно пригревшейся кошке с котятами. Можно наслаждаться блеском яркого декабрьского утра, можно принять душ или ванну, побриться. И только сумеречными вечерами, «когда фонари горели в туманных кругах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести; в живых остались только двое».

Со множеством точных и верных деталей автор рисует послевоенный быт. Здесь и Тишинский рынок — многолюдная барахолка, это «горькое порождение войны», где можно было купить и продать все, что угодно, от иностранных зажигалок до справок и дипломов об окончании института любого профиля. Вместе с героями романа автор заглядывает и в пивнушку, где сидят за кружкой пива недавние воины, обсуждая свое новое житье-бытье.

Пристальное внимание к быту, еще такому бедному и неустроенному, только-только начинающему входить в привычную колею, неприкаянность, а порой и бесшабашная удаль фронтовиков, утративших привычный ритм жизни,— это как раз та атмосфера, с которой читатель был уже знаком по повести Виктора Некрасова «В родном городе» и которая дала повод некоторым критикам упрекнуть автора «Тишины» в своеобразном ремаркизме.

Действительно, Сергей Вохминцев вначале очень здорово смахивает на некрасовского Николая Митясова. У них и формы поведения иногда слишком уж похожи. Так, тот и другой при столкновении с заведомым негодяем не находят ничего лучшего, как разделаться с ним пощечиной. Но на этом, пожалуй, сходство и заканчивается.

В Сергее Вохминцеве живет, постоянно напоминая о себе, боль о погибших. Он не забывает о них даже во сне. Вот он видит, как, преследуемый немецкими самолетами, он бежит по пустынному, разрушенному городу, залитому лунным светом, бежит к окраине, где стоит разбитая пушка его батареи, «а солдат уже не было никого».

И дело не только в том, что Сергей, вернувшись в тихий замоскворецкий переулок, не нашел в живых никого из своих сверстников. Ясно, что на войне убивают. Его беспокоит другое — бессмысленность крови и жертв, которые ничем и никак нельзя оправдать. Он помнит, как осенью 1944 года в Карпатах немцы прямой наводкой расстреляли нашу батарею, перебили всех солдат. И повинным в их смерти был не случай, не обстоятельства, а тупой бездарный командир, капитан Уваров. Поэтому случайная встреча Сергея с Уваровым и последовавшее за ней столкновение приобретают в романе особое значение. Читатель еще в сущности ничего толком не знает ни о Вохминцеве, ни о его характере, и эта вспышка негодования Сергея хотя и понятна, но поначалу кажется эксцентричной. И только потом мы убеждаемся в ее естественности, осознаем такое поведение как закономерное проявление характера и, главное, морального кодекса, нравственных критериев героя. В этом убеждает нас не только вторичная встреча Сергея с Уваровым, когда он отказывается разделить с ним первый новогодний тост за Сталина, остро чувствуя всю фальшь этой сцены и этого тоста, но убеждает в еще большей степени последующее поведение

Сергея, особенно в момент свалившегося нежданно-негаданно страшного горя, когда по доносу клеветника арестовывают его отца. И опять-таки, ставя своего героя в исключительно острые и драматические положения, писатель штрих за штрихом раскрывает в нем несгибаемую волю, глубокую человеческую порядочность и благородство.

Если в первой части романа, охватывающей события конца сорок пятого года, действие развивается замедленно, в какой-то мере даже вяло и характеры героев еще как следует не проясняются, то во второй, заключительной части, погружающей нас в атмосферу 1949 года, события стремительно нарастают, они приобретают, как и характеры персонажей, свою художественную завершенность и, я бы сказал, ту внутреннюю обязательность и единственность, которые отличают настоящие произведения искусства.

Вохминцев, ставший к этому времени студентом горного института, успевший полюбить свою будущую профессию, неожиданно оказывается перед тяжелым нравственным испытанием. Ему приходится держать такой экзамен, какого он не знал и на фронте, хотя там чуть не каждый день глядел в глаза смерти. Поведение Сергея во время ареста отца и последующего обыска, его разговор с лейтенантом госбезопасности и все дальнейшее, включая беседу с майором в приемной МГБ с ее особой больничной тишиной, где «люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья»,— все эти эпизоды исполнены суровой жизненной правды.

Вспомним, наконец, великолепно написанную сцену ареста и обыска с ее скупыми точными деталями. Робко озирающаяся толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, отец, не могущий никак завязать галстук, с его «неловко и угловато» двигающимися локтями, его руками, что «искали и сомневались, будто вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается». И эти незнакомые люди — старший лейтенант с «крепким деревенским лицом, со светлым пронзительным взглядом», маленький гриппозный капитан с тонкой шеей — вот они, равнодушные к чужому горю люди, делавшие, «видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая», когда завертелась на полный ход вся эта «грубо заработавшая машина». И, точно обнажая всю нелепость происходящего, теплый летний дождь вовсю бушует за окном. «Дождь плескал по асфальту двора и было чудовищно странно, что, как всегда, в стекле жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй».

От сцены к сцене, от эпизода к эпизоду нарастает драматизм, выявляя ранее скрытые грани в характере героя. С особой силой проявляются они в кульминационной сцене заседания партийного бюро института, на котором Вохминцева исключают из партии. Здесь-то во всей своей красоте и обаянии и раскрываются личность и характер Сергея, не знающего и не признающего полуправды. От него требовали как будто «немного»— согласиться с тем, что отца, старого коммуниста и даже когда-то чекиста, посадили не зря, что он виновен, ибо «невинных не сажают». Но этого-то он как раз и не сделал, хотя у него и были очень сложные отношения с отцом. Он знал, что если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое... И он только думал о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать». Именно в этот момент глубокого нравственного потрясения Вохминцеву снова снится кошмарный сон о чудовищном предательстве, о давящей, гнетущей силе, нацеленной в самое сердце, о каком-то черном туннеле, выход из которого перегородили четыре силуэта, о настигающем его металлическом цокоте подков. «Что-то тяжелое, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознал, что погибнет сейчас и почему-то особенно ясно почувствовал, что его предали». И все это покрывается «радостным, знакомым ревом: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце! Он так умрет!»

С подлинной экспрессией передает писатель ощущения своего героя, всю эту гнетущую обстановку, когда у него стремятся вырвать лицемерное признание своих мнимых ошибок, заставить его обязательно покривить душой, любой ценой сломить его принципиальность. И вот, наконец, обмен репликами между Свиридовым, секретарем партбюро, демагогом и жестоким догматиком, и только что исключенным из партии Сергеем.

— Что?— спросил он строго. — Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтоб ты понял, что член партии ...

— Вы что же думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы?— выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты...— Свиридов поднялся, опираясь на костылек, синева залила щеки, зрачки заострились.— Ты с-с-мотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я коз пасти не доверил, а не то что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят.

— Молчи!— Свиридов стукнул костыльком об пол.— Ты что? Ты что?

Сергей сказал:

— Я отказался от последнего слова. Это — последнее».

В поведении и речах Свиридова художником обнажены все ханжество, все лицемерие и двоедушие, подозрительность и недоверие к человеку, процветавшие в период культа Сталина и нередко прикрывавшиеся святым именем партии. Наша литература уже обращалась к изображению фигур, подобных бондаревскому Свиридову. Стоит хотя бы назвать здесь образ Бликина из «Битвы в пути» Галины Николаевой. Заслуга писателя не в том, что он вывел на страницы романа такого персонажа, как Свиридов, а прежде всего в изображении того духовно здорового, цельного, истинно партийного и человечного, что никогда не умирало, несмотря ни на какие культы, в нашем народе. И воплощением этих качеств как раз и представляется нам образ Сергея Вохминцева. Даже в трагически острый момент обыска он лишь на какое-то мгновение почувствовал себя детски беспомощным и не защищенным перед грубой, бездушно заработавшей машиной, но не растерял ничего от своего человеческого достоинства и порядочности. В этом убеждает и конец романа, когда Вохминцев, казалось бы, потерпел полное крушение: потерял отца, выгнан из партии, ушел из института — даже в это время он осознает себя вопреки всему и вся несломленным. «И в эту минуту,— говорит автор, завершая повествование,— он чувствовал себя непобежденным».

Мне думается, что в книге же следует искать и объяснение этой нравственной чистоты и стойкости героя. Она в чистоте наших идей, в самом строе нашей жизни, за которую Сергей беззаветно сражался четыре года с озверелым фашизмом. Он потому так тверд и решителен, что с детства впитал в себя эти идеи, вошедшие в плоть и кровь его. Эта убежденность помогает ему в трудные минуты жизни, ибо он знает, что лицо партии определяют не Уваровы и Свиридовы, не доносчики и негодяи типа Быкова, а такие же, как и он сам, люди, будь то его отец Николай Григорьевич, человек хотя и изломанный жизнью, но глубоко порядочный, или же художник Мукомолов, честный и самоотверженный рыцарь правды и справедливости, такие, как доцент Морозов и, наконец, сверстники Сергея — если и не однополчане, то все же боевые друзья.

Интересно выписаны в романе образы Константина и Аси, назревающее чувство любви между ними; повидавшим уже жизнь франтоватым парнем с молодыми усиками, вчерашним офицером-разведчиком, бравирующим своим легкомыслием и напускным цинизмом, и хрупкой девушкой-подростком в старенько платье. Правда, первые сцены книги, в которых появляется Константин Корабельников, несколько настораживают, вызывая смутное предубеждение к нему, но по мере развития действия, когда Константину приходится выступать все время в роли второго актера при главном герое, эта настороженность исчезает. Возможно, первоначально образ Корабельникова был задуман автором несколько в ином плане, и следы такого замысла, очевидно, остались в романе.

В чем-то существенном остался не досказанным и образ Нины, играющей такую большую роль в судьбе Вохминцева. Мы так и не знаем ни ее внутреннего мира, ни ее характера. То же самое можно сказать об отце Сергея. Наконец, роману, особенно в первой его части, не хватает художественной цельности, он распадается на ряд слабо связанных между собой и порой вовсе не обязательных сцен и эпизодов, которым так недостает динамики и экспрессии.

Подчас при чтении «Тишины» раздражает однообразие красок. Так, добрый десяток раз его герои «задыхаются» то от «полновесности» ощущений, то от нахлынувшего чувства горя или радости. Однако такая стилевая небрежность искупается порой точностью и выразительностью умело найденных художественных деталей, яркостью и эмоциональной насыщенностью отдельных сцен и картин, общим пафосом произведения, проникнутого благородной верой в советского человека и в его высокое призвание на земле. Недостатки книги Ю. Бондарева не в перепевании мотивов заподноевропейских писателей, как полагают некоторые критики. Наоборот, «тут русский дух, тут Русью пахнет». Они, эти недостатки, проистекают из известной художественно-композиционной, сюжетной незавершенности первой части романа, невыписанности отдельных персонажей, что бесспорно снижает впечатление от этой интересной и острой книги молодого писателя.

САТИРА И ЮМОР

В. Фесон

СМЫСЛ

Молодой Арнольд Позитивченко считал себя поэтом.

Это было еще полбеды. Настоящая беда была в том, что поэтом его считали и некоторые другие люди, в том числе и работники издательств, которые печатали его стихи.

Это уже ставило под угрозу душевное равновесие всякого грамотного человека. После прочтения очередного опуса Позитивченко хотелось собрать носильные вещи, уплатить за квартиру за полгода вперед и тайком от соседей уехать на острова Фиджи, где и прожить все время, вплоть до преждевременной смерти Позитивченко. В том, что смерть его будет именно преждевременной, никто не сомневался. Было ясно, что рано или поздно Позитивченко падет мертвым от руки какого-нибудь озверевшего преподавателя русского языка и литературы.

Преподавателям русского языка действительно приходилось туго. Они дурели и впадали в обалдение, читая строки, вышедшие из-под пера преступного молодого дарования. Когда Позитивченко опубликовал в местном альманахе поэму «Пятый будильник», начинающуюся такими словами:

«Будильник, буен, бьет,
бунтуя...
Зеленым зраком
зазигнув,
Приму подарок поцелуя!
Дыми, дичай,
дугу загнув!»,

один из педагогов, больше всего в жизни любивший Фета и Кольцова, внезапно повредился в уме и был отправлен в медицинское заведение закрытого типа.

А Позитивченко продолжал творить свое черное поэтическое дело. Он написал цикл стихов под названием «Гули и дули» и отнес их в Союз писателей на предмет получения восторженной рецензии и передачи в издательство. Состоялось чтение.

Читал свои стихи Позитивченко сам. У него была несколько своеобразная манера декламации. Создавалось впечатление, что за стеной кто-то поет заунывную песню. Если прибавить сюда еще полнейшую бессмыслицу стихов, то ясно, что впечатление было поистине устрашающим.

На восьмом стихотворении старенькая детская писательница Жучкинд, автор пьесы-сказки из жизни животноводческой фермы «Скот в сапогах», начала тихо плакать, утверждая, что внезапно вспомнила покойного мужа. Старушку вывели из комнаты и на такси отправили домой.

Позитивченко с пафосом прочитал последние строки, обольстительно улыбнулся и опустился на стул, выжидательно поглядывая по сторонам.

Заскрипели стулья, послышалось сопение, кряхтение, и кто-то сумрачно, без всякого выражения выругался.

Начались прения. Первым слово взял создатель многочисленных псевдоисторических романов Пчельников-Мещерский. Он долго, трубно сморкался, протирал очки и сказал, наконец, что стихи, конечно, не войдут в золотой фонд нашей литературы. Не войдут, пожалуй, и в серебряный. Но все же в них есть что-то такое, что не всегда встречается в других стихах.

— Несколько настораживает только отсутствие ярко выраженной смысловой нагрузки в стихах, — закончил он и, облегченно отдуваясь, сел.

Позитивченко, как и подобает непонятому гению, горько усмехнулся.

Остальные выступающие осторожно хвалили стихи и столь же осторожно намекали на некоторую их невразумительность. Видно было, что им очень хочется задать поэту наводящий вопрос: «А может, вы дурак?».

Позитивченко гордо отмел все намеки, а наиболее упорным оппонентам рекомендовал взять в руки толковый словарь.

— Вернее, бестолковый словарь, — пробурчал кто-то себе под нос.

Но здесь на трибуну поднялся горячий поклонник Позитивченко, критик Конюшенный.

— Легче всего, дорогие товарищи, — начал он, — легче всего отказать служителю муз в здравом смысле! А между тем смысл в стихах Позитивченко безусловно есть. В этом легко может убедиться каждый, кто даст себе труд хотя бы немного вдуматься в волнующее звучание строк его стихотворений. Возьмем хотя бы вот эти строки...

И критик звучным голосом прочитал:

Три лохматых бегемота
С воем кинулись в болото,
И свистели полисмены
Поздно ночью под окном.
Зурны, флейты и фаготы
Второпях пропели что-то,
А индусы танцевали
Нагишом и не о том...

В зале скрипнул стул и кто-то истерически всхлипнул.

— Что говорят нам эти строки? — патетически вопрошал Конюшенный, простирая руки к аудитории.

Народ безмолвствовал.

— Эти стихи открывают перед нами всю глубину мысли поэта, — продолжал Конюшенный, — который выражает в них свое гневное и бичующее негодование по поводу издыхающей системы империалистического колониализма!

Кто такие три лохматых бегемота? Ясно, что под этими мерзкими неповоротливыми животными поэт подразумевает трех китов колониальной политики — кнут, пряник и предательство. Лохматые они потому, что устарели и неминуемо должны сойти с исторической арены. Вой, который они издают, — это горестные воспоминания о безвозвратно ушедшем в прошлое расцвете колониализма.

И, наконец, разве не ясно, что болото, в которое они кинулись, — это есть болото истории, где им и надлежит быть.

Полисмены, поздно ночью свистящие под окном,—это цепные псы империализма, иначе говоря, — реакционная печать, которая и днем и поздно ночью тревожно свистит о все нарастающем антиколониальном народном движении. Разве не так?

Зурны, флейты и фаготы, которые второпях что-то пропели, символизируют поднимающуюся песнь народного гнева. Почему автор не определяет, что именно они пропели? Почему он говорит: «пропели что-то»? Да потому, что он взывает к сообразительности читателя, как бы спрашивая шутливо, а что могут петь освобожденные народы на могиле колониализма? Ясно, что ликующий гимн свободе!

Возьмем, наконец, индусов, танцующих «нагишом и не о том». Понятно всем, что нагие индусы олицетворяют собой освобожденные народы. «Нагишом» они потому, что сбросили с себя оковы империализма. А «не о том» они танцуют потому, что освобожденные народы не пляшут больше под дудку империализма, танцуют не то, что хотелось бы колониалистам, а свои народные танцы, полные грации и экспрессии!

Вот что такое поэзия Арнольда Позитивченко, дорогие товарищи! Вот ее внутренний смысл!

И Конюшенный, вытирая пот со лба, победоносно огляделся по сторонам.

Писатели, потрясенные раскрытыми перед ними тайнами творчества, испуганно молчали. Им было стыдно, что они не разглядели за Позитивченко поэта с большим гражданским и социальным содержанием.

С места поднялся Пчельников-Мещерский и почтительно обратился к Позитивченко:

— Уважаемый Арнольд Сидорович, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — теперь мы видим глубокий политический смысл, заключенный в ваших стихах. Несомненно, ваши стихи должны поднимать на борьбу,

вести за собой и заставлять громче биться сердца угнетенных народов. Когда слушаешь их, нельзя оставаться равнодушным, хочется что-то делать! Скажите, уважаемый Арнольд Сидорович, сами вы предвидите какие-либо практические последствия в результате опубликования ваших стихов?

Арнольд Позитивченко посмотрел на оратора ясными незатуманенными глазами и пожал плечами:

— Конечно. Я получу гонорар.

АЛЬМАНАХ АНГАРА № 1

Редактор *В. П. Гусенков*

Худож. редактор *Е. Г. Касьянов*

Техн. редактор *В. Д. Карась*

Корректоры *Л. В. Глаголева и Т. П. Черепанова*

Сдано в набор 19 декабря 1962 г. Подписано к печати 7 февраля 1963 г.
Печ. л. 14,36. Уч.-изд. л. 15,33. Бумага $84 \times 108^1/_{16}$. Тираж 2000.
Заказ К-516. НЕ 02482. Цена 60 коп.

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Горького, 36.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата Иркутского
областного управления культуры, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

60 к.

